АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В 1952 ГОДУ

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ—АПРЕЛЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

МОСКВА—1983

СОДЕРЖАНИЕ

Сифоров В. И., Канделаки Т. Л. (Москва). Методологические аспекты терминологической работы Комитета научно-технической терминологии АН СССР 3
Бондарко Л. В. (Ленинград), Лебедева Г. Н. (Иваново). Опыт описания свойств фонологического слуха 9

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

Бондарко А. В. (Ленинград). Категориальные ситуации (К теории функциональной грамматики) 20
Шустер-Шевц Г. (Лейпциг). Возникновение западнославянских языков из праславянского и особенности серболужицкого языкового развития . 33
Иванова К. (София). Взаимоотношения между аспектуальностью и партитивностью на синтаксическом уровне 51
Головина Э. Д. (Киров). К типологии языковой вариантности 58
Гвишиани Н. Б. (Москва). К вопросу о метаязыке языкознания 64
Шатуновский И. Б. (Ташкент). Синтаксически обусловленная многозначность («имя номинального класса → имя естественного класса») . . 73

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

Кондрашов Н. А. (Москва). Лингвистические взгляды В. Н. Татищева 81
Никонов В. А. (Москва). География русских фамилий 90
Винокуров А. М. (Калинин). Словообразование в периферийных слоях лексики современного английского языка 102
Чиненова Л. А. (Москва). Процессы развития английской идиоматики . 111
Шульга М. В. (Москва). Унификация русского субстантивного склонения с точки зрения структуры родовых и числовых противопоставлений . . . 118
Кузьменков Е. А. (Ленинград). О принципах классификации глагольной лексики в монгольском языке 123

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

Панфилов В. З., Юдакин А. П. (Москва). *Petr J.* Filozofie jazyka v díle K. Marxe a B. Engelse. 131
Федосов В. А. (Владимир). *Денисов П. Н.* Лексика русского языка и принципы ее описания 134
Волоцкая З. М. (Москва). *Кубрякова Е. С.* Типы языковых значений производного слова 136
Мокиенко В. М. (Ленинград). *Попович А.* Проблемы художественного перевода 138
Керимова А. А., Молчанова Е. К. (Москва). Южные говоры таджикского языка 140
Хушенова С. В., Гаффаров Р. (Душанбе). *Рубинчик Ю. А.* Основы фразеологии персидского языка 145
Грунина Э. А. (Москва). *Щербак А. М.* Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков (глагол) 148
Сиротинина О. Б. (Саратов). *Гальперин И. Р.* Текст как объект лингвистического исследования 152

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 155

РЕДКОЛЛЕГИЯ

В. Г. Гак, А. В. Десницкая, Ю. Д. Дешериев, А. И. Домашнев, Ю. Н. Караулов, Г. А. Климов (отв. секретарь редакции), *А. Н. Кононов, В. З. Панфилов* (зам. главного редактора), *Б. А. Серебренников, Н. А. Слюсарева, В. М. Солнцев* (зам. главного редактора), *Г. В. Степанов* (главный редактор), *О. Н. Трубачев, Д. Н. Шмелев*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2. Институт русского языка, редакция журнала «Вопросы языкознания». Тел. 203-00-78
Зав. редакцией *И. В. Соболева*

© Издательство «Наука», «Вопросы языкознания», 1983 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1983

СИФОРОВ В. И., КАНДЕЛАКИ Т. Л.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ КОМИТЕТА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ АН СССР

В последние 10—15 лет вопросы терминологии стали привлекать внимание многих советских ученых. Появилось большое число специальных публикаций.

Объект терминоведения — терминологии и термины — перекрещивается с объектом нескольких наук — языкознания (теоретического и прикладного), логики, информатики, науковедения, техниковедения и др.; в научный оборот в настоящее время вошли одинаково звучащие термины, отражающие неодинаковые понятия, возникшие в различных областях знания, не всегда правомерно сопоставимые и одинаково определяемые. Большие трудности связаны с тем, что отсутствует четко разграниченная и одинаково понимаемая терминология самого терминоведения (что, впрочем, наблюдается и во многих других профессиональных областях).

В специальной литературе в настоящее время функционирует немало терминов, связанных с усовершенствованием профессиональной лексики и ее фиксацией: «упорядочение», «кодификация», «стабилизация», «стандартизация», «интернационализация», «международная терминологическая работа», «унификация» (внутриязыковая и межъязыковая), «оптимализация», «гармонизация» и др. Существует группа терминов, отражающая работу над терминологиями и терминами применительно к типу того или иного уровня структуры языка. Возникают, безусловно, различия и при терминологическом исследовании в сфере языка и в сфере речи.

В настоящее время уже нельзя автоматически переносить определения терминов, используемые в работе, выполненной под одним «углом зрения», на исследования, в которых представлена другая точка зрения, как это, к сожалению, часто делается. Совершенно необходимы работы, четко дифференцирующие эти разные подходы и формулирующие их существенные признаки.

Начало серьезного изучения русских научно-технических терминов относится к концу 20-х годов нашего века . В эти годы при Доме ученых в Москве был организован терминологический кружок под председательством акад. Н. Я. Марра, где и встретились С. А. Чаплыгин и Д. С. Лотте. Первая статья Д. С. Лотте «Очередные задачи научно-технической терминологии» появилась в 1931 г. [1]. В 1933 г. была создана Комиссия научно-технической терминологии при тогдашнем Отделении технических наук АН СССР. В 1938 г. Комиссия была переименована в Комитет технической терминологии, а в 1962 г.— в Комитет научно-технической терминологии АН СССР.

Каждый существующий в настоящее время вид практической работы над терминологиями характеризуется набором существенных признаков. Имеются в виду, в частности: 1) тип конечного результата работы, определяемый а) задачей фиксации и представления в некотором документе естественно сложившейся терминологии или же разработкой улучшенной (отобранной, переработанной, упорядоченной) терминологии, в том числе однозначной; б) типом элемента структуры терминологической единицы, подвергаемого усовершенствованию (план содержания, план выражения или план содержания и план выражения одновременно); в) полнотой охвата данной терминологии (учитываются все или же отдельные единицы; один тип

или все типы, т. е. и термины, и номенклатурные наименования, и сокращенные обозначения); г) числом охватываемых языков (терминология одного языка, терминологии двух и более языков); д) правовым статусом документа, представляющего результаты работы (обязательный/необязательный, в том числе рекомендуемый); 2) учет профессиональной области, к которой принадлежит данная терминология (наука мировоззренческого/немировоззренческого характера; фундаментальная/прикладная; техника; производство; социальная и государственная структура общества; культура, в том числе — театр, кино, спорт и т. д.).

Теоретические исследования Комитета публиковались, главным образом, в «Известиях Отделения технических наук АН СССР». Начиная с 1961 г. были собраны и объединены в ряд монографий работы Д. С. Лотте, ставшие к тому времени библиографической редкостью [2—5].

В течение ряда лет Д. С. Лотте читал курс упорядочения терминологий для членов научных терминологических комиссий при Комитете. После его кончины, в 1952 г., было выпущено первое коллективное «Руководство по разработке и упорядочению научно-технической терминологии», в 1965 г. Т. Л. Канделаки подготовила пособие «Системы научных понятий и системы терминов», а в 1968 г. С. И. Коршунов и Г. Г. Самбурова создали пособие «Как работать над терминологией», выдержавшее два издания. Второе издание, исправленное и дополненное, вышло под названием «Краткое методическое пособие по разработке и упорядочению научно-технической терминологии» в 1979 г. Все эти авторы использовали лекции Д. С. Лотте и другие материалы Комитета и отразили методологические принципы КНТТ АН СССР [6, 7].

Научной методологией школы Д. С. Лотте, как и всей советской науки, является марксистско-ленинская диалектика, обобщающая общественно-исторический опыт познания и преобразования мира. Для диалектики существенно то, что она «... берет вещи и их умственные отражения главным образом в их взаимной связи, в их сцеплении, в их движении, в их возникновении и исчезновении» [8].

Терминологическая школа Комитета всегда опиралась на идеи связи, движения, развития.

На состав и содержание каждой специальной терминологии большое влияние оказывают НТР, появление качественно новых объектов науки и техники и разнообразные «тупики», с которыми сталкивается наука. В настоящее время к числу таких новых объектов относятся, например, «мегамир», «микромир», «связи микро- и макромира». К числу сравнительно недавних «тупиковых» ситуаций можно отнести, например, следующие: 1) невозможность объяснить электромагнитные явления на основе принципов классической механики. Выходом из создавшегося положения, как известно, было возникновение «специальной», а затем «общей теории относительности», положивших в основу физического познания новые исходные понятия и принципы. Для выражения более глубокого понимания сущности физических процессов сформировались новые понятия и термины, например, «пространство-время», «пространственно-временной континуум», «пространственно-временной интервал»; 2) возникновение «тупиковой» ситуации, получившей название «ультрафиолетовой катастрофы». Суть ее проявилась в категорическом расхождении картины спектрального распределения энергии изучения черного тела, получаемой методами классической термодинамики, с данными эксперимента, особенно в области фиолетовой части спектра и спектра более высоких частот. Здесь требовалась если не замена, то, по крайней мере, радикальная перестройка всей существующей концептуальной схемы; процесс этот был связан с возникновением новой научной теории — квантовой механики. Новые понятия и термины влились в систему физических знаний, заменив (или частично углубив) существующие: фундаментальное значение приобрели понятия «кванта», «квантования», «постоянной Планка», «дополнительности», «неопределенности», «симметрии» и др.; 3) появление принципиально новых объектов, представляющих собой сложные системы, до сих пор не рассматривавшиеся наукой [9]. На составе и содержании современных тер-

минологий отразилось появление комплексных и глобальных проблем, синтез больших технических систем, новые технические объекты, возникшие с появлением миниатюрных и микроминиатюрных ЭВМ [10].

Исходя из идеи развития терминологий и их зависимости от состояния соответствующей области знания, Комитет предпринял регулярный пересмотр терминологических рекомендаций с целью отражения происшедших изменений.

Уже в начале 30-х годов Комитет принял положение о системности терминологий и системности понятий соответствующей области знания. В 1934 г. был выпущен первый «Бюллетень» Комитета «Рациональная терминология термической обработки металлов и сплавов» [11], содержавший упорядоченную однозначную терминологию и представлявший собой, по существу, идеографический словарь, но словарь системного типа. Всего за время существования Комитета было выпущено около 300 подобных системных работ.

Конечно, наряду с системным подходом при изучении и упорядочении терминологий применяются конкретные методы лингвистики, логики, информатики, науковедения, техниковедения.

Характерным для методологии Комитета является учет двух точек обозрения терминологий — ономасиологической и семасиологической. Исследователь неоднократно переходит от плана выражения к плану содержания и обратно, но ономасиологический принцип является ведущим

В связи с существованием этих двух планов исследования можно выделить: 1) явления плана содержания (семантические модели, их системные соотношения, дифференциальные семантические признаки и др.); 2) явления плана выражения (терминообразовательные модели, способы терминообразования, признаки, привлекаемые для создания терминов, и т. д.); 3) принципы распределения единиц плана содержания между единицами плана выражения (синонимия, дублетность, антонимия и др.) и способы функционирования этих единиц; 4) принципы распределения единиц плана выражения между единицами плана содержания (явления полисемии, омонимии и др.) и функциональные особенности этих единиц; 5) сопоставление организации плана содержания (т. е. характерных для этого плана семантических моделей, типов связей, дифференциальных признаков) с организацией плана выражения (т. е. словообразовательных и структурных моделей; признаков, привлекаемых для построения терминов). Возможны, конечно, и другие соотношения.

Как известно, состояние знания человечества о природе и обществе фиксируется в языке. Правомерно в этом знании различать знание «обыденное», известное всем, и знание «профессиональное». Профессиональное знание отличается более детальным и более глубоким членением своего профессионального объекта, широтой его охвата. В качестве примера можно привести число наименований оттенков цветов в общеупотребительном языке и в профессиональной сфере, где сейчас различают 1,5 миллиона оттенков. Естественно, что многие из них не имеют языкового обозначения. Они могут быть представлены только в виде отрезков спектра, не пригодных для применения в повседневном общении человека.

Выделяемые в общеупотребительном языке терминоподобные «островки» не совпадают по объему и по глубине с исходными терминологиями в «профессиональной сфере». В число таких обыденных «детерминологизированных» слов из профессиональной сферы вступает только ряд вырванных из терминологий терминов, служащих для выражения наиболее распространенных профессиональных понятий. Семантические и структурные связи внутри таких групп «оборваны», они не могут полностью повторять связи между элементами соотносительных терминологий в профессиональной сфере.

Аналогичное разделение сложилось в лексикографии, где закономерно сформулированы разные принципы семантического описания этих двух объектов. Определения, даваемые Комитетом в его «Бюллетенях» и «Сборниках рекомендуемых терминов», поэтому, естественно, отличаются от толкований тех же терминов в толковых словарях филологического типа.

В современной логике, как известно, нет единого понимания термина «понятие». Одним из значений этого термина является «система знания об объекте». Естественно, однако, что одно определение не может исчерпать всего содержания профессионального знания. В соответствии с другой трактовкой термин «понятие» рассматривается «как мысль, представляющая собой обобщенное представление объектов некоторого класса по общим для данных объектов и в совокупности специфическим для них признакам» [12]. Содержанием этого второго понятия о «понятии» является лишь часть содержания первого понятия о «понятии» (как о «системе знания»). Такое содержание не может быть исчерпано в одном определении.

«Научное понятие» дает полное (соответствующее уровню современной науки) знание об объекте, но это знание не может быть исчерпано одной дефиницией. Его может раскрыть иногда только целая книга. В качестве же смыслового значения термина выступает только часть этого «полного» научного понятия. В таком «значении» термина указаны наиболее общие и в то же время наиболее характерные отличительные признаки, которых достаточно для того, чтобы отличить данный профессиональный объект внутри родственных профессиональных объектов, правильно применить соответствующий термин. Но и в первом и во втором случае за термином стоят «понятия». Теорию, исследующую соотношение этих понятий, еще предстоит разработать в формальной логике и в логике науки.

Традиционно принято говорить о том, что терминологии «выражают» систему понятий соответствующей области знания. Во многих исследованиях (и в практической работе) фактически ставится знак равенства между планом содержания терминологии и соответствующей системой понятий. Нет, однако, оснований считать, что терминология «выражает» или «покрывает» всю систему понятий соответствующей области знания. Система понятий богаче по числу элементов и глубже, чем то представление о ней, которое можно получить на основании анализа плана содержания соответствующей терминологии.

В конкретных терминологиях Комитет различает «собственные» и «привлеченные» понятия. Все отрасли знания, имеющие свои терминологии, в каком бы аспекте мы их ни брали, тесно связаны между собой и являются элементами единой системы, составляющей науку как общественное явление. Базовые понятия идейно мотивируют связь с предшествующим уровнем, но требуют введения дополнительных положений области.

Комитет считает достаточным при упорядочении научной терминологии «высечь» в этой науке только отрезок собственных понятий данной области знания, окружив его «сферой» из понятий смежных, соприкасающихся дисциплин и ряда понятий более высоких иерархий (в том числе—общенаучных, общетехнических, межотраслевых), необходимых для формулирования дефиниций. Именно этому сегменту придается статус «целостности» и относительно него формулируются дефиниции. Считается достаточной «относительная» однозначность упорядоченных терминологий, т. е. однозначность в пределах данного, выделенного сегмента.

При формулировании определений важен учет связей внутри и между терминологическими категориями, т. е. предметов, процессов, свойств, величин, единиц измерения и других, которые участвуют в систематизации понятий и терминов. Эти категории предстают перед нами как «многослойные», вследствие наличия нескольких параллельных классификаций у большинства понятий [13].

Придавая большое значение осмыслению общенаучных и общетехнических понятий, их терминологиям, Комитет разработал упорядоченные однозначные терминологии теории информации, прогностики, теории моделирования и подобия и др.

На учете иерархии связей и группировок в пределах той или иной науки должно базироваться, в частности, и научное планирование работ по упорядочению терминологий.

Комитет исходит из того положения, что в каждой науке в данный момент времени существует одновременно не одна, а несколько систем поня-

тий, т. е. что плану содержания каждой терминологии соответствует (до упорядочения) несколько систем понятий [14, с. 48].

В последнее время это явление привлекло внимание и логиков науки и получило название «феномена множественности теории»: «...феномен единственности теории в системе той или иной отрасли знания,— читаем мы в одном из исследований,— является упрощающей абстракцией, выдвигаемой из соображений удобства логического анализа дедуктивной формой теоретического знания» [15, с. 205]. Современными учеными показано, что «сообщество» теорий в науке может строиться на принципах взаимодополнительных переходов или представлять арену конкурентной борьбы различных альтернативных концепций. Пример построения «конкурирующих теорий» на принципах взаимодополнительных переходов можно найти в физике элементарных частиц, где функционируют несколько теорий, основанных на дисперсионном, реджезированном, групповом, компенсационно-динамическом подходах, а также принципах нелинейной спинорной теории поля. Примером конкурентной борьбы теорий была ситуация, сложившаяся одно время в области исследования гравитации, где было несколько теорий с альтернативными допущениями типа теории тяготения Ньютона, теории Эйнштейна, теорий Уайтхеда, Биркгоффа, Белинфанте-Свихарта, Кустенхейма и др., которые объясняют примерно одну и ту же сумму эмпирических данных. Множественность теорий имеет следствием многозначность терминов, вынужденных обслуживать эти сосуществующие теории. Соответственно «множественности систем понятий», видимо, существует и «множественность систем значений естественно сложившихся терминологий», т. е. план содержания каждой естественно сложившейся терминологии (или его отдельные участки) распадается на несколько систем значений, соответствующих каждой из сосуществующих в данной области теорий. В 1966 г. советский математик А. А. Ляпунов отметил, что конкретная отрасль науки может иметь относительно неупорядоченный характер и формироваться на базе множества конкурентных теорий, но такое состояние неупорядоченности является в р е м е н н ы м. Оно всегда нарушается тенденцией к о р г а н и з а ц и и т е о р и й в о п р е д е л е н н ы е п о с л е д о в а т е л ь н о с т и т е о р е т и ч е с к и х с и с т е м. А. А. Ляпуновым было введено в связи с этим понятие «интертеории» [16].

Тем самым методологически обосновывается: 1) обязательное представление в научных терминологических комиссиях Комитета представителей различных школ и направлений; 2) широкая рассылка проекта упорядоченной терминологии с целью вовлечения в ее создание максимально большого числа ученых; 3) первоначальный статус упорядоченной терминологии — рекомендация, т. к. имел место пересмотр основ данной науки, который должен быть принят всеми специалистами, а не навязан одним научным направлением.

Разработка плана выражения, состоящего из однозначных элементов [17], включает разработку терминов для понятий, связанных родо-видовыми, партитивными, собирательными отношениями, учитываются ассоциативные, словообразовательные и другие виды связей.

Характерно широкое понимание «систематичности» упорядоченной терминологии как базирующейся на систематичности ее плана выражения, однако основой этой ситематичности является именно план содержания [14]. Идеальная точность и систематичность плана выражения упорядоченной терминологии относятся к числу распространенных терминологических заблуждений — нельзя не учитывать структурных ограничений, которые накладывает язык, а также действующие в профессиональной сфере противоречия между точностью и краткостью и роль фактора внедренности, сформулированные Д. С. Лотте.

Таким образом, «упорядочение» (в том смысле, в котором применяет этот термин Комитет) отличается от словарной работы. Словари системного типа принципиально отличаются от всех других типов словарей профессиональной лексики. Эти словари приобрели большое развитие в профессионал ьных областях и уже имеют разновидности.

Научное направление, разрабатываемое Комитетом научно-технической терминологии АН СССР, имеет свою специфику, и нельзя автоматически переносить на подготовку словарей системного типа все приемы и методы, выработанные при разработке дескрипторных словарей, в частности, отказываться от проведения логических классификаций как весьма трудоемких. Задача информационных систем — оперативный и точный поиск информации, тогда как задача словарей системного типа — «сведение» сосуществующих одновременно вариантов понятий, выработка единого понимания объекта на данном этапе развития науки, которое невозможно без проведения систематизации понятий.

ЛИТЕРАТУРА

1. ИАН ООН, 1931, № 7.
2. *Лотте Д. С.* Основы построения научно-технических терминологии. М., 1961.
3. *Лотте Д. С.* Образование и правописание трехэлементных научно-технических терминов. М., 1969.
4. *Лотте Д. С.* Краткие формы научно-технических терминов. М., 1971.
5. *Лотте Д. С.* Заимствование и упорядочение иноязычных терминов и терминоэлементов. М., 1982.
6. *Сифоров В. И.* Развитие исследований по научно-технической терминологии.— Вестник АН СССР, 1975, № 2.
7. *Канделаки* Т. Л. Терминологическая работа в системе научных учреждений АН СССР.— ВЯ, 1979, № 5.
8. *Энгельс Ф.* Развитие социализма от утопии к науке.— *Маркс К. и Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд., т. 19, с. 205.
9. *Йолон П. Ф.* Изменение характера объектов современной науки и обогащение ее понятийного состава.— В кн.: Логико-философский анализ понятийного аппарата науки. Киев, 1977, с. 167—194.
10. *Сифоров В. И.* Методологические вопросы науки об информации.— В кн.: Кибернетика и современное научное знание. М., 1978, с. 150—265.
11. Бюллетень КНТТ. Вып. I. М., 1934.
12. *Войшвилло Е. К.* Понятие. М., 1967, с. 107—117.
13. *Канделаки Т. Л.* Значения терминов и системы значений научно-технических терминологий.— В кн.: Проблемы языка науки и техники. М., 1970.
14. *Канделаки Т. Л.* Работа по упорядочению научно-технических терминологий.— В кн.: Лингвистические проблемы научно-технической терминологии. М., 1970.
15. *Крымский С. Б.* Системы знания и проблема их категориальной определенности.— В кн.: Логико-философский анализ понятийного аппарата науки. Киев, 1977.
16. *Ляпунов А. А.* О некоторых особенностях строения современного теоретического знания.— ВФ, 1966, № 3.
17. *Канделаки Т. Л., Самбурова Г. Г.* Вопросы моделирования систем значений упорядоченных терминологий.— В кн.: Современные проблемы терминологии в науке и технике. М., 1969.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1983

БОНДАРКО Л. В., ЛЕБЕДЕВА Г. Н.

ОПЫТ ОПИСАНИЯ СВОЙСТВ ФОНОЛОГИЧЕСКОГО СЛУХА

Необходимость исследования процессов, обеспечивающих восприятие звуковых единиц и их преобразование в значимые единицы языка в последние годы ощущается все острее. Имеющиеся в распоряжении фонетистов артикуляторно-акустические описания различных звуковых систем убедительно показывают, что для понимания этих процессов недостаточно ни акустических, ни артикуляторных данных. Перцептивная фонетика становится в настоящее время одним из наиболее актуальных направлений в изучении речевой деятельности человека.

Относительно перцептивных способностей человека существуют две противоположные точки зрения. Одна из них, традиционная для лингвистов, заключается в том, что перцептивное пространство отождествляется с фонологическим. Так, Л. В. Щерба считал, что человек различает столько разных гласных, сколько имеется в его языке фонем, а прочие различия между гласными не находятся «в светлом пункте» языкового сознания [1, с. 19]. В дальнейшем мысль о фонологической обусловленности перцептивных возможностей человека формулировалась в разных терминах — «фонологический слух», «фонологическое сито» — но приблизительно единообразно по содержанию.

Вторая точка зрения сформировалась в результате психофизиологических исследований перцептивных возможностей человека. В соответствии с этой точкой зрения способность различать те или иные классы звуков (в частности, гласных) является универсальной, и поэтому «перцептивное пространство» не зависит от конкретной фонологической системы: все люди различают приблизительно одни и те же классы звуков и при этом используют одни и те же признаки [2, 3].

Если первая точка зрения кажется сегодня чересчур категорической и недостаточно детализованной, то вторая, безусловно, противоречит многочисленным фактам, известным не только специалистам-фонетистам, но и преподавателям любого иностранного языка: нельзя спорить с тем, что есть учащиеся с хорошим слухом (они хорошо слышат различия между звуками родного и изучаемого языка) и есть учащиеся с «плохим» (нормальным?) слухом, которые плохо слышат эти различия.

На основе имеющихся экспериментально-фонетических данных можно сформулировать и третью точку зрения на перцептивные возможности человека. В соответствии с этой точкой зрения человек способен различать бóльшее количество звуков, чем количество фонем в его родном языке, однако эта способность также обусловлена фонологическими отношениями [4]. Так, например, способность носителей русского языка различать не только основные аллофоны гласных, но и комбинаторные — обусловленные мягкостью соседних согласных — связана с тем, что важное для русского консонантизма противопоставление согласных по твердости-мягкости фонетически реализуется именно благодаря различию соседних гласных, т. е. что согласные [b] и [b'] в словах *губа* и *губя* различаются не за счет собственных фонетических свойств, а за счет различий между следующими за ними гласными — [a] и [ʲa] [4]. Говоря другими словами, носители русского языка особенно чувствительны к *i*-обрáзным переходам в начале и конце гласного, поскольку эти переходы являются признаком мягкости согласного перед или после гласного. Есть основания думать, что носители другого языка не будут обладать этой чувствительностью. Конечно, это не значит, что англичанин или француз «не заметят» *i*-об-

разного начала гласного (например [ʲa] в слове *взял*, но для них это начало не будет сигналом мягкости согласного, а вероятность опознания [ʲa] как [a] носителями этих языков будет значительно меньше, чем русскими.

Исследование перцептивных возможностей носителей конкретного языка имеет большое теоретическое и практическое значение: перцептивная различимость в целом ряде случаев может выступать как основной критерий функциональной самостоятельности звука, а исчерпывающие представления об особенностях восприятия должны стать основой и для преподавания фонетики любого иностранного языка и для построения правил автоматического распознавания речи.

В настоящее время интерес к перцептивным исследованиям очень велик. Однако можно сказать, что сколько-нибудь полного представления о перцептивной системе носителей какого-либо языка нет. Трудно даже перечислить все вопросы, на которые нужно ответить при описании такой системы. Прежде всего, требует особого доказательства и само существование перцептивной системы, т. е. такого упорядоченного множества воспринимаемых звуковых единиц, каждый член которого определенным образом связан с другими членами.

Описание перцептивной системы предполагает и выявление признаков, по которым единицы этой системы классифицируются и различаются, т. е. встает вопрос о соотношении релевантных признаков фонологической системы и полезных признаков перцептивной системы. Сейчас мы уже знаем, что отношения между теми и другими неизоморфны [4, с. 40—59]. Существенным является также и вопрос о стратификации единиц перцептивной системы: нет никаких сомнений в том, что связь между единицами разных уровней здесь наиболее тесна, и важно установить как универсальные свойства, определяющие эту связь, так и те свойства, которые обусловлены данной системой языка.

Разумеется, что исследование и описание перцептивной системы, функционирующей в каком-либо определенном языке, предполагает использование исчерпывающего материала, т. е. анализ восприятия отдельных звуков и групп звуков, значимых единиц различной протяженности (слово, синтагма, фраза). Можно сказать, что современные фонетические исследования направлены на решение этой задачи, поскольку почти все они посвящены не только анализу артикуляционно-акустических свойств речевых единиц, но и поискам полезных признаков, существенных для опознания этих единиц носителями языка. Однако полное описание такой системы — дело будущего.

В настоящей статье предлагается описание одного фрагмента перцептивной системы, функционирующей в современном русском литературном языке, а именно, описание механизмов восприятия гласных неродного языка носителями русского языка. «Фонологический слух» носителей русского языка формируется под влиянием очень интересной вокалической системы: при сравнительно небольшом количестве фонем фонетическая реализация их чрезвычайно многообразна, что связано с двумя основными причинами — влиянием соседних мягких согласных и значительной редукцией в безударных слогах. Именно для русского вокализма очень остро стоит вопрос о принципах перцептивного объединения разных звучаний в нечто «похожее».

Относительно общих свойств перцептивной системы русских гласных известно следующее: гласные действительно организованы в некоторое «пространство», число различаемых звуковых единиц больше числа фонем, а характер фонемной интерпретации каждого конкретного звука зависит от таких факторов, как величина фонетического контекста, характер задачи, решаемой при опознании, степень участия более высоких языковых уровней. Остановимся на этих сведениях более подробно.

Описание перцептивного пространства русских гласных содержится в работе В. И. Галунова [5], который исследовал это пространство, используя основные аллофоны русских гласных. Предъявляя изолированные гласные или гласные в составе бессмысленных слогов (между твердыми согласными), В. И. Галунов установил, что оценки степени близости ме-

жду гласными не являются случайными, и можно говорить о том, что эти гласные организованы в трехмерное пространство. Относительно связи этого пространства с акустическими характеристиками гласных автор пишет: «... оси этого евклидова пространства не совпадают с частотными осями положения трех первых формант» [5, с. 7]. Можно предположить, что расстояния между русскими гласными в перцептивном пространстве зависят от таких фонологических характеристик, как отношения чередования в пределах морфемы [4]. Так, гласные /о/ и /а/, /е/ и /i/ оцениваются носителями русского языка как более близкие, чем, например, /о/ и /i/ или /а/ и /u/. Основной результат, полученный В. И. Галуновым и интересный для темы данной работы,— это установление способности носителей языка неслучайным образом определять расстояния между гласными. Конкретные числовые значения, характеризующие эти расстояния, возможно, могут быть приписаны только основным аллофонам, поскольку в этих экспериментах не исследовались другие аллофоны гласных фонем. О количестве различаемых гласных свидетельствуют данные, полученные в Лаборатории экспериментальной фонетики им. Л. В. Щербы [6]. Из этих данных видно, что носители русского языка различают по 4 аллофона ударных гласных /а/, /о/, /u/, /е/ — V, 'V, V', 'V'[1] и по одному — гласных /i/ и /ы/. При этом аллофоны 'V, 'V' почти всегда опознаются правильно, т. е. отличаются и от основного аллофона, и различаются между собой, а аллофоны V' лишь в 50% случаев отличаются от аллофонов V и обозначаются соответствующим образом. Возможно и опознание аллофона одной фонемы как аллофона другой — ['а'] как [е], ['е'] как [i], но это наблюдается приблизительно в 25% случаев.

Таким образом, можно сказать, что среди аллофонов одной и той же фонемы наиболее близкими оказываются V и V', а среди аллофонов разных фонем — ['а'] и [е] и ['е'] и [i]. Наиболее «однообразными», однородными с перцептивной точки зрения оказываются фонемы /i/ и /ы/, для которых мягкость или твердость следующего согласного не приводит к возможности различения двух аллофонов.

Основным акустическим признаком, по которому происходит различение всех 18 аллофонов, можно считать изменение частоты FII, очень высокой на самой границе с мягким согласным и понижающейся на стационарном участке гласного.

Имеются, однако, свидетельства того, что некоторые аллофонные различия могут связываться в восприятии не с переходными участками гласных, а со значениями F II на стационарном участке. Так, при шкалировании расстояний между синтезированными стационарными гласными носители русского языка регулярно различали гласные [i] — [е] — [ε] — [а], т. е. по-разному воспринимали открытый и закрытый аллофоны фонемы /е/ [2].

Интересные данные о восприятии безударных гласных получены в работе Ж. Т. Кижняевой, которая показала, что из четырех фонем, возможных в безударном положении, хуже всего на основании собственных спектрально-временных характеристик опознается безударная фонема /а/, позиционные аллофоны которой, как известно, характеризуются чрезвычайно большой вариативностью и больше, чем аллофоны других гласных, отличаются от основного аллофона. Что касается зависимости восприятия гласных от их акустических характеристик, то в целом ряде работ на материале и естественных, и синтезированных гласных показано, что не эти характеристики являются решающими. Фонемная классификация гласного (т. е. опознание этого звука как гласной фонемы родного языка) зависит и от условий, в которых происходит опознание (восприятие изолированного гласного, слога, слова, фразы), и от задачи, которую решают испытуемые (извлечение полезной информации из акустической картины одного гласного, возможность сравнения с другими гласными, выбор из ограниченного числа возможностей и т. д.). Немаловажную роль в резуль-

[1] Здесь и ниже V — любой гласный, ' — знак мягкости соседнего согласного, т. е. 'V — гласный после мягкого, V' — гласный после твердого перед мягким и т. д.

тате опознания играют вероятностные характеристики гласных: более частые в речи гласные и опознаются лучше.

Полученные в некоторых работах данные о том, что при опознании гласных носители русского языка пользуются простыми решающими правилами (например, измеряют значение одной из первых двух формант) [3], относятся, видимо, только к восприятию основных аллофонов и к случаям изолированно предъявляемых гласных.

Можно наметить дальнейшие пути для углубления наших представлений о перцептивной организации русских гласных. В первую очередь — если оставаться на уровне анализа отдельных гласных — это исследование того, как воспринимаются носителями русского языка гласные чужого языка, в котором представлена иная фонологическая система и используются иные фонетические свойства, чем в русском. Мы рассматриваем восприятие английских гласных носителями русского языка. Это кажется достаточно интересным как в теоретическом плане (различные наборы функциональных единиц и различные фонетические корреляты фонологических признаков), так и в практическом, поскольку упорядоченность наших представлений о характере перцептивной обработки английских гласных носителями русского языка позволит использовать эти данные при обучении русских учащихся английской фонетике.

Основные способы исследования, при помощи которых были получены предлагаемые ниже результаты, следующие: 1) выяснение способности русских испытуемых отличать звучание английского гласного от гласного родного языка: в этих опытах гласные предъявлялись попарно, и испытуемые должны были лишь отметить, одинаковые или разные гласные они слышат; 2) выяснение способности русских испытуемых каким-либо образом интерпретировать звучание английских гласных, предъявленных изолированно (т. е. и вне контекста, и без «похожего» русского гласного); в этом опыте испытуемые должны были, услышав предъявленный гласный, обозначить его транскрипционным знаком; 3) выяснение способности русских испытуемых определить степень сходства русского гласного с одним из двух английских гласных.

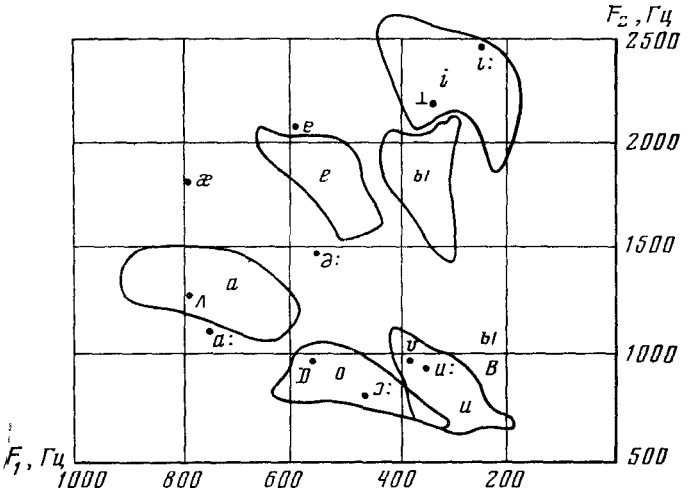
Как видно из описания использованных методик, они не являются строго лингвистическими, поскольку и возникли они как психофизиологические методики, и применение их на языковом уровне не избавляет нас от возможных психофизиологических эффектов. Однако в настоящее время методика лингвистического анализа явлений такого рода практически не разработана, и нам остается только попытаться лингвистически корректно интерпретировать полученные данные.

Система русских гласных содержит сравнительно небольшое количество единиц (6 гласных монофтонгов), противопоставленных по трем степеням раствора (гласные верхнего подъема — гласные среднего подъема — гласный нижнего подъема), двум рядам (передние и задние) и характеру артикуляции губ (огубленные — неогубленные). Относительно гласного /ы/ нет полной ясности — можно считать, что он является гласным смешанного ряда, однако не меньше оснований для того, чтобы характеризовать его как неоднородный по ряду (непередний в начале звучания и передний — на стационарном участке [7]).

Известно, что не все исследователи признают релевантность признака «ряд гласных» для русской фонологической системы, где гласные заднего ряда (кроме /а/) одновременно являются и огубленными, а продвинутость вперед зависит от твердости-мягкости соседнего согласного.

Существенными фонетическими свойствами русских гласных являются следующие: наличие сильной дифтонгоидности ([ᵘо], [ыᴵ] — после твердых согласных, *i*-обра́зные переходы в соседстве с мягкими согласными, значительная продвинутость вперед гласного заднего ряда /а/, сильная качественная редукция, влияющая как на ряд, так и на подъем гласного и обусловленная сокращением длительности гласных в безударных слогах или даже в ударных при быстром темпе речи.

Все это приводит к значительным изменениям артикуляционно-акустических свойств гласных даже в произнесении одного и того же диктора.



Расположение русских и английских гласных в плоскости частот первых двух формант. Для русских гласных приведены данные о возможных значениях FI, FII в виде областей (знак гласного помещен в центре каждой области) [4], для английских — значения FI, FII отмечены на рисунке точкой с соответствующим знаком гласного [9].

Для английской фонологической системы характерно наличие как монофтонгов, так и дифтонгов. Количество монофтонгов в два раза превышает количество русских гласных фонем. Кроме признаков «ряд», «подъем» и «огубленность», существенным признаком является долгота гласного, реализующаяся фонетически и как длительность, и как напряженность, и влияющая на другие признаки гласного [8—10]. По ряду, подъему и огубленности английские гласные противопоставлены более дифференцированно, чем русские, поскольку каждая из трех степеней подъема представлена двумя разновидностями (широкой и узкой). Передний и задний ряд реализуются также в двух разновидностях (для переднего — в виде передних и отодвинутых назад, для заднего — в виде задних и продвинутых вперед).

Для удобства рассмотрим оба эти набора гласных с точки зрения их акустических характеристик. На рис. 1 представлены данные о частотах FI и FII русских и английских гласных. С интересующей нас точки зрения взаиморасположение гласных в плоскости первых двух формант таково, что при восприятии этих гласных теоретически возможны разные результаты: неразличение английских гласных, формантные характеристики которых близки между собой и к характеристикам русского гласного (например, русск. /u/ и англ. /ʊ/ и /u:/, русск. /i/ и англ. /i:/ и /i/), случайное опознание английских гласных, формантные характеристики которых одинаково похожи на характеристики двух русских гласных или вообще не похожи ни на один из русских гласных (например, англ. /æ/, /ə:/).

Ошибки такого рода известны преподавателям английского языка в русской аудитории [11], однако до сих пор нет достаточно четкого понимания того, какие из них обусловлены собственно перцептивными возможностями учащихся, а какие — артикуляционными навыками. Между тем разграничение причин ошибок — один из путей их скорейшего устранения.

Рассмотрим теперь некоторые основные результаты экспериментов.

Реализации английских гласных, использованных в эксперименте, были получены от двух дикторов-англичан (возраст — 21 и 22 года, оба родились и получили образование на юге Англии; к моменту записи заканчивали Лондонский университет). Дикторы произносили изолированные слова, содержащие 11 английских монофтонгов в позиции после губных и переднеязычных согласных. При этом [ə] не был включен в экспериментальный материал, поскольку исследовались ударные гласные.

Русский материал был начитан двумя дикторами-мужчинами (возраст— 24 года и 25 лет). Они также читали изолированные слова, в которых гласные находились в идентичном с английскими словами фонетическом положении, а также в соседстве с мягкими согласными.

Из магнитной записи слов гласные были выделены при помощи магнитофона с вращающимися головками и переписаны на чистую магнитную ленту. В дальнейшем работа велась с этими выделенными гласными.

В качестве испытуемых выступали носители русского языка — студенты 1-го курса филологического факультета ЛГУ (10 человек, не знающих английского языка, и 10 человек, изучающих английский язык).

Первым этапом эксперимента было попарное сравнение гласных английского и русского языков. Пары были составлены на основе сравнения характеристик гласных в этих языках и включали такие гласные, которые могли оказаться потенциально неразличимыми. Кроме пар, включающих основные аллофоны гласных, были составлены пары, содержащие один из «мягких» аллофонов русских гласных. Таким образом, каждый английский гласный оказался в паре как с разными аллофонами одной русской фонемы, так и с аллофонами разных русских фонем. Испытуемые, услышав пару гласных, должны были поставить +, если считали эти гласные одинаковыми, и —, если считали их разными.

Рассмотрим теперь, как размещаются английские гласные в перцептивном пространстве русских испытуемых, способных различать 18 разных аллофонов шести русских гласных фонем.

Русский /*i*/, формантные характеристики которого допускают отождествление с ним английских /*i*:/ и /i/, на уровне восприятия, однако, вовсе не оценивается таким образом. Русские испытуемые склонны оценивать как одинаковые лишь [′*i*′] и аллофон /*i*:/. Второй из возможных для /*i*/ аллофонов — [′*i*] — в зависимости от индивидуальных характеристик диктора может или отождествляться с /*i*:/, или же четко различаться. Что же касается /i/, то он никогда не опознается как одинаковый с русским /*i*/.

Русский /ы/, дифтонгоидный по своей природе и приближающийся на стационарном участке по звучанию к /*i*:/, в перцептивном отношении представляет более сложную картину, чем /*i*/: аллофон [ы] четко различается только с английским [i], но не очень последовательно различается с /*i*/; что же касается [ы′], то он может отождествляться как с /i/, так и с [*i*:]

Все аллофоны русского /е/ четко отличаются от английского /е/, причем лучше всего — аллофон [′е′], хуже всего — [е], т. е. самый открытый.

Русский гласный /а/ в перцептивном отношении представляет собой довольно сложную картину. Аллофоны [а] и [а′] чаще всего не различаются с [æ], но аллофоны [′а] и [′а′], хотя и являются более передними, чем два первых, всеми испытуемыми хорошо различаются с [æ]. Может быть, это объясняется очень сильной дифтонгоидностью [′а] и [′а′].

Перцептивные границы /а/ значительно расширяются за счет того, что русские испытуемые могут не замечать различий между [а] и [а′] и английским [а:], а также между [а] и [а′] и английским [*v*].

Основной аллофон /а/ — [а] случайным образом различается и с английским [ʌ], тогда как другие аллофоны четко отличаются от этого гласного.

Русский /о/ в целом хорошо различается с английским [*v*]; только основной аллофон — [о] не отличается аудиторами от английского [*v*]. Перцептивно наиболее близким к русскому /о/ оказывается [ɔ:], который не различается ни с [о], ни с [о′]. Возможно неразличение основного аллофона [о] и английского [u:]. Все аллофоны /о/ четко различаютя с английским [ə:].

Русский /u/ в зависимости от того, с каким из его аллофонов сравнивается звучание английского гласного, может опознаваться как одинаковый с [*v*] или [u:], если эти гласные предъявляются в паре с основным аллофоном [u]; возможно также и неразличение некоторых других аллофонов /u/ и английского [u:]. Аллофоны [u] и [u′] могут довольно плохо различаться с английским [ɔ:].

Таким образом, при попарном сравнении английских гласных с различающимися русскими испытуемыми аллофонами русских гласных обнаруживается следующее размещение английских гласных в перцептивном пространстве: в «область /*i*/» попадает лишь английский /*i*:/, в «область /ы/» — /*i*:/ и /i/, в «область /е/» — английский /e/, в «область /а/» попадают английские /æ/, /*a*:/, /*v*/, /ʌ/ в «область /о/» — /*v*/, /ɔ:/, /u:/, в «область /u/» — /*v*/, /*u*:/ и /ɔ:/.

Наибольшее сходство в пределах этих областей обнаруживается между английским гласным и двумя аллофонами русского гласного — V и V′, что лишний раз подтверждает особую близость этих аллофонов.

Что касается системы английских гласных, существенно заметить, что одни из них хорошо различаются и тем самым вообще при попарном сравнении не могут быть приняты ни за один из русских гласных. Это относится к таким гласным, как /i/, /ə:/. Другие гласные при попарном сравнении могут быть ошибочно отождествлены с одним из аллофонов русского гласного, как правило, с основным. Это относится к гласным /*i*/, /e/, /æ/, /*a*:/, /ʌ/, /*v*/. Наконец, третьи могут опознаваться как одинаковые с аллофонами нескольких русских гласных. Это такие гласные, как /*v*/, /ɔ:/, /u:/.

Из сказанного ясно, что наибольшие различия, замечаемые при попарном предъявлении, связаны с *i*-обра́зным звучанием русских аллофонов типа ′V и ′V′ и что сравнение с такими аллофонами — наилучшая ситуация для слухового различения русских и английских монофтонгов.

В следующем опыте испытуемым предъявлялись лишь английские гласные и предлагалось записать то, что они слышат, либо русскими буквами, либо транскрипционными знаками. В качестве стимулов были использованы те гласные, которые в первом опыте различались с русскими гласными менее чем в 75% случаев (этот порог был выбран как условная граница хорошей и плохой различимости стимулов).

Оказалось, что в этом опыте возможны несколько разных типов ответов: 1) единообразное опознание английского гласного как одной из фонем родного языка, например, /*i*:/, /*a*:/, /ʌ/, /ɔ:/ и др.; 2) фонетическая интерпретация гласного, соответствующая его артикуляционно-акустическим свойствам и отражающая способность испытуемых к более тонкому анализу, чем фонемная классификация; это относится к таким случаям, когда испытуемые обозначают неоднородность гласного или его неопределенное качество, например, обозначение /e/ как [a^{i}], /u:/ как [^{o}u], /u:/ как [ju], /ɔ:/ как [o^{u}] или обозначение /æ/ как [а-æ], /i/ как [ы-*i*], /ʌ/ и /*v*/ как [о-а]; 3) ошибочная интерпретация гласного, свидетельствующая о том, что испытуемый не может соотнести услышанный им звук с одной из русских фонем или с каким-либо одним звуком; это относится в первую очередь к /ə:/, при записи которого аудиторы используют 20 разных обозначений.

Опознание гласного в чем-то сложнее, чем попарное сравнение, а в чем-то и проще. Сложность заключается в том, что испытуемые должны поместить услышанный гласный в некоторую точку (или область) перцептивного пространства, образованного в их памяти звуками родного языка. В этом случае испытуемые имеют в своем распоряжении только акустический сигнал, относительно которого и принимается решение. Определение степени сходства чужого гласного со своим происходит «по памяти», а не при сравнении с привычным звучанием, как это было в первом опыте. Упрощение же задачи заключается в том, что испытуемые вовсе не принуждаются к сложной обработке услышанного звука: если отождествление чужого звука с одной из фонем родного языка — естественный для испытуемых способ классификации при восприятии, то задача опознания должна считаться наиболее простой.

Можно ожидать, что результаты опознания будут в некотором отношении «грубее» результатов попарного сравнения, при котором учитывались не только основные аллофоны русских гласных. С другой стороны, можно ожидать и более тонких результатов, поскольку при опознании решение о свойствах чужого гласного не навязывается экспериментатором, как это было при попарном сравнении, а выносится самим испытуемым.

Как видно из сравнения результатов обоих опытов, возможны результаты обоих видов. Прежде всего возможно совпадение опознания и различения. Например, испытуемые не различают пары [*a*:] — [a] и [ʌ] — [a] и опознают гласные [*a*:] и [ʌ] как русское /а/; [ɔ:] не различается в парах с русскими [о] и [u] и при опознании обозначается как /о/ или как /u/. Огрубление результатов видно на следующих примерах: испытуемые считали одинаковыми английский [*i*:] и русский ['*i*'] и хорошо отличали [*i*:] от русского ['*i*]. При опознании эта детальная фонетическая интерпретация не выявляется: [*i*:] в произношении одного из дикторов опознается как русский /*i*/, а его близость с самым закрытым аллофоном в ответах испытуемых никак не обнаруживается. Довольно странным представляется опознание [*i*:], произнесенного другим диктором: если при попарном сравнении он не различается ни с ['*i*'], ни с ['*i*], то при опознании он обозначается очень разнообразно; только 4 аудитора из 20 обозначают его как русский /*i*/. Акустические предпосылки для такой плохой опознаваемости данного гласного нужно, видимо, искать не в частотах формант (по значениям FI и FII он попадает в область русского /*i*/), а в просодических характеристиках, которые имели меньшее значение при попарном сравнении.

Более детальные данные о восприятии получены в этом опыте для /ə:/. При попарном сравнении мы выяснили лишь, что этот гласный хорошо отличается от всех аллофонов русского /о/. При опознании обнаруживается, что он может идентифицироваться с гласным /е/ (вернее, с двумя его аллофонами [е] и ['е]), с гласным /а/, а также и с гласным /о/.

Опознание английских гласных как русских фонем дает дополнительный материал для характеристики перцептивных границ русских гласных. И в данном случае мы видим, что самыми широкими границами характеризуется область /а/, включающая в себя и /*a*:/, и /ʌ/, и /*ɒ*/ и /æ/, и даже частично /ə:/. Самыми узкими границами характеризуются /*i*/ и /ы/. Как русский /*i*/ опознается лишь /*i*:/, а как /ы/ обозначаются лишь в единичных случаях реализации некоторых гласных. Области русских /е/, /о/, /u/ занимают промежуточное положение.

Данные опознания английских гласных, как и данные различения их с русскими, не подтверждают существующего мнения о том, что при восприятии звуков чужого языка испытуемый стремится любое «мало мальски похожее» звучание идентифицировать со звучанием гласного родного языка. Во-первых, оказывается, что разные испытуемые по-разному определяют, на какой звук родного языка похож тот или иной английский гласный; во-вторых, явно видна тенденция к более детальному фонетическому анализу, чем фонемная классификация.

Для дальнейшего уяснения свойств перцептивной системы носителей русского языка были проведены опыты по методике АВХ-сравнения. В опытах такого рода испытуемым предъявляются 3 стимула, и предлагается определить, на какой из первых двух гласных (А или В) больше похож интересующий нас гласный (Х). В этих опытах в качестве стимулов А и В использовались лишь те английские гласные, которые в предыдущих опытах отождествлялись с одним из русских гласных.

Основные результаты АВХ-сравнения следующие:

1) Оба аллофона /*i*/ и оба аллофона /ы/ считаются более похожими на /*i*:/, чем на /i/.

2) Аллофон [е] считается почти одинаково похожим на /е/ и на /æ/; при этом он значительно больше похож на /е/, чем на /æ/.

3) Аллофон [а] больше похож на /æ/, чем на /е/, /*ɒ*/ и /*a*:/; с другой стороны, он больше похож на /*ɒ*/ и /ʌ/, чем на /*a*:/; в тройке /*a*:/, /ə/, /*a*/ он больше похож на /*a*:/, чем на /ə:/.

4) Аллофон [о] для лиц, не изучающих английского языка, больше похож на /*ɒ*/, а для изучающих английский — на /ɔ:/; в то же время для всех испытуемых он больше похож на /ɔ:/, чем на /u:/. Аллофоны ['о] и ['о'] больше похожи на /ə/, чем на /ɔ:/.

5) Аллофон ['u] больше похож на /u:/, чем на /*v*/ или /ɔ:/, аллофон ['u] также больше похож на /u:/, чем на /ɔ:/ и приблизительно одинаково близок к /u:/ и /*v*/; аллофон ['u'], однако, больше похож на /u:/, чем на /*v*/.

Рассмотрим более подробно, что дают эти результаты для характеристики перцептивной системы русских гласных. В опытах АВХ носители русского языка решают задачу, противоположную той, которая решалась при попарном предъявлении и при опознании: там они «укладывали» чужие гласные в рамки родной для них звуковой системы (имея звуковое подкрепление при попарном сравнении и не имея его в опытах на опознание), а здесь, наоборот, они должны поместить родные гласные в рамки чужих звуковых единиц. Результаты этого опыта интересны в двух отношениях: во-первых, насколько взаимное расположение родного и чужого гласного зависит от типа задачи, и, во -вторых, какие новые характеристики русских гласных обнаруживаются в этом случае.

Целый ряд факторов говорит о независимости перцептивной оценки от типа задачи. Так, обнаруживается, что русские /*i*/ и /ы/ близки с английским /*i*:/, но не /i/ (это же видно и по результатам предыдущих опытов). Испытуемые, в зависимости от состава троек АВХ, готовы считать похожим русский /а/ и на /æ/, и на /*ɒ*/, и на /ʌ/, и на /*a*:/, т. е. и здесь видны широкие границы области звуков, отождествляемых с русским /а/.

При оценке звуков [е], [о] и [u] ответы испытуемых дают некоторые новые представления. С одной стороны, мы видим, что [е] как бы одинаково похож и на /æ/, и на /е/, а в предыдущих опытах мы констатировали, что русский /е/ четко отличается от английского /е/, но при опознании английского гласного испытуемые довольно часто обозначают его русскими буквами *е* и *э* (иногда *а* или a^i). При сравнении гласного /о/ с /*ɒ*/ и /ɔ:/ ответы изменяются от опыта к опыту: при попарном предъявлении [о] не различается с [ɔ:] и различается с [*ɒ*], при опознании не владеющие английским языком испытуемые употребляют русскую букву *о* чаще при обозначении /ɔ/, чем при обозначении /*ɒ*/, а в АВХ-опытах русский /о/ для них ближе к /*ɒ*/, чем к /ɔ:/. Изучающие английский язык испытуемые при опознании чаще употребляют букву *о* для транскрипции /*ɒ*/, а при АВХ-сравнении считают русский [о] более похожим на /ɔ:/. Для области [u] обнаруживается следующее: испытуемые почти всегда склонны считать русский гласный ближе к /u:/, чем к /*ʊ*/, что довольно хорошо соответствует результатам попарного сравнения, но отличается от результатов опознания, тогда как русский *у* обозначается не только /u:/, но и /*ʊ*/.

Оценивая полученные данные в целом, можно констатировать, что английские гласные, предъявляемые изолированно носителям русского языка, по-разному укладываются в их перцептивную систему. Гласные, расположенные в вершинах основного треугольника, оказываются перцептивно наиболее «адаптируемыми» к этой системе: английские /*i*:/, /u:/ и группа открытых гласных /æ/, /*a*:/, /*ɒ*/ и /ʌ/ размещаются довольно последовательно там же, где расположены русские /*i*/, /u/ и /а/. Практически не укладываются в рамки перцептивной системы русских испытуемых лишь два английских гласных — /i/, который «не похож» ни на /*i*/, ни на /ы/ и опознается совершенно случайно, и /ə:/, «непохожий» ни на один аллофон /о/ и опознающийся как почти все русские гласные. Английский /е/ занимает пограничное положение между открытым аллофоном [е] и аллофонами [а], [а′], а английский /*ʊ*/ — пограничное положение между /u/ и /о/. Гласный /ɔ:/ расположен и в области русского /о/, и в области русского /u/.

Сравнение этих результатов с частотными характеристиками первых двух формант позволяет разделить исследованные гласные на следующие группы: 1) опознание [2] английских гласных как русских объясняется расположением их на плоскости FI — FII. Например, формантные характеристики /*i*:/ таковы, что можно ожидать его интерпретации как гласных /*i*/ или /ы/ (см. рис. 1); 2) опознание английских гласных как русских трудно или невозможно объяснить их положением на плоскости FI — FII. Например, опознание /i/ как русского /е/ никак не может быть объяснено его формантными характеристиками: русский /е/ характеризуется более

[2] В данном случае под термином «опознание» мы подразумеваем комплексную перцептивную характеристику, выявляемую и при попарном сравнении, и при опознании, и при АВХ-сравнении.

Таблица

Расположение английских гласных при их восприятии носителями русского языка

Русские гласные / Английские гласные	*i*	ы	е	а	о	*u*	
i:	○△□	○□					
I	△	○△	△	△	△	△	□
e			○△□	△			
æ			△□	○△□			
a:				○△□			
ʌ				○△□			
v				○△□	○△□		
ɔ:					○△□	○△	
u:					○	○△□	
v					△	○△	□
ə:				△	△□	△	○

Условные обозначения: ○ — опознан как соответствующий русский гласный при попарном сравнении; △ — опознан как соответствующий русский гласный при изолированном предъявлении; □ — признан более похожим на соответствующий гласный при АВХ-сравнении.

высоким значением частоты FI, да и частота FII должна быть значительно ниже для русского /е/, чем для английского /i/.

Рассмотрим теперь результаты всех описанных опытов в целом. Приводимая таблица дает представление о характере интерпретации использованных в работе стимулов и позволяет в общем виде охарактеризовать «перцептивные взаимоотношения» русских и английских гласных. Почти все английские гласные соотносятся не с одной, а с несколькими русскими гласными: если число гласных родного языка, с которым отождествляется гласный неродного языка, принять за меру фонетической неопределенности, то на первом месте оказывается гласный /i/, а на последнем — гласные /*a*:/ и /ʌ/.

Результат перцептивной классификации некоторых гласных зависит от типа задачи, а в ряде случаев такой зависимости нет: так, гласные /*a*:/ и /ʌ/ во всех экспериментах попадают в область русского /а/, тогда как /ɔ:/ при попарном сравнении или при опознании попадает и в область /о/, и в область /u/; но когда русские сравнивают его и с /о/ и с /u/ в эксперименте АВХ, они все же отмечают его близость к /о/, а не к /u/.

Некоторые из английских гласных с большим трудом «вписываются» в перцептивную систему русских: так, гласные /i/ и /*v*/ в условиях АВХ-сравнения оцениваются как непохожие ни на один из русских гласных. Нет никаких сомнений в том, что при восприятии гласных неродного языка человек не принимает всегда однозначного решения, т. е. не отождествляет чуждый гласный с одним из гласных родного языка. Фонологичность речевого слуха — это не только способность опознать чужой звук как свой, но и способность узнать, что это — не звук родного языка.

Все полученные данные свидетельствуют о сложности процесса, обеспечивающего опознание гласных неродной для испытуемых фонологической системы. Уже на самом низком с лингвистической точки зрения уровне — уровне восприятия минимальных звуковых единиц — в нормальных условиях используются не простые фонетические правила (например, измерение частот формант гласных), а выработанные в результате овладения родным языком правила фонемной интерпретации звуковых единиц. Фонологичность слуха проявляется здесь в том, что реализация этих правил оказывается возможной при полном отсутствии информации о более высоких уровнях организации высказывания: ведь при восприятии изолированных гласных испытуемые не только лишены смысловых критериев оценки, но

не могут использовать даже сведений о возможных контекстуальных влияниях. Автономность фонологического уровня как реального элемента языковой структуры обнаруживается здесь довольно отчетливо.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Щерба Л. В.* Русские гласные в качественном и количественном отношении. СПб., 1912.
2. *Чистович Л. А., Кожевников В. А.* Восприятие речи.— В кн.: Вопросы теории и методов исследования восприятия речевых сигналов. Л., 1969.
3. *Слепокурова Н. А.* Исследования восприятия стационарных синтетических гласных: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1972.
4. *Бондарко Л. В.* Фонетическое описание языка и фонологическое описание речи. Л., 1981.
5. *Галунов В. И.* Структура множества речевых образов: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. биол. наук. Л., 1967.
6. *Бондарко Л. В., Вербицкая Л. А., Зиндер Л. Р., Павлова Л. П.* Различаемые звуковые единицы русской речи.— В кн.: Механизмы речеобразования и восприятия сложных звуков. М. —Л., 1966.
7. *Бондарко Л. В.* Звуковой строй современного русского языка. М., 1977.
8. *Васильев В. А. и др.* Фонетика английского языка. М., 1980.
9. *Gimson A. Ch.* An introduction to the pronunciation of English. London, 1970.
10. *D. Jones.* An outline of English phonetics. Cambridge, 1975.
11. *Торсуев Г. П.* Обучение английскому произношению. М., 1953.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1983

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

БОНДАРКО А. В.

КАТЕГОРИАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ

(К теории функциональной грамматики)

Понятие категориальной ситуации связано с разработкой принципов построения функциональной грамматики, основанной на описании системы функционально-семантических полей [1, 2] [1]. Такая грамматика включает два этапа анализа: 1) моделирование структуры функционально-семантического поля («полевое структурирование»); 2) исследование и описание реализации элементов данного поля в высказывании (здесь и далее, говоря о высказывании, мы имеем в виду предложение или сверхфразовое единство как конкретное речевое произведение, ср. [3, 4]). Для этого последнего этапа анализа необходимо такое понятие, которое, с одной стороны, было бы производным от ситуации, передаваемой высказыванием, а с другой, было бы ориентировано на тот аспект обозначаемой ситуации, который связан с определенной семантической категорией, лежащей в основе функционально-семантического поля (аспектуальности, темпоральности, модальности и т. п.). Таким понятием и является категориальная ситуация.

К постановке вопроса

Когда речь идет о ситуациях в грамматике, чаще всего имеются в виду фрагменты внеязыковой действительности. Вместе с тем в ряде работ элементы анализируемых ситуаций относятся к области семантических единиц [5, 6], рассматриваемые ситуации трактуются как типовые [7]. Мы пытаемся сделать еще один шаг в данном направлении, рассматривая передаваемую высказыванием ситуацию с точки зрения одного из ее аспектов. Изучаемые ситуации (аспектуальные, темпоральные, таксисные, модальные, экзистенциальные, каузальные, локативные и т. п.) трактуются как структуры, относящиеся к области собственно языковой семантики, включающей не только понятийную (смысловую) основу передаваемого содержания, но и языковую семантическую интерпретацию (способ представления) этой основы. Таким образом, речь идет об отражении денотативных ситуаций в языковом содержании высказывания.

В отличие от таких понятий, как значение грамматической формы (видовое, временное и т. п.), функция формы и т. п., понятие категориальной ситуации (КС) не является «формо-центрическим». Оно выводит анализируемую семантику на уровень высказывания. В этом смысле предмет анализа близок к тому, что называют аспектуальной, темпоральной, модальной характеристикой высказывания и т. п. Все же мы говорим именно о ситуациях, потому что имеются в виду содержательные структуры, включающие определенные семантические элементы и отношения между ними; КС заключают в себе предикацию (то или иное проявление связи с предикацией). Предметом анализа являются содержательные структуры,

[1] Пользуюсь случаем выразить искреннюю благодарность членам группы функциональной грамматики сектора теории грамматики и типологических исследований ЛО Ин-та языкознания АН СССР и всем коллегам, участвовавшим в обсуждении докладов автора по затронутым в данной статье вопросам, а также Д. М. Насилову, М. А. Шелякину и С. А. Шубику, прочитавшим рукопись статьи и высказавшим ряд замечаний, которые в той или иной мере были учтены автором.

соотнесенные с определенными структурами в плане выражения, охватывающими различные формальные средства, рассеянные в высказывании.

Итак, категориальная ситуация — это базирующаяся на определенном функционально-семантическом поле типовая содержательная структура, представляющая собой один из аспектов передаваемой высказыванием общей сигнификативной ситуации. Родовое понятие КС объединяет видовые понятия модальной, экзистенциальной, залоговой, персональной, каузальной, кондициональной, локативной и других подобных ситуаций.

Типовые КС существуют в форме многоступенчатой вариативности. В высказывании представлен конкретно-речевой вариант данной КС, в нем репрезентируется типовой вариант, выражаемый и в других подобных высказываниях, последний относится к более обобщенному типу и т. д. Эта иерархия вариантов и типов, основанная на отношениях отдельного и общего, приводит к понятиям темпоральной, локативной ситуации и т. п.

Поскольку речь идет о типовых КС, имеется в виду обобщенное семантическое содержание, отвлеченное от конкретных референтов, но отражающее определенные классы денотативных ситуаций. Когда речь идет о конкретно-речевых вариантах КС, имеются в виду аспекты содержания высказывания, соотнесенные с тем или иным фрагментом реальной действительности, воспринимаемой (так или иначе отражаемой) говорящим.

Понятие денотативной ситуации [см. 3] может играть важную роль при анализе КС: какие элементы реальной действительности отбираются говорящим, как они интерпретируются в высказывании, каково соотношение денотативно-отражательных и интерпретационных элементов в общей ситуации, передаваемой высказыванием,— таковы вопросы, возникающие при анализе рассматриваемого типа. Так, анализируя процессные аспектуальные ситуации (в случаях типа *Вон он спускается*), мы обращаемся к реальной ситуации протекающего процесса и его наблюдения; в развивающемся процессе выделяется фиксируемый период, в течение которого прослеживается динамика переходов от более ранних моментов в течении действия к более поздним. Выделяемые нами признаки процессных ситуаций («срединность», динамичность, перцептивность) — не что иное,как отражаемые в значениях языковых средств свойства реальных ситуаций наблюдения протекающих процессов, включая самый процесс, фиксируемый период, время и место наблюдения.

Вместе с тем анализ КС не может сводиться к описанию тех или иных аспектов денотативной ситуации, отражаемой в содержании высказывания. Важную роль играет анализ не только отражательных, но и интерпретационных элементов изучаемой семантики. Так, в высказывании — *Что такое? Мы обиделись?* (И. Бунин, Смарагд) персональная ситуация включает не только отражение соответствующих компонентов реальной денотативной ситуации, но и элемент ее языковой семантической интерпретации — образное (переносное) представление говорящего как соучастника действия.

Исследование и описание КС базируется на синтезе направлений «от семантики к формальным средствам ее выражения» и «от формальных средств к семантике». Исходным для выделения и определения предмета анализа — типовых ситуаций с определенным категориальным содержанием (темпоральным, каузальным, локативным и т. д.) — является первое из указанных направлений (следует, однако, иметь в виду, что само выделение семантических категорий, лежащих в основе рассматриваемых полей, нельзя считать независимым от языковых категорий и форм). В этом же направлении (как основном) осуществляется исследование субкатегоризации типовых ситуаций, системы их содержательного варьирования. Вместе с тем необходимым и существенным является анализ, базирующийся на формальных средствах. Когда в рамках передаваемой высказыванием общей ситуации выделяется тот или иной категориальный аспект, то сама эта операция связана с опорой на определенные формальные средства. Каждый вариант той или иной КС характеризуется не только семантически, но и формально: обязательно соотнесение КС как определенной содержательной структуры со структурой плана выражения.

Например, аспектуально-таксисная ситуация типа «длительность — наступление факта» реализуется в таких вариантах, как а) «длительность — неожиданное наступление факта», б) «длительность — сменяющее ее наступление факта» (без элемента внезапности), в) «желание, готовность осуществить действие — наступление факта, препятствующего его осуществлению» (данный вариант включает не только аспектуальные и таксисные, но и модальные элементы), г) «длительность — наступление факта в один из ее моментов», д) «длительность — завершающее ее наступление факта», е) «длительность — наступление факта как ее предел». Каждый из этих вариантов характеризуется соотнесенностью с определенным комплексом формальных структур. Так, вариант (а) выражается структурами «НСВ — (*и*) *вдруг* СВ» (здесь и далее НСВ — форма несовершенного вида, СВ — совершенного), «НСВ — *как вдруг* СВ» и т. п., вариант (в) выражается структурами «хотел (*было*)... — *но* (или *как вдруг*) СВ», «*уже готовился*... — *но* СВ», «*уже собирался*...— *как вдруг* СВ» и т. п., вариант (е) — структурами «НСВ — (*до тех пор*) *пока не* СВ» и т. п. [см. 8, с. 190—192]. Опора на разнообразные (грамматические, лексические, комбинированные) языковые средства высказывания — важнейший фактор объективации анализа КС.

Состав КС определяется системой семантических категорий, лежащих в основе функционально-семантических полей (ФСП) данного языка.

В русском языке могут быть выделены следующие группировки ФСП:

а) группировка ФСП с акциональным (предикативным) ядром: аспектуальность, темпоральность, таксис; комплекс модальных полей (объективная, субъективная модальность, аффирмативность/негативность, повествовательность/вопросительность); бытийность (экзистенциальность); поле состояния; залоговость, персональность (два последних поля, с предикативно-субъектным ядром, представляют зону пересечения данной группировки ФСП с полями, относящимися к следующей группировке);

б) группировка ФСП с предметным (субъектно-объектным) ядром: субъектность/объектность (включая одушевленность/неодушевленность и выражение отношения к полу); определенность/неопределенность (последнее поле имеет отношение и к следующей группировке);

в) группировка ФСП с качественно-количественным (преимущественно атрибутивным) ядром: качественность, количественность (последнее поле связано с выражением не только признаков, но и субстанций, а также действий); компаративность; посессивность;

г) группировка ФСП с обстоятельственным ядром: поля причины, цели, условия, уступки и следствия; поле сравнения; локативность.

Вероятно, состав ФСП может быть уточнен. В частности, речь может идти о ФСП, охватывающем средства выражения противительных отношений, и о соответствующем типе КС. Однако в целом круг КС является ограниченным, перечень КС поддается исчислению. Разумеется, в рамках каждого ФСП и соответствующего типа КС выявляется многоступенчатая вариативность (субкатегоризация), но это обычный способ существования единиц и категорий языкового содержания, как бы они ни интерпретировались, а не специфическая особенность именно тех аспектов содержания высказывания, которые мы рассматриваем как КС.

Существенным свойством системы ФСП являются их пересечения, затрагивающие как поля внутри определенной группировки (ср. пересечения полей аспектуальности, темпоральности и таксиса), так и поля, относящиеся к разным группировкам (ср. взаимные связи аспектуальности и количественности). Пересечения ФСП находят отражение в с о п р я ж е н н ы х К С, выступающих в составе к о м п л е к с н ы х с и т у а ц и й — аспектуально-темпоральных, аспектуально-таксисных, аспектуально-квантитативных и т. п.

Самый термин «категориальная ситуация» необычен. Он нарушает привычные ассоциации, относящие ситуации к объективной действительности, а категории — к мышлению и языку. Однако использование этого термина оправдано, с нашей точки зрения, тем, что он отражает производ-

ность стоящего за ним понятия, с одной стороны, от общих ситуаций, а с другой — от семантических категорий, лежащих в основе ФСП данного языка. Важно и то, что этот термин способен обозначать родовое понятие по отношению к видовым понятиям локативной, каузальной, кондициональной и других подобных ситуаций, связанных с отдельными семантическими категориями.

Категориальные и общие ситуации

Среди КС, совмещенных в составе передаваемой высказыванием общей ситуации, выделяется доминирующая КС (или доминирующий комплекс взаимосвязанных КС) — наиболее существенный и актуальный элемент из числа семантических элементов, формирующих смысл высказывания. Остальные семантические элементы составляют «фон». Они могут быть необходимым условием реализации доминирующей КС, но в иерархии актуализируемых элементов содержания высказывания их роль относительно второстепенна, вторична.

Основанием для выделения доминирующей КС (комплекса КС) является анализ содержательной и формальной структур высказывания. Так, в следующих высказываниях налицо целый ряд языковых средств, выражающих и подчеркивающих доминирующую роль темпоральной ситуации: а) в варианте сопоставления временных планов действий и времени речи: *Теперь — больше сорока лет вперед — я перебирал* (*или перебираю*?) *обветшалые листки с ломко-осыпающимися краями, как бы сожженными серной кислотой времени... То, что было тогда «тому вперед», теперь стало «тому назад»* (В. Катаев, Трава забвенья); б) в варианте соотнесения планов давнего и ближайшего прошлого: *Когда-то все эти вещи принадлежали Кириллу. Когда-то он писал в этих тетрадях. Когда-то учебники стояли на этажерке, синий чертеж был аккуратно наколот на стене, матрац застелен белым одеялом. Когда-то... Нет, вот сию минуту Кирилл сидел на этом стуле, посредине комнаты, вот только что он уронил этот стул...* (К. Федин, Первые радости). Остальные аспекты общей ситуации в обоих высказываниях (индикативная модальность, различные аспектуальные значения, персональная, залоговая характеристика высказывания и т. д.) — это важные сами по себе семантические элементы, однако по отношению к доминирующей КС они составляют фон.

В следующих высказываниях доминирующей является экзистенциальная ситуация: а) в варианте «принципиальное существование/несуществование кого-либо (чего-либо)»: *Шарафутдинов ... Католикосы не бывают! Коели ...Неосведомленность ваша... Католикосы тоже бывают* (В. Панова, Метелица); б) в варианте «противопоставленных существований»: *Есть люди, которые бытуют в нашей жизни всерьез, и есть бытующие нарочно* (Л. Гинзбург, Старое и новое); *Тынянов говорил, что бывают исследования, которые при правильном наблюдении фактов приводят к неправильным результатам,— и бывают такие, которые при неправильном наблюдении фактов приводят к правильным результатам* (Л. Гинзбург, Старое и новое). И в этих высказываниях основанием для выделения доминирующей КС являются конкретные языковые средства, подчеркивающие ядерную роль именно данного элемента в передаваемом содержании (*бывают...— не бывают...*; *есть... — и есть...*; *бывают...— и бывают*).

Рассмотрим высказывание: *Вот хоть бы Акулька-ключница — чем ей не житье! Сбегала на погреб, в кладовую, что следует — выдала, что следует — приняла... Потом опять сбегала* (М. Салтыков-Щедрин, День в помещичьей усадьбе). Здесь доминирует комплекс КС, в составе которого выступают: 1) аспектуально-темпоральная узуальная ситуация (включающая наглядно-примерный способ представления обычности); 2) темпоральная ситуация, охватывающая широкий и неопределенный план настоящего времени, примыкающую к нему сферу прошлого и возможную перспективу аналогичных действий в будущем; 3) таксисная ситуация последовательности (кратно-цепной тип); 4) модальная ситуация

легко реализуемой потенциальной возможности; 5) квалитативная ситуация (какое именно житье у Акульки-ключницы).

Высказывания неоднородны с точки зрения соотношения «общая — категориальная ситуация». Можно выделить два основных типа (при наличии гаммы постепенных переходов): 1) высказывания, ориентированные на выражение определенной КС (простой или комплексной); общая ситуация в таких случаях является фокусированной, сильно центрированной, подчиненной доминирующей КС; 2) высказывания, выражающие целый комплекс КС, без явной ориентации лишь на одну из них; в подобных случаях передается нефокусированная общая ситуация, включающая несколько относительно равноправных КС в составе доминирующего комплекса.

К фокусированному типу относятся высказывания, содержательная структура которых ориентирована на выражение таких отношений, как компаративные (*Она умнее его*), посессивные (*У него есть все*). Таковы также высказывания с доминирующими модальными ситуациями побуждения (*Замолчите*!), желательности (*Я бы поспал*), неизбежности (*Этого не миновать*) и т. п. Речь идет о маркированных вариантах косвенной модальности, для которых характерна тенденция к доминирующему положению в составе общей ситуации фокусированного типа (что же касается нейтральной модальности индикатива, то для нее характерна отнесенность к «фону»). Заметим, что доминирующее положение модальных ситуаций указанного выше типа (как единственного фокуса общей ситуации) — это лишь тенденция, но не общее правило. Многое зависит от актуального членения, от расстановки смысловых акцентов в высказывании. Так, в высказывании *Сюда кладите*! в доминирующий комплекс наряду с императивной включается локативная ситуация. Нефокусированность характерна для высказываний многоаспектной направленности, не содержащих узко специализированных и сильно маркированных конструкций, подчиняющих себе всю семантическую структуру высказывания. Например: *Нет, инквизитор — это соприкосновение миров*! *Он в Севилье сжигал еретиков. А Митеньку Карамазова судили в Скотопригоньевске* (Д. Гранин, Обратный билет). Здесь доминирующий комплекс включает несколько смысловых соотнесений, распределенных по разным КС — субъектно-объектной, локативной и темпоральной. Ни одна из них не может быть признана единственным фокусом общей ситуации.

Типы категориальных ситуаций

Разнородность и разноаспектность рассматриваемых ситуаций, обусловленная прежде всего неоднородностью лежащих в их основе семантических категорий и разнотипностью соответствующих полей, требует особого внимания к классификации КС. По существу речь должна идти о разработке системы классификаций, основанных на разных признаках. Пока мы ограничимся краткими замечаниями о некоторых типах КС.

Следует выделить КС двух типов: а) актуализационные и б) неактуализационные (используя понятие «шифтер» в истолковании Р. О. Якобсона [9], можно говорить о ситуациях-шифтерах и не-шифтерах). Ситуации первого типа содержат указание на отношение обозначаемой ситуации к ситуации речи и ее участникам — говорящему и слушающему; ситуации второго типа не содержат такого указания. К первому типу относятся модальные (объективно-модальные и субъективно-модальные), темпоральные и персональные ситуации. Такова, например, ситуация актуального настоящего в высказывании: — *Что вы там возитесь*? В данном случае отражаемая денотативная ситуация, одновременная моменту речи, объединяется с ситуацией речи. Разумеется, не во всех случаях представлено подобное пересечение обозначаемой денотативной ситуации и ситуации речи, однако то или иное отношение обозначаемой ситуации к ситуации речи, так или иначе представленное в содержании высказывания, присуще всем КС рассматриваемого типа.

Ко второму типу относится большинство других КС — таксисные, залоговые, субъектно-объектные, квалитативные, квантитативные, компаративные, посессивные, каузальные, кондициональные и т. д. Некоторые КС — аспектуальные, экзистенциальные, а также ситуации определенности/неопределенности — не могут быть однозначно отнесены к одному из указанных типов. Эти КС требуют специального анализа с данной точки зрения. Пока мы ограничимся констатацией их неоднородности и двойственности в рассматриваемом отношении. Так, среди аспектуальных ситуаций актуализационными, безусловно, являются ситуации временной локализованности/нелокализованности (ср.:— *Посмотри: она улыбается.— Она часто улыбается*); подобные ситуации являются не чисто аспектуальными, а аспектуально-темпоральными; их отношение к ситуации речи определяется не только аспектуальными, но и темпоральными признаками. В других случаях отношение аспектуальных явлений к признаку наличия/отсутствия указания на связь обозначаемой ситуации с ситуацией речи двойственно. Глагольный вид в русском и других славянских языках заключает в своей семантике «взгляд на действие» с точки зрения его отношения к пределу. Этот взгляд может быть актуализирован как взгляд говорящего на действие, выраженное в данном высказывании: *Смотри, поезд идет*; в подобных случаях процессная ситуация содержит отношение к говорящему-наблюдателю. Вместе с тем во многих случаях действие, выраженное формами СВ и НСВ, реально не наблюдается, и «взгляд на действие» получает форму таких закономерностей представления действия в его отношении к пределу, которые реализуются при отсутствии актуального отношения выражаемых значений к говорящему и ситуации речи в целом.

КС актуализационного типа (модальные, темпоральные, персональные), являются обязательными для любого высказывания. Вместе с тем обязательным (если не в абсолютном, то в относительном смысле, т. е. для подавляющего большинства высказываний) являются и некоторые другие КС, как имеющие в какой-то мере отношение к актуализационному типу (аспектуальные и ситуации определенности/неопределенности), так и явно неактуализационные, в частности, залоговые. Вопрос об обязательных КС тесно связан с проблематикой, давно разрабатывающейся при иной терминологии, в частности, в терминах «грамматических категорий предложения», «актуализационных признаков высказывания» и т. п. Этот вопрос требует специального рассмотрения.

Могут быть выделены КС следующих типов: 1) синтагматически сильные; 2) синтагматически слабые. КС первого типа характеризуются явной выраженностью синтагматических отношений между семантическими элементами КС, соотнесенными с дискретным формальным выражением. Таковы, например, компаративные ситуации типа *Я старше вас* (с элементами субстанция А, субстанция Б, отношение сравнения). К синтагматически сильному типу помимо компаративных относятся следующие КС: таксисные, залоговые, субъектно-объектные, посессивные, ситуации причины, цели, условия, уступки, следствия, сравнения, локативные. Остальные КС являются синтагматически слабыми. Они отличаются слабой (неопределенной, непоследовательной, непостоянной) выраженностью синтагматических отношений между элементами КС или отсутствием таких отношений (когда КС имеет структуру лишь в плане парадигматики). Ср. темпоральные ситуации типа *Он вернется* — без синтагматических признаков структуры и ситуации типа *Мать... Уехал, Олюшка. Оля. Ой! Давно? Мать. Да нет, вот только что* (В. Панова, Как поживаешь, парень?). Между рассматриваемыми типами нет резких граней. Последовательность и регулярность синтагматического выявления структуры ситуаций, отнесенных к первому типу,— не абсолютные, а относительные признаки.

Об универсально-понятийном и конкретно-языковом аспектах понятия КС

Категориальная ситуация в первом аспекте — понятие, относящееся к области универсальных инвариантов. Речь идет о типовых ситуациях, базирующихся на понятийных полях. Семантика КС трактуется в отвлечении от особенностей языковой семантической интерпретации, связанной со спецификой строя отдельных языков. Возможны гипотетические построения систем аспектуальных, темпоральных, таксисных и т. п. типовых ситуаций, рассчитанные на потенциальные приложения к неограниченному числу языков различного строя. Заметим, что такие построения, универсальные по замыслу, фактически являются результатом обобщения фактов определенного круга учитываемых исследователем языков; при их приложении к другим языкам они неизбежно модифицируются и уточняются. Все это, однако, отнюдь не снижает значимости типологии КС, стремящейся к универсальности. Мы имеем здесь дело со своего рода рабочей гипотезой, необходимой в типологических и сопоставительных исследованиях.

Типовые ситуации заключают в себе универсальный семантический инвариант. Ср., например, отмеченные уже Э. Кошмидером (применительно к польскому языку) ситуации типа «длительность (фон) — наступление факта», в частности, «что-то происходило, когда что-то произошло»: *Иван читал, когда я вошел*; англ. *John was reading when I entered*; франц. *Jean lisait quand j'entrai*; исп. *Juan leía cuando entré*; итал. *Gianni leggeva quando entrai* и т. п. (используем примеры, приведенные Б. Комри для иллюстрации понятия «вид» [10, с. 3]).

Вместе с тем в отражении одной и той же денотативной ситуации в разных языках (да и в одном языке) могут проявляться существенные различия в избирательности, в выделении и интерпретации признаков отражаемых предметных отношений [см. 3, с. 366—372].

Различия в языковом содержании КС (при наличии понятийного инварианта) могут проявляться и в родственных языках. Ср., например, возможность передачи ситуаций с имплицитной (явно не выраженной, не подчеркнутой, лишь подразумеваемой, представленной в виде слабого оттенка) ингрессивностью или результативностью в высказываниях с формой НСВ в чешском языке: *Vstal, šel do tmavé předsíňky a jedním trhnutím otevřel dveře na chodbu* (J. Otčenášek, Romeo, Julie a tma); *Štěpan doma? Není, šel do města* (K. Čapek, Hordubal), при явно выраженной ингрессивности или результативности в соответствующих русских высказываниях: *Встал, пошел (направился) в темную прихожую и одним рывком открыл дверь в коридор*; — *Штепан дома?* — *Нет, пошел (ушел) в город* [11, 12].

Понятие КС может быть использовано в типологических и сопоставительных исследованиях. Основанием для сравнения могут быть универсально-понятийные аспекты КС (с опорой на отражаемые денотативные ситуации). При анализе важно определить различия не только в средствах формального выражения, но и в языковой семантической интерпретации изучаемых содержательных структур. Если речь идет об изучении систем КС в рамках определенного поля, важным элементом анализа является сопоставление систем семантической вариативности.

В рамках функциональной грамматики какого-то одного языка КС рассматриваются нами в конкретно-языковом аспекте. В высказываниях, являющихся базой для анализа, КС, выделяемые в составе общих ситуаций, выступают в определенном конкретно-языковом воплощении, которое касается не только средств формального выражения, но и некоторых аспектов содержания. В КС заключено семантическое содержание, прошедшее сквозь призму данного языка.

Рассмотрим высказывания типа: — *Так он тебе и сказал, Феклиста... как же* (Д. Мамин-Сибиряк, Лётные); — *Ха-ха-ха! Так он и принес сдачу* (М. Гиляровский, Москва и москвичи); *А н и с ь я (про себя). Как же, и пошла я* (Л. Толстой, Власть тьмы). В таких случаях представлена

модально-темпоральная ситуация, включающая следующие элементы: а) отнесенность обозначаемых фактов к денотативному плану будущего; б) уверенность говорящего в том, что действие не осуществится (вопреки явно выраженному или подразумеваемому мнению собеседника); в) экспрессивное представление отрицания через ироническое утверждение; г) экспрессивное и образное представление отрицаемого факта в будущем как уже осуществившегося (как готового результата); д) специальное указание на недопущение говорящим реальности данного факта, на негативное отношение к нему (что связано с особой иронической интонацией и сочетаниями *как же*; *так и*). Все указанные образные и экспрессивные элементы содержания высказывания включаются в структуру данной ситуации.

Предлагаемое разграничение конкретно-языкового и универсально-понятийного аспектов понятия КС связано с проводимой нами дифференциацией таких понятий, как функционально-семантическое и понятийное поле, языковая семантическая функция и понятийная категория, план содержания текста высказывания и речевой смысл [13]. В дальнейшем, говоря о КС, мы имеем в виду типовые содержательные структуры и их варианты, включающие не только общесмысловую (понятийную) основу содержания, но и его конкретно-языковую семантическую интерпретацию.

Подчеркнем еще раз взаимную связь рассматриваемых аспектов, их единство. Данный конкретно-речевой вариант определенной КС заключает в себе конкретно-языковое воплощение определенной типовой ситуации, включенной в систему КС данного языка, но вместе с тем в этом конкретно-речевом варианте, в соответствующей типовой ситуации и в их системе находят одно из возможных воплощений некоторые общие закономерности системно-структурной организации семантического содержания высказывания.

Обратимся к рассмотрению одного из тех частных понятий, которые объединяются родовым понятием КС. Предметом анализа будут аспектуальные ситуации. Именно они явились для нас исходной базой для введения более общего понятия КС (подобно тому, как понятие аспектуальности, введенное нами в работах 60-х гг., было основой для интерпретации более общего понятия ФСП [14, 15]).

Аспектуальные ситуации

Аспектуальная ситуация (АС) — это базирующаяся на поле аспектуальности типовая содержательная структура, представляющая собой ту сторону передаваемой высказыванием общей сигнификативной ситуации, которая связана с выражением характера протекания и распределения действий (и других акциональных элементов ситуации) во времени.

Понятие АС выводит анализ аспектуальных отношений, выражаемых в результате взаимодействия различных языковых средств, на уровень высказывания. Такие понятия, как частное значение (функция) совершенного или несовершенного вида, в полной мере сохраняют значимость в исследовании и описании, ориентированном на грамматические формы вида и их функционирование. Однако такой подход (формо-центрический), на наш взгляд, должен быть дополнен анализом, учитывающим все средства выражения определенного содержания в высказывании. Именно этому служит понятие АС.

Приведем примеры. В высказываниях типа *Но чем громче он говорил, тем ниже она опускала свою когда-то гордую, веселую, теперь же постыдную голову...* (Л. Толстой, Анна Каренина) представлен аргументативно-соотносительный вариант процессной ситуации. В выражении процессности центральную роль играют формы НСВ, однако выражаемые аспектуальные отношения передаются и другими аспектуально значимыми элементами высказывания. В данном случае предметом анализа должна быть вся конструкция типа «*чем ярче* (*сильнее* и т. п.) $НСВ_1$ — *тем больше* (*яснее* и т. п.) $НСВ_2$». Выражается развертывание двух взаимосвязанных

процессов при соотнесенности степени проявления их обстоятельственных признаков; возрастающая степень проявления того или иного признака в протекании одного процесса обусловливает возрастающую степень проявления соответствующего (зависимого) признака в протекании другого процесса. Перед нами именно ситуация (рассматриваемая под углом зрения аспектуальных отношений) с определенной целостной структурой содержания и выражения, затрагивающего все высказывание. Заметим, что в данном варианте процессной ситуации отражается связь аспектуальности с таксисом, а также с компаративными отношениями.

В следующих высказываниях представлен мультипликативный вариант процессной ситуации: *Колокол редкими ударами бил где-то далеко-далеко* (В. Белов, Плотницкие рассказы); *Он дышал часто и прерывисто* (В. Белов, Тезки); *Я сидел в ванне, до краев наполненной холодной водой, куда из медного крана одна за другой с продолжительными мертвыми паузами падали увесистые капли, производя короткие, однообразно-музыкальные удары разных тонов* (В. Катаев, Трава забвенья). Известно понятие многоактного (мультипликативного) способа действия (по отношению к глаголам типа *мигать*, *моргать*, *капать*, *топать* и т. п.). Однако для анализа сложной внутренней структуры процесса, выражаемой не только глаголом, но и рядом других элементов высказывания, оказывается необходимым понятие мультипликативной ситуации (применимое, как показывают приведенные выше примеры, и к тем высказываниям, в которых выступают глаголы иных способов действия).

Еще один пример — узуальные ситуации (аспектуально-темпоральные, т. е. отражающие пересечение полей аспектуальности и темпоральности) — а) темпорально детерминированные: *Я пишу тебе почти каждый день, редко пропускаю* (А. Чехов, Переписка); б) темпорально недетерминированные (абстрактные, всевременные): *Старость не красит*; *Рука руку моет* и т. п. Если речь идет о функционировании видовых форм, то закономерно выделение неограниченно-кратной функции НСВ, включающей и узуальный вариант (ср. также наглядно-примерную функцию СВ при выражении обычных действий). Вместе с тем анализ узуальности не может ограничиваться подходом к ней лишь со стороны функций глагольного вида (заметим, что выражение узуальности возможно и в высказываниях, где вообще нет видовых форм глагола: *По вечерам в Ялте уже холодно* (А. Чехов, Переписка). При ориентации на все элементы семантики узуальности и разнообразные средства ее выражения в высказывании естественно обращение к ситуативному представлению аспектуальных отношений на уровне высказывания.

Использование понятия АС применительно к языкам, обладающим категорией вида, способствует разграничению и соотнесению семантических элементов, выражаемых, с одной стороны, видовой формой глагола, а с другой — аспектуальным контекстом. Те и другие элементы рассматриваются в составе АС как единого содержательного целого на уровне высказывания. Рассмотрим высказывания типа *Это здание строил Стасов*; *Это платье шил портной из соседнего ателье*; *Смету составлял бухгалтер*. В таких случаях сама по себе форма НСВ не выражает результативности. Она указывает на то, что субъект в свое время трудился над тем объектом, о котором идет речь. Налицо оттенок связи общего указания на самый факт действия с процессностью (ср. отнесение аналогичных примеров к результативной разновидности общефактического значения НСВ в работе [16]; мы не можем согласиться с утверждением автора, что этот тип общефактического значения связан с обозначением закончившегося действия, которое имело результат в прошлом [16, с. 108]). Вместе с тем элемент результативности в содержании рассматриваемых высказываний, безусловно, присутствует. Он связан с обозначением готового объекта — результата труда архитектора, портного, бухгалтера и т. п. Для ситуаций обобщенного факта характерна общеинформативная направленность высказывания. Данный вариант ситуаций этого типа связан с акцентом на «авторстве»: «над данным (готовым, наличным) объектом трудился (когда-то) X» (обозначение объекта относится к теме, а обозначение субъекта —

к реме). Это именно целостная ситуация, а не только лишь значение формы НСВ в контексте.

В аспектологии уже есть опыт использования понятия ситуации. В известном теоретическом труде Э. Кошмидера, опубликованном в 1934 г., о ситуациях говорится как о факторе, определяющем употребление видов. Речь явно идет о фактах внеязыковой действительности («ситуация требует/не требует определенного вида» и т. п. [17, с. 140—141]). Важно, однако, отметить, что в работе Э. Кошмидера представлена типизация ситуаций: речь идет не только о конкретных ситуациях, но и о «ситуационных типах». При их анализе отчетливо проявляется аспектологическая специализация данного понятия, в частности, его направленность на обозначение соотношений фактов во времени: «...временное отношение данного факта к другому в комплексе фактов, называемом ситуацией, содержит элементы соотносительности (например, одновременность или предшествование)...» [17, с. 139]. Рассматриваются такие ситуационные типы, как «что-то происходило, и тем временем произошло что-то другое», «что-то произошло, затем произошло что-то другое» и т. п. [17, с. 149—150]. Подобные ситуационные типы связаны как с аспектуальной характеристикой определенного комплекса действий, так и с отношением таксиса.

В наших работах использовался термин «тип аспектуального (видового) контекста». Соответствующее понятие во многом сходно с «ситуационными типами» Э. Кошмидера, однако оно «предполагает рассмотрение не внеязыковых фактов, а языкового отражения внеязыковых ситуаций» [18]; «...временные соотношения фактов и вообще характер протекания комплекса действия — это лишь одна сторона рассматриваемых типов. Другая сторона — это языковые средства выражения тех отношений, о которых идет речь (средства морфологические, синтаксические и лексические, вся совокупность элементов контекста, влияющих на функционирование видов)» [7, с. 179]. По существу здесь уже представлено многое из того, что послужило основанием для введения понятия АС (ср. описание языкового материала в работе [8, с. 176—217]). Разумеется, понятие АС отличается от «типов аспектуального (видового) контекста» теми общими принципами истолкования КС, о которых шла речь выше, но элементы связи понятий и подходов к анализу языкового материала, безусловно, существуют.

В русском языке могут быть выделены АС следующих основных типов:

1) АС, связанные с отношением действия к пределу, в частности, процессные (предельно-процессные и непредельно-процессные), ситуации обобщенного и конкретного факта; с отношением к пределу соотнесено и противопоставление акциональных и статальных ситуаций: первые могут быть как предельными, так и непредельными, вторые только непредельны; статальные ситуации могут быть процессными и непроцессными; особый тип ситуаций, близкий к статальным, представляет собой реляционные ситуации (*Умение писать зависит от умения мыслить* и т. п.);

2) АС, связанные с комплексом признаков локализованности/нелокализованности действия во времени и количественной характеристики действия, в частности, узуальные ситуации, а также ситуации, выделяемые по признакам разных типов итеративности, степени длительности и интенсивности (КС данного типа отражают пересечения поля аспектуальности с полями темпоральности и количественности);

3) АС, связанные с фазовостью (фазовые ситуации);

4) АС, связанные с признаком актуальности последствий действия (перфектные ситуации, отражающие пересечение полей аспектуальности и темпоральности) (ср. обзор системы аспектуальных значений в работе [19]).

Целый ряд типов АС может быть выделен в области пересечения аспектуальности с полями модальности, персональности, залоговости и локативности.

Указанные типы АС представляют неоднородные сферы аспектуальных отношений, не сводимые к единому основанию членения. Перед нами

типичный пример естественной классификации с широко представленным явлением пересечения классов. Так, ситуации обобщенного факта в части случаев связаны с признаком актуальности последствий действия (*Я еще не ел* и т. п.), т. е. являются в то же время перфектными; ситуации конкретного факта (*Поезд тронулся*) выделяются как по признаку ограниченности целостного действия пределом, так и по признаку локализованности действия во времени.

Каждый из упомянутых выше типов АС выявляет более дробную семантическую вариативность. Так, предельно-процессные ситуации могут быть закрытыми, т. е. содержащими указание на тот или иной результат направленности процесса на достижение предела (*Писал всю ночь и наконец написал*), и открытыми — без такого указания (*—Поправились? — Поправляюсь*). Одним из вариантов предельно-процессных ситуаций закрытого типа являются ситуации с модальным элементом конативности: «попытка — ее результат», ср. более частный вариант со значением безуспешной попытки: «НСВ — *но* (*да*) *не* СВ» (*Долго уговаривали, да так и не уговорили*).

Описание АС, разумеется, не отменяет анализа категории вида и способов действия на уровне слова, а дополняет такой анализ. Лишь на основе изучения грамматических форм слова (как отдельно взятого, так и рассматриваемого в контексте) возможен тот дополнительный тип функционального анализа, о котором идет речь. Исследование аспектуальности, сконцентрированной в грамматической форме глагола, дополняется изучением аспектуальности высказывания (что позволяет по-новому взглянуть и на роль глагольной формы в целостной аспектуальной характеристике высказывания).

Заключительные замечания

Экспликация понятия КС представляет собой результат такого обобщения фактов и выводов функционально-грамматических исследований, которое, конечно, предполагает определенные предпосылки в лингвистической традиции и современных теориях. Выше уже были упомянуты «ситуационные типы» Э. Кошмидера, имеющие важное значение для исследования КС в области аспектологии. Понятие ситуации используется в теории диатезы и залога [5—7]. В некоторых работах встречается эксплицитная терминологическая специализация отдельных ситуаций. Так, Г. Г. Сильницкий использует понятие «каузативная ситуация» [20].

Для разработки проблем, связанных с понятием КС, имеют большое значение работы, в которых используется понятие ситуации в общем смысле, без специальной ориентации на изучение той или иной категории (см., например, [3, 21, 22]). Не менее существенны работы, в которых термин «ситуация» вообще не употребляется, но по существу содержится комплекс идей, стимулирующих поиск в данном направлении. Сошлемся, в частности, на интерпретацию «различных линий или пластов сообщения, одновременно передающихся от говорящего к слушающему», «общей нагрузки» грамматических значений, «аккорда речевой цепи» в работах В. Г. Адмони [23]. К рассматриваемой проблематике имеют непосредственное отношение и работы о грамматических категориях предложения (высказывания). Таким образом, понятие КС не находится в противоречии с предшествующим опытом анализа грамматических единиц и категорий в их функционировании. Напротив, на наш взгляд, излагаемая концепция в известной степени интегрирует элементы этого опыта, продолжая традицию функционально-грамматических исследований.

Степень нагруженности понятия КС при исследовании разных ФСП и разных типов высказываний в рамках одного и того же поля не одинакова. Коэффициент полезного действия этого понятия тем выше, чем сложнее структура анализируемого содержания и выражения, чем сильнее выражены не только парадигматические, но и синтагматические элементы этой структуры, чем больше разнообразных языковых средств вовлекается в данную структуру, чем сильнее выражено их взаимодействие,

чем полнее представлено участие высказывания в целом в передаче рассматриваемого семантического содержания. Так, в случаях типа *Я налью вам чаю* понятие темпоральной ситуации вряд ли дает какие-либо дополнительные результаты, помимо тех, которые достигаются при опоре на понятие значения или функции формы времени. Иначе обстоит дело в тех случаях, когда выражается многоплановая темпоральная структура, как в следующем примере: *Я попробовал представить, что останется у детей и внуков от моего мира. Многое исчезнет навсегда. Вот они встретятся с внуками Калистратова и понятия не будут иметь, что деды их дружили, вместе охотились, рыбачили. Они будут стоять на этом берегу и знать не будут, что когда-то мы сидели здесь с Андрианом и говорили о них* (Д. Гранин, Обратный билет). Данная темпоральная структура строится на основе соотношения следующих временных планов: T_1 — момент речи автора; T_2 — план прошедшего времени (описываемой поездки в Старую Руссу), являющегося точкой отсчета по отношению к сообразжаемому будущему и вспоминаемому прошлому; T_3 — будущее с точки зрения T_2; T_4 — прошлое с точки зрения T_2 и T_1. В подобных случаях понятие темпоральной ситуации становится вполне адекватным природе объекта, так как объектом описания действительно является темпоральная структура высказывания в целом.

По-видимому, не все ФСП допускают развернутую и последовательную интерпретацию в виде системы КС. Так, вероятно, о квантитативных ситуациях целесообразно говорить лишь в тех случаях, когда выражение количественности так или иначе связано с предикацией и является действительно квантитативной характеристикой высказывания, а не отдельных его элементов.

В данной связи следует принять во внимание два фактора, которые далеко не всегда согласуются друг с другом. С одной стороны, важное значение имеет фактор системности, который требует единого подхода к изучению ФСП в их проекции на высказывание, в частности, единого способа ситуативного представления всех ФСП и всех языковых явлений в рамках данного поля (например, приложения понятия темпоральной ситуации ко всем типам высказываний). С другой стороны, существует упомянутый выше фактор неравномерной нагруженности, неравноценно эвристической силы понятия КС. Фактор единого системного подхода является основным. Следовательно, дальнейшие поиски должны быть направлены на разработку такой методики анализа, которая располагала бы некоторыми возможными вариантами для разных типов языкового материала, но обеспечивала бы при этом единство и целостность общей системы анализа.

Необходима специальная разработка методики анализа КС. Пока можно говорить лишь о первоначальном опыте анализа по конститутивным семантическим признакам [2].

Возможны два направления исследования КС. Одно из них связано прежде всего с изучением тех общих ситуаций, в пределах которых выделяются конкретно-речевые варианты сосуществующих и взаимодействующих КС. Если брать за основу эти общие ситуации, то их рассмотрение ведет от микроситуаций к макроситуациям и от них к тексту в целом. Изучение развертывания отдельных ситуаций, их сцеплений, анализ целых линий развития общих и специализированных ситуаций — линий модальных, темпоральных, персональных, локативных и т. п.— относится к грамматике текста. Возможно использование таких понятий, как «общая категориальная доминанта текста» (например, императивная, обобщенно-узуальная).

Другое направление исследования КС базируется на системе ФСП и лежащих в их основе фундаментальных семантических категорий. Группировки полей и их пересечения служат исходным пунктом для анализа соответствующих КС и их взаимных связей в системно-категориальном аспекте. КС изучаются по плану, обусловленному системой ФСП: сначала описывается система КС в рамках одного поля, затем другого и т. д. Соответственно исследуются взаимные связи КС. Разумеется,

материалом для анализа служат конкретные высказывания, однако с самого начала они подвергаются систематизации и типизации, т. е. рассматриваются с точки зрения репрезентации определенных типовых ситуаций. Именно это направление — системно-категориальное — избирается нами при построении функциональной грамматики. Это направление определяет все основные особенности анализа ФСП, включая анализ реализации их элементов в высказывании. Выходы в грамматику текста возможны, но они не являются ведущими, доминирующими. Анализ ориентируется на изучение типов, разновидностей и вариантов КС с точки зрения описания системы тех ФСП, на которых они базируются. Как уже было отмечено выше, самый состав типовых КС определяется системой фундаментальных семантических категорий, лежащих в основе ФСП данного языка. Данное направление функционально-грамматического исследования представляет собой грамматику языка и в то же время грамматику речи: онтологический статус строя языка включает и основные закономерности функционирования его единиц, классов и категорий, репрезентируемые в речи.

Понятие КС имеет поисковый характер. Оно не претендует на универсальность. Необходима тщательная проверка возможностей и результатов его использования при описании ФСП разных типов.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Бондарко А. В.* Основы построения функциональной грамматики (на материале русского языка).— ИАН СЛЯ, 1981, № 6.
2. *Бондарко А. В.* Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии. Л., 1983.
3. *Гак В. Г.* Высказывание и ситуация.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1972. М., 1973.
4. Аспекты общей и частной лингвистической теории текста. М., 1982.
5. *Холодович А. А.* Залог. I: Определение. Исчисление.— В кн.: Категория залога: Материалы конференции. Л., 1970.
6. *Храковский В. С.* Конструкции пассивного залога (определение и исчисление).— В кн.: Категория залога: Материалы конференции. Л., 1970.
7. *Успенский В. А.* К понятию диатезы.— В кн.: Проблемы лингвистической типологии и структуры языка. Л., 1977.
8. *Бондарко А. В.* Вид и время русского глагола (значение и употребление). М., 1971.
9. *Якобсон Р. О.* Шифтеры, глагольные категории и русский глагол.— В кн.: Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.
10. *Comrie B.* Aspect. An introduction to the study of verbal aspect and related problems. Cambridge, 1976.
11. *Бондарко А. В.* К определению вида бесприставочных глаголов движения в древнерусском языке (в сопоставлении с чешским).— В кн.: Славянская филология. Л., 1969, с. 46—49.
12. *Иванчев Св.* Контекстово обусловена ингресивна употреба на глаголите от несвършен вид в чешкия език. София, 1961.
13. *Бондарко А. В.* Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.
14. *Бондарко А. В.* К проблематике функционально-семантических категорий (Глагольный вид и «аспектуальность» в русском языке).— ВЯ, 1967, № 2.
15. *Бондарко А. В.* Грамматическая категория и контекст. Л., 1971.
16. *Гловинская М. Я.* Общефактическое значение несовершенного вида (формы прошедшего времени).— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1978. М., 1981.
17. *Кошмидер Э.* Очерк науки о видах польского глагола. Опыт синтеза.— В кн.: Вопросы глагольного вида. М., 1962.
18. *Бондарко А. В., Буланин Л. Л.* Русский глагол. Л., 1967, с. 62.
19. *Маслов Ю. С.* К основаниям сопоставительной аспектологии.— В кн.: Вопросы сопоставительной аспектологии. Л., 1978, с. 10—21.
20. *Сильницкий Г. Г.* Семантические типы ситуаций и семантические классы глаголов.— В кн.: Проблемы структурной лингвистики. 1972. М., 1973.
21. Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970, с. 56—59.
22. *Якушин Б. В., Ярославцева Е. И.* Критерий близости текстов по содержанию (ситуативный критерий).— ИАН СЛЯ, 1980, № 6.
23. *Адмони В. Г.* Основы теории грамматики. М.— Л., 1964, с. 40—47.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1983

ШУСТЕР-ШЕВЦ Г.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ ИЗ ПРАСЛАВЯНСКОГО И ОСОБЕННОСТИ СЕРБОЛУЖИЦКОГО ЯЗЫКОВОГО РАЗВИТИЯ

Возникновение отдельных славянских языков из праславянской языковой общности всегда было центральной и вместе с тем актуальной проблемой славянского языкознания [1]. Она теснейшим образом связана с определением славянского языка-основы и его историей, т. е. с изучением собственно праславянского языка, которое в последние десятилетия продвинулось вперед [4]. При этом все большее признание находит точка зрения, согласно которой праславянский язык, по крайней мере в поздний период своего развития, уже не представлял собой прочного единства. Внутренняя дифференциация праславянского языка все возрастала и в конце концов, усилившись в результате великого переселения славянских племен на запад, юго-запад, восток и северо-восток Европы в период после V—VI вв. н. э., привела к его окончательному распаду [2]. Таким образом, развившиеся позднее славянские языки [3] отделяются от собственно праславянского относительно продолжительным периодом времени в пять-шесть веков. Этого оказалось достаточно для того, чтобы в рамках позднепраславянского языка проявились значительные диалектные различия. Речь идет в первую очередь о начавшемся постепенном развитии фонологических изменений, результаты которых сказались лишь в последний период существования праславянского языка или даже в начальный период развития отдельных славянских языков. Соответствующие диалектные различия существовали также и в области морфологии и лексики, но им до сих пор уделялось меньше внимания [4].

Трудной проблемой является хронологическая оценка инноваций в праславянском языке позднего периода. Многие исследователи относят их к сравнительно позднему времени, главным образом к периоду, последовавшему за распадом праславянской языковой общности [8]. Однако не подлежит никакому сомнению (и в пользу этого говорит также опыт диалектологических полевых исследований), что языковые изменения в целом совершаются очень медленно, в течение длительного времени. Так, при анализе изменения $*g \geqslant h$ неоправданно обращать внимание лишь на сам результат развития, т. е. на конкретный фарингальный h, и не отмечать также более ранние переходные фазы: начало ослабления затворной артикуляции ($g \geqslant g^h$) и последующее образование спиранта (γ). Подобным образом обстоит дело и с процессами деназализации $*\varrho \geqslant u$ и упрощения групп согласных $-dl/tl- \geqslant -l-$. В первом случае предвари-

[1] Ср. в особенности [1—3, 31].

[2] Опираясь на Т. Лер-Сплавинского [5] и Ф. П. Филина [3, с. 11], мы считаем, что собственно праславянский язык просуществовал до III в. н. э. Затем последовал период позднепраславянского языка и начало ранней эпохи существования отдельных славянских языков (IV—V вв.— X—XI вв.). В это время завершается общеславянское фонетическое развитие и формируются соответствующие позднепраславянские инновации.

[3] Первые записи на отдельном славянском языке в настоящее время можно датировать IX в. (сделаны они на церковнославянском).

[4] К вопросу о лексической дифференциации праславянского языка ср. в особенности [6, 7].

тельным этапом является повышение артикуляции носового, т. е. *ǫ > ų, во втором — изменение слогораздела, т. е. *d'l, t'l > dl, tl* [9, 10].

Невнимание к сложности и многослойности языковых (в данном случае фонологических) изменений отражается и на методологии исследования. Поскольку не признается исходное единство диалектных процессов, в них видят или более позднее параллельное развитие, или, как в случае *g > h*, устанавливается даже факт вторичного влияния других языков (здесь речь идет о влиянии чешского языка на верхнелужицкий) [11, с. 46; 12].

Переселение больших групп праславянского этноса сопровождалось быстрым распадом еще относительно стабильного праславянского диалектного комплекса. В результате передвижения носителей языка в новые районы первоначальные изоглоссы, сложившиеся еще в позднепраславянском языке, могли в более позднее время не всегда совпадать со старыми ареалами. Это приводило к различным диалектным смешениям и наслоениям. Так, на современной славянской языковой территории результат одного и того же диалектного развития, начало которого относится еще к позднепраславянской эпохе, часто встречается в разных местах. При этом, конечно, не исключается, что в отдельных славянских языках, со своими очень близкими в структурном отношении системами, могли возникнуть также совершенно самостоятельные параллельные, генетически друг с другом не связанные процессы. Все это свидетельствует о том, что развитие славянских языков из праславянской общности не было единым и прямолинейным процессом. Следует учитывать противоречивые, частично пересекающиеся процессы, которые могли привести к смешению старых и новых языковых явлений.

Как известно, западнославянские языки характеризуются рядом диалектных особенностей, которые, при сравнении с соответствующими явлениями в других славянских языках, можно считать праславянскими фонетическими архаизмами. К ним относятся сохранение консонантных групп *-dl-/-tl-* в середине и конце слова, а также отсутствие палатализации велярных взрывных *g* и *k* в сочетаниях **gv́-*, *kv́-* перед гласными переднего ряда *ě* и *i* (< и.-е. **oi*, **ai*). Исключение в развитии групп *-dl-/-tl-* представляет нижнелужицкий язык: в западной части его распространения (как и в среднесловацком) часто наблюдается упрощение типа *-dl->-l*, например, *buliś < bydliś* «жить», *jězdźiło < jězdźidło* «лодочная пристань на Шпреевальде», *kałub < kadłub*, «колода», *kśiło, < kśidło* «рыло», *rało < radło* «плуг, соха», название урочища *seliśćo < sedliśćo*, *wiły < widły* «вилы», *žrěło < žrědło* «источник» и т. д. [5]. Для группы *-tl-* соответствующие примеры отсутствуют, но следует принять во внимание зап.-луж. диал. *powrjaskło* «перевясло» [13, карта 45] наряду с общим н.-луж. *powrjasło < *poverstlo*, см. в.-луж. *powrjestło* с тем же значением. Нижнелужицкий литературный язык демонстрирует в середине и конце слова только *-dl/-tl*, но в центральных и восточных диалектах в начале слова часто выступает *gl-/kl-* [*głujki < dłujki* «длинный», *gla < dla* предлог «для, из-за», *zamgleć < zamdleć* «ослабеть» (перевод Нового завета Якубицы 1548 г.), *kłusty < tłusty* «толстый», *kłocyś < tłocyś* «давить» и т. д.] [15]. Нельзя упускать из виду и своего рода параллели подобному развитию в северо-западнорусских диалектах [6]. Характерному для этих диалектов цоканью в нижнелужицком соответствует замена *c* для **č* (ср.: *cysty* «чистый», *cas* «время», *cart* «черт» и т. д.). Что касается праслав. **gv́-/*kv́-* в начале слова, то серболужицкий остается здесь в русле общезападнославянского развития (ср. в.-луж. *kćěć < *kvьtěti* «цвести», *květka* «цветок», н.-луж. *kwisć* «цвести», в.-луж. *hwězda*, н.-луж. *gwězda* «звезда»). Исключением является лишь в.-луж. *čwěla*, диал. *čwila* «мучение, мука», в вост.-н.-луж. памятнике Якубицы находим *cwil* ж. р. с этим же значением и *cwiliś* наряду с *kwiliś* «мучить» [16], но благодаря ономато-

---

[5] К вопросу о распространении этого явления в нижнелужицком языке см. [13, 14].
[6] Соответствующую литературу см. в [3, с. 256—267, 272—278].

поэтическому характеру этот пример лишь условно можно привлекать в качестве доказательства. В связи с этим интересно, что группа *kv́ в неизмененном виде достоверно отмечается в восточнославянских языках (прежде всего в украинском, но также и в центральных русских диалектах).

Как и рассмотренные выше два диалектных явления позднепраславянского языка, развивалось и сочетание лабиальный + *l'* эпентетикум, возникшее благодаря смягчающему воздействию *j* (русск. *земля*, серб.-хорв. *zemlja*), причем болгаро-македонский (за исключением тех др.-болг. диалектов, на основе которых возник др.-церковнославянский) вместе с западнославянскими языками демонстрирует только *m* + *j*. Исключения наблюдаются в отдельных западнославянских языках (ср. каш.-словинск. *grable* «грабли», *konoplěna*, *k^u^onopl*, *k^uó^nopla* «конопля», великопольск. диал. *grobla*, др.-польск. *grobia*, н.-луж. *grobla*, зап.-луж. диал. *groba* ⩽ *grobja*, в.-луж. *hrjebja* «ров, канава», словац. диал. *hrable*)[7].

Сходное направление изоглосс обнаруживается и в следующих явлениях: 1) стяжение *-*ojǫ* ⩾ *ǫ* в твор. ед. ж. р. *a*-основ (др.-ц.-слав. *rǫkojo*, русск. *рукóй/рукóю*, польск. *ręką*, в.-луж., н.-луж. *z ruku*)[8]; 2) различные результаты 2-й палатализации **ch* + *ě* (вост.-южн-слав. *s'*, зап.-слав. *š*) и 3) стабилизация ударения на первом слоге в развившихся позднее западнославянских языках [18]. Исключение снова образует поморско-кашубская группа, где вплоть до исторического периода сохранилось первоначальное состояние или остатки его (свободное или подвижное ударение)[9].

Менее отчетливо группировка праславянских диалектов отражена в развитии праславянских сочетаний **dj*, **tj*. Единые результаты характеризуют только восточнославянские (*ž* ⩽ *dž*, *č*) и западнославянские языки (*dz*, *z* ⩽ *dz*, *c*), в южнославянских результаты были различными (болг. *žd*, *št*, макед. *ǵ*, *k'*, серб.-хорв. *dź*, *ć*, словен. *j*, *č*), но очень близкими восточнославянскому (если исходить из предположения метатезы *dž*, *tš* ⩾ *žd*, *št*)[10].

Этим диалектным различиям, как бы представляющим деление праславянского языка по вертикали, соответствуют изофоны позднепраславянского периода, которые делят праславянский язык по горизонтали [2, с. 96]. Это прежде всего различные результаты метатезы в сочетаниях **orT*, **olT*: *roT*, *loT* (при первоначальной циркумфлексной интонации), *raT*, *laT* (при первоначальной акутовой интонации) в тех праславянских диалектах, из которых позднее развились восточно- и западнославянские языки, при соответственно *raT*, *laT* (без различий в интонации) в развившихся позднее южнославянских языках; образование корреляции по твердости—мягкости в северо-западнославянских языках (в восточных и западнославянских языках), но не в южнославянских. Однако и здесь в обеих группах языков снова можно наблюдать интересные отклонения. Укажем на многочисленные исключения с *ro-* вместо ожидаемого *ra-* в среднеболгарском и современных родопских диалектах [22; 23, с. 39—40] и наряду с этим формы с *ra-* не только в словацком, но и в соседних моравских диалектах собственно чешского языка [23, с. 40]. В этой связи примечательно чешское название Эльбы — *Laba* (в.-луж. *Łobjo*, н.-луж. *Łobje* ⩽ *Albis*), где также отражено **olt*. Подобные исключения существуют и в области корреляции по твердости — мягкости, ср. наблюдаемую в болгарском языке палатализацию согласных перед *'a* ⩽ **ě*, **ē* (*бряг*, *мляко*, *орях*) и перед *-*j* (*земя*), в диалектах также и перед дру-

---

[7] Ср. в [17] также слово *grob*, но без указания рода.

[8] На этом фоне обращают на себя внимание серболужицкие нестяженные окончания в ед. ч. прилагательных ж.р. типа *dobreje* (род. п.), *z dobrej(u)* (твор. п.), которые, несомненно, представляют собой славянские архаизмы: ср. польск. *dobrej*, *dobrą*, чешск. *dobré*, *dobrou*, но русск. *новой*, *хорошей*, укр. *доброю*, *синьою*.

[9] О состоянии дискуссии по этому вопросу см. [19, 20].

[10] В пользу развития болгарских групп *št*, *žd* из праслав. *č*, *dž* высказался недавно И. Гылыбов [21]. Правда, он несколько иначе объясняет особое развитие в болгарском языке, а именно совпадением ареала *č*, *žd* с областью распространения серб.-хорв. *ć*.

гими передними гласными и в конце слова [11]. Напротив, более поздние процессы депалатализации в украинском, чешско-словацком, в верхне- и нижнелужицком языках (здесь только *c', *s', *z' ⩾ c, s, z) едва ли следует отделять от собственно южнославянского процесса депалатализации.

Описанные диалектные позднепраславянские процессы относятся к первым четким проявлениям дифференциации праславянского языка. Они дают возможность говорить о диалектном членении праславянской области этого периода на два больших ареала (юго-восточный — северо-западный или южный — северный) и предполагать существование еще относительно замкнутого и территориально ограниченного района расселения [12].

Однако различные отклонения, отмеченные в отдельных славянских языках, свидетельствуют о том, что праславянские диалекты — предшественники этих языков, вероятно, имели несколько иное окружение, чем то, о котором известно в более позднее историческое время. Можно предположить, что пра- или протолужицкий первоначально занимал территорию ближе к центру или юго-востоку праславянской области, а точнее — вблизи тех праславянских диалектов, для которых характерны изменения *dl* ⩾ *l* и более сильная тенденция к депалатализации первоначально мягких согласных. Связь, существовавшая между позднепраславянскими диалектами — предшественниками серболужицкого языка — и центральной или юго-восточной частью праславянского языка, подтверждается, по нашему мнению, падежным окончанием **-отъ*, свойственным современным верхне- и нижнелужицкому (в.-луж., н.-луж. *z wjelkom*, *ze synom*), а также личным окончанием 1-го л. мн. ч. *-mo*; последнее сохранилось здесь в виде остатков и обычно отмечается в украинском и сербскохорватском [13].

Центральное или юго-восточное положение праславянских диалектов — предшественников серболужицкого языка — сохранялось, очевидно, еще в то время, когда начал распространяться ряд новых позднепраславянских инноваций: 1) подъем артикуляции носового *ǫ*, т. е. * *ǫ* ⩾ *ц*; 2) понижение артикуляции **ę* ⩾ *ą̈*; 3) сужение **ě* ⩾ *i*$^{e}_{\frown}$; 4) образование фрикативного *g* ⩾ *γ* [14]; 5) тенденция к лабиализации в связи

---

[11] Ср. [2, с. 90]. В этой связи следует обратить внимание еще и на наличие префикса **vy-* в древнеболгарских памятниках письменности и в болгарских диалектах.

[12] Соответственное графическое изображение данного пучка изоглосс представлено на обзорной карте А. Фурдала [2], где учтены инновации праславянского языка позднего периода.

[13] В верхнелужицком языке *-mo* сохранилось как вторичное окончание дв. ч.: *smój* «мы оба существуем», *dźěłamoj* «мы оба работаем». Оно заменило праслав. *-vě* (в.-луж. *-wi*, *-wje*), которое в единичных случаях засвидетельствовано в древнем верхнелужицком [25, с. 506]. Тот же процесс происходил и в нижнелужицком, но здесь в дв.ч. появляется *-me* (а не *-mo*) — *smej źěławej*. Присоединение *-j* (ср. также в.-луж. *dwaj* «два») служит для различения дв. ч. и мн. ч. Следовательно, надо предположить, что в древнелужицком во мн. ч. конкурировало между собой несколько окончаний (в.-луж. *-mo* и *-my*; н.-луж. *-me* и *-my*). Позднее (благодаря вытеснению *-mo* или *-me* из мн. ч. в дв. ч.) эта конкуренция была устранена. Несостоятельным оказывается предположение, согласно которому в.-луж. окончания дв. ч. указывают на первоначальные диалектные формы с лабиализованным *y* после лабиальных. Оно опровергается тем, что *-moj*/*-mój* выступают уже в древних текстах, в которых еще не отмечено изменение лабиального + *y* ⩾ *ó*/*o* (ср. [26]), а также тем, что форма с *-o-* известна в нижнелужицком языке более раннего периода (Гауптман). Для вост.-н.-луж. первоначальное мн. ч. *-me* засвидетельствовано еще в переводе Нового завета Якубицы (1548 г.). В пользу вторичного происхождения окончания *-moj* из *-my* высказались Ф. Михалк [27, с. 470 и сл.] и Р. Летч [28].

[14] Неоднократно высказывалась точка зрения, согласно которой изменение *g* ⩾ *γ* в западнославянских языках не могло произойти раньше XII или XIII вв., так как др.-луж., и др.-чеш. того времени указывают на первоначальное *g* (ср. в.-луж. *Göda* — *Hodzij*, 1006 castellum Godobi). Но при этом не учитывается, что в ранних записях речь идет об особенностях латинской или немецкой передачи славянского звука. Ни латинский, ни (древне-, средне-) верхненемецкий не имели в своей фонологической системе фонематического соответствия позднепраславянскому *γ*. Поэтому при его передаче автоматически использовался наиболее близкий ему звонкий *g*. То же наблюдается и при передаче начального слав. *ch-*. В топонимах, представленных в немецкой или латинской передаче, он обозначается только с помощью *k* (= *c*) [ср. многочислен-

с развитием *ъ ⩾ ъ°; 6) сокращение первоначально долгих гласных под древней акутовой интонацией; 7) формирование первой ступени ассибиляции *ŕ ⩾ ř (r^s) и 8) передвижение билабиального *u̯ в лабиодентальный ряд (v) [15].

И эти инновации должны были возникнуть в период, предшествовавший окончательному распаду праславянской языковой общности. Но по своему распространению они уже четко отличаются от рассмотренных выше диалектных процессов, что, по моему мнению, непосредственно свидетельствует об усилившейся теперь дифференциации праславянского языка. Возникшие таким образом в позднепраславянский период диалектные зоны [16] являются своего рода переходной ступенью между более древними вертикальными и горизонтальными членениями праславянского языка, с одной стороны, и формирующимися впоследствии диалектными ареалами отдельных языков, с другой. Так, инновации 1, 2, 3 (см. выше) касаются тех позднепраславянских диалектов, из которых (помимо серболужицкого) развились прежде всего восточнославянские, чешско-словацкий, а если учитывать и *ě, то и сербскохорватский; образование фрикативного *g ⩾ γ имеет отношение к диалектам — предшественникам юго-восточных славянских диалектов, чешского, словацкого и частично словенского. Подобное же направление изофон обнаруживается в связи с процессами лабиализации редуцированного гласного, сохранением старых долгот под акутом (в.-луж., чешск., вост.-слав.?), с билабиальной артикуляцией u̯ (серб.-луж., укр., словац., словен.) и отсутствием процесса сибилянтизации *ŕ (вост.-слав., ю.-слав., словац., серб.-луж.) [17]. О том, что в древности могла существовать связь пралужицкого с праукраинским, свидетельствуют, по моему мнению, в.-луж.— укр. соответствия в области заместительной долготы гласного (ср. в.-луж. *nós*, *-osa*, укр. *nis*, *-osa* ⩽ *nōsъ ⩽ *nōsŭ; в.-луж. *wóz*, *-oza*, укр. *viz*, *-oza* ⩽ ⩽ *vōzъ ⩽ vōzŭ; в.-луж. *pěc*, *-'ecy*, укр. *pič*, *-ečy* ⩽ *pēktjь ⩽ *pēktjĭ; в.-луж. *měd*, *-'edu*, укр. *mid*, *-edu* ⩽ *mēdъ ⩽ medŭ и т. д.). В обоих языках заместительное удлинение возможно во всех позициях независимо от характера следующего согласного (в отличие от польского языка, где оно выступает в основном перед звонкими согласными) [23, с. 53].

В процессе дальнейшей дифференциации позднепраславянского совершалось постепенное выделение праславянских диалектов. Об этом прежде всего свидетельствует славянская метатеза плавных, результаты которой указывают на более тесную связь серболужицкого языка с протопольским (общее развитие праслав. сочетаний *TorT*, *TolT* ⩾ ⩾ *TroT*, *TloT*; *TelT*, *TerT* ⩾ *TleT*, *TreT*) [18], а также умлаут, идентичный с лехитским *ъr(ŕ) + T ⩾ *ъr (r̥) (в.-луж. *porst* ⩽ *pъrstъ ⩽ *pъrsiъ) и *ъl(l̥) + T ⩾ *ъl (l̥) (в.-луж. *połny*, н.-луж. *połny*, *pałny* ⩽ *pъlnъ ⩽

ные названия, имеющие в своем составе *kollm*: *Schwarzkollm* (1411 *Collmen*), р-н Хойерсверда, *Collm* (1222 *Chulme*, 1284 *Kolmen*, *Colmen*), р-н Халле]. Однако никто не сомневается в существовании фонемы *ch* в древнелужицком.

[15] В настоящее время билабиальная артикуляция, кроме серболужицкого, где она выступает во всех позициях, известна также в украинском, среднесловацком и словенском языках.

[16] См. об этом в [9].

[17] Ср.: в.-луж. *rjad*, н.-луж. *rěd* «ряд», в.-луж., н.-луж. *morjo* «море», в.-луж. *popjer*, н.-луж. *pepjeŕ* «перец», *wjerba* «верба».

[18] К вопросу об отличии между серболужицким и польским языками в развитии группы *TelT* после č, š, ž (в.-луж. *čłońk*, *žłob*) см., в частности, [12, с. 360]. В связи с метатезой плавных было высказано сомнение в том, что этот процесс не мог иметь места ранее VII—VIII вв., так как в областях более позднего западнославянского заселения засвидетельствованы еще именные формы без метатезы в группах *TorT*/*TolT* и *TerT*/ /*TelT*, см. [23; 29]; ср. также др.-луж. имя *Dervanus* dux gente Surbiorum (631/632). Но и в этом случае следовало бы принять во внимание более древние предшествующие или промежуточные этапы. Сошлемся на различные результаты воздействия шва: польск.-луж. *TorT ⩾ *TorəT ⩾ *TorT (⩾ TroT), *TolT ⩾ *ToləT ⩾ *TolT (⩾ TloT), *TerT ⩾ *TerəT ⩾ *TerT (⩾ TreT), *TelT ⩾ *TeləT ⩾ *TelT (⩾ TleT), но ю.-слав. и чешск.-словац.: *TorəT, *ToləT, *TorəT, *ToləT ⩾ *TōrT, *TōlT, *TērT, *TēlT (⩾ TraT, TlaT, TrěT, TlěT), вост.-слав. *TorəT, *ToləT, *TerəT, *TeləT (⩾ Toro T, ToloT, TereT, TeleT), полаб., поморск. и в бывших славянских топонимах Греции: *TorT, *TolT ⩾ *TorəT, *ToləT ⩾ *TōrT, *TōlT (⩾ TarT, TalT).

$\leqslant$ *pьlnъ); образование исходной фазы ассибиляции *d', *t' $\geqslant$ в.-луж. dź, ć (dzěd, ćeta), н.-луж. ź(dź), ś(ć) (źěd), śota «дед, тетя») и ŕ (после k, p, t) — в.-луж. ř (š) (křiwy «кривой», při «при», tři «три»), н.-луж. ś (kśiwy, pśi, tśi) [19], а также повышение артикуляции праслав. долгих гласных: от ē, ō соответственно к ě̇ $\geqslant$ ě, ō $\geqslant$ ó (в.-луж. měd, н.-луж. žrědło, в.-луж. hród, brózda, н.-луж. диал. brůzda). Но часто упоминаемый в этой связи умлаут *'e $\geqslant$ 'o [20] не тождествен в обоих диалектных комплексах: в польском языке этот процесс последовательно осуществляется только перед твердыми зубными согласными, в серболужицком — также и перед другими непалатальными согласными и в конце слова. Кроме того, есть многочисленные примеры, и прежде всего в верхнелужицком, когда умлаут *'e $\geqslant$ 'o отсутствует (в.-луж. ćeta «тетя», wčera «вчера» и т. д.). Этот факт доказывает, что в серболужицком (особенно в верхнелужицком) данный процесс обусловлен скорее всего не депалатализирующим влиянием последующего согласного (как в польском языке), а более сильной тенденцией к лабиализации, которая предполагается в основе звука e (подобно тому, как это имеет место в восточнославянском) [2, с. 76].

Что же касается более точной хронологии серболужицко-польских соответствий, унаследованных из позднепраславянского языка, то они могли появиться только тогда, когда уже произошло расщепление праслав. фонемы *ě на два варианта — с широкой артикуляцией (типа 'ä) и с узкой артикуляцией (типа i^{e}). Различные результаты этого процесса в серболужицком и польском языках свидетельствуют об отсутствии какого-либо тесного контакта между обоими праславянскими диалектными комплексами как до начала, так и во время процесса. В этот период развития позднепраславянского языка прапольский (пралехитский) находился, вероятно, в более тесном контакте с праславянскими предшественниками будущего восточноболгарского, для которого также следует предположить широкую артикуляцию праслав. *ě [21]. Напротив, прасерболужицкий располагался в то время еще вблизи юго-восточной или центральной праславянской диалектной зоны. Вывод следует из анализа развития *ǫ $\geqslant$ ą и *g $\geqslant$ γ: такое развитие известно только в серболужицком и отсутствует в польском. Параллельно данному отделению прасерболужицкого и прапольского происходит процесс вычленения из праславянского языка более позднего восточнославянского (ToroT, ToloT, TereT, TeleT) и южнославянского [последний пока еще находился в единстве с предшественниками чешского и словацкого (TraT, TlaT, Trēt, Tlēt)]. Возможно, что к этому времени относится и ослабление вокального элемента в сочетаниях с плавными *TъrT, *TьrT, *TъlT, *TьlT и, как следствие — возникновение чистых слоговых плавных в южнославянском и частично также в чешско-словацком (r̥, ŕ̥, l̥, ĺ̥).

В восточнославянском же и в серболужицко-лехитской области происходит усиление вокального элемента, так что позднее здесь развились самостоятельные гласные (в соответствии с результатами вокализации *r̥/*l̥) [36].

Из предшествующих рассуждений становится ясным, что праславянские диалекты, из которых позднее развился серболужицкий язык (верхне- и нижнелужицкий), уже в позднепраславянском языке пережили очень сложный процесс дифференциации и кристаллизации. В ходе его они сначала соприкасались с предшественниками южно-восточнославянского, к которому в то время в известной степени относились также прото-

[19] К вопросу об ассибиляции t', d' в славянских языках см. также [30].

[20] Ср. [31; 32, с. 17—19]. Штибер ссылается на переходный (польско-полабский) характер нижнелужицкого процесса, при этом чем дальше на восток, тем ярче проявляются польские черты (депалатализация 'e $\geqslant$ 'o преимущественно перед переднеязычными согласными).

[21] Ср. [23, с. 31]. Различие между польско-полабским и восточноболгарским заключается лишь в разной дистрибуции умлаута ě $\geqslant$ 'a: в восточноболгарском он имел место, главным образом, в ударном слоге и перед твердыми согласными; в польско-полабском — только перед твердыми переднеязычными согласными. О болгарском см. [33]. Особое положение болгарского языка в южнославянском отмечалось уже неоднократно; см. [34, 35].

чешский и протословацкий, а только позднее возникли контакты с прапольским.

Едва ли можно говорить об особой западнославянской диалектной группе (как, впрочем, и южнославянской) как промежуточном звене между праславянским и более поздними собственно западнославянскими языками. То же самое касается и идеи о лехитско-серболужицком языковом единстве. Ее в разное время выдвигали Розвадовский, Ташицкий, Штибер, Налепа [22]. Следует признать существование лишь трех диалектных комплексов, связанных некоторыми общими, более древними праславянскими изоглоссами. Каждый из этих комплексов пережил относительно самостоятельный процесс кристаллизации и при этом соприкасался также с различными позднепраславянскими диалектными ареалами. Речь идет о следующих диалектных комплексах: 1) проточешском и протословацком, связанных в древности с южной диалектной зоной позднепраславянского языка (позднее сербохорватский и словенский), 2) пралехитском (польско-поморском), связанном с теми позднепраславянскими диалектами, из которых развился болгарский язык и частично также словенский и сербохорватский (ранее сокращение древних долгот под акутовой интонацией в польском языке, лабиализация $*TelT \geqslant TolT$, веляризация $*TьlT \geqslant TъlT$ и смешение обоих редуцированных в полабском); 3) серболужицком, присоединяющемся в древности к центральным и юго-восточным частям позднепраславянского языка (предшественникам украинского, чешского и словацкого), а позднее также связанном и с южнолехитским (польским).

Дальнейшее формирование отдельных западнославянских языков происходило после завершения Великого переселения народов в новые исторические районы. Это — особая проблема, которая в данной статье затрагивается только в связи с судьбой серболужицкого языка [23].

Однако прежде чем мы обратимся к этому специальному комплексу вопросов, необходимо кратко остановиться на некоторых археологических и исторических данных, которые более подробно освещают вопрос о возникновении западнославянских групп племен. Особое значение имеют при этом новейшие достижения в области археологии, с помощью которых удалось доказать, что в рассматриваемый нами период времени существовали более тесные связи между доисторическими культурами на разных территориях: между Эльбой и Заале, с одной стороны, и богемской котловиной, связанной с юго-восточной Европой, с другой. Речь идет, прежде всего, о доказательстве продвижения керамики пражского типа вдоль Эльбы на север в район Заале и среднего течения Эльбы [40—42]. Очевидно, здесь впервые археологам удалось зафиксировать следы миграционного потока древнелужицких племен из юго-восточной Европы [24]. В очень актуальной и в наше время работе Э. Муки [44] лужицкий лингвист смог показать, что древнелужицкие диалекты, характеризующиеся позднепраславянскими инновациями $*ǫ \geqslant ų \geqslant u$, $*ę \geqslant ä \begin{smallmatrix} \mapsto {}'a \\ \mapsto {}'e \end{smallmatrix}$, $*TorT$, $*TolT \geqslant TroT$, $TłoT$ и $*TьlT$, $*TъrT \geqslant TolT$, $TorT$, в средние века были распространены на территории, которая на востоке простиралась до течения рек Бобер (польск. Bóbr), Квейс (польск. Kwisa) и Одер (польск. Odra), на севере — до окрестностей Берлина (Кёпеник, Потсдам), а на западе выходила за пределы р. Заале. Славянские племена, поселившиеся на этой территории в VI—VII вв., стали известны под общим этническим названием *Sorbe* (лат. *Surb*, *Surp*, *Sorb*, *Sorab*) или *Serb* (в.-луж., н.-луж. *Serb*, в хронике Козьмы Пражского XII в.: *Zribia*) [25].

---

[22] Литературу по этому вопросу см., в частности, в [36, с. 85—88; 37, с. 136, 145].

[23] Ср., кроме уже указанных статей [24, 31, 32], также и [38, 39].

[24] При этом мы исходим из того, что ближе к истине находятся те исследователи, которые локализуют прародину славян в районе между Карпатами и Днепром (на севере она, вероятно, достигала южной части современной Польши); ср. [3, с. 11; 43 и др.].

[25] Формы с гласным *-u-/-o-* распространены только на западе др.-луж. языковой области и засвидетельствованы с VII в. («dux ex gente Surbiorum»); форма с гласным *-e-* появляется лишь в собственно Лужице и употребляется как этническое самоназвание лужицких сербов; в письменных источниках оно отмечается с 1548 г.

Оно возникло в праславянском языке и по происхождению идентично названию балканских сербов.

Если справедливо предположение о юго-восточном происхождении лужицких племен, то можно допустить, что древнелужицкие племена в течение, вероятно, недлительного времени населяли также богемскую котловину (они пришли сюда до собственно чешских племен или вместе с ними). В таком случае следующий фрагмент из известного трактата византийского императора Константина Багрянородного «De administrando imperio» (945—949) надо рассматривать, вероятно, как указание на промежуточную остановку древнелужицких племен в богемской котловине: «Необходимо знать, что сербы (имеются в виду балканские сербы.— *Ш.-Ш.Г.*) происходят от некрещеных (сербов), называемых также белыми. Они селятся за землей турок (имеются в виду венгры.— *Ш.-Ш. Г.*), в стране, которую они сами называют Боики, таким образом, они граничат как с франками, так и с некрещеными велико- или белохорватами. Именно там с самого начала жили также те сербы, которые с давних пор были некрещеными» [26]. Упоминание о соседстве франков и Великой Хорватии позволяет предположить, что «некрещеные сербы», т. е. древний более крупный комплекс племен, к которому первоначально должны были относиться как северные, так и южные сербы, располагались в богемском бассейне. В раннем средневековье действительно упоминалось древнечешское племя хорватов, жившее в этом районе и родственное сербам [47]. В таком случае название *Боики* (Βοικι), упоминаемое Багрянородным, было бы неточной передачей древнего дославянского названия земли *Bohemia* (*Boemia*, *Boichemum*). Однако другие исследователи хотели бы видеть здесь название племени *бойков*, т. е. тех западноукраинских групп населения, которые с XV в. населяли районы восточных Карпат [48, 49]. Окончательно решить этот вопрос трудно. Но, по-видимому, общая праславянская этническая группа сербов/сорбов (как и хорватов) распалась очень рано — еще перед вступлением на территорию богемского бассейна или непосредственного после него [27]. В пользу этого предположения говорят такие веские лингвистические аргументы, как отличия в развитии праславянских групп **TorT*, **TerT*, **TolT*, **TelT* и **TъlT*, **TьlT*, **TъrT*, **TьrT*.

Доказательством предполагаемой промежуточной стоянки древнелужицких племен в богемском бассейне можно считать и достоверные данные из области древнелужицкой топонимии южных предгорий лужицкого и северо-богемского горных массивов [28].

Далее следует указать на появление в северо-восточных чешских диалектах билабиального *ц* (что уже раньше связывалось с влиянием серболужицкого), а также некоторых других черт, напоминающих серболужицкие [52, 53]. Маловероятно, чтобы часть серболужицкого населения проникла в эту местность в более позднее время из собственно серболужицких районов поселений, расположенных к северу от труднодоступных горных цепей. Серболужицкий этнос в этой северобогемской области лишь позднее был ассимилирован пришедшими сюда чешскими племенами, а а затем подвергся германизации [29].

К числу первых достоверных сведений о сербах, населявших район к северу от горной цепи, относится известное сообщение франкского хрониста Фредегара 631—632 гг.: «Dervanus dux gente Surbiorum, que ex genere Sclavinorum erant et ad regnum Francorum iam olem aspecserant, se ad regnum Samonem cum suis tradidit» («Дерванус, вождь серболужицких племен, славянских по происхождению и издавна находя-

[26] Последнее критическое издание см. [45]; см. также [46, с. 142].

[27] В этой связи интерес представляют и исторически доказанные факты, свидетельствующие о пребывании хорватов и, вероятно, также и сербов в бассейне Вислы.

[28] Соответствующую мысль высказал уже Э. Эйхлер в [50]; ср. также [51].

[29] Указание на наличие серболужицкого элемента в этническом составе населения северной Богемии содержится в Прологе к чешской легенде о Людмиле. Согласно ей, св. Людмила была лужицкого происхождения: она являлась дочерью Славибора, комиса крепости Пшов в северной Богемии. Отсюда делается вывод, что племя пшован первоначально относилось к сербам. О литературе см. в [54, 55].

щихся под господством франков, покорился со своими подданными государю Само») [46, с. 145].

Это сообщение свидетельствует о том, что древнелужицкие племена, переселившиеся с юга, должны были войти в область между Эльбой и Заале не позднее, чем около 600 г. Первоначальный диалектный тип, носителями которого были эти племена, теперь уже трудно реконструировать, так как в средние века он был ассимилирован немецким языком. Ограниченное значение имеют, однако, и толкования многочисленных дошедших до нас древнелужицких топонимов и микротопонимов [56, 57]. Их фонетический облик в основном соответствует тому диалектному типу, который распространен в Лужице. При этом, как отмечал еще Э. Мука, уже на древнелужицкой языковой территории более или менее четко выделяются две части — южное и северное крыло.

Для южной части характерна (наряду с названными выше фонетическими процессами *ǫ ⩾ *u*, *ę ⩾ *ą̈*, **TorT* ⩾ *TroT* и т. д.) более сильная концентрация топонимов патронимического типа на *-*ici* [58] и отсутствие *w*(*u̯*)- призвука перед *o*- и *u*- [59, с. 91]. Топонимы типа *Wolkow*, *Wolkenitz*, *Liebertwolkwitz* (⩽**vьlkъ* «волк»), *Worbsk*, *Wurbiske* (⩽ **vьrba* «верба») и, вероятно, также формы имени *Sorbe* (*Surb*, *Sorb*) [30], засвидетельствованные в области к западу от Эльбы, являются доказательством того, что здесь, как и в полабском, первоначальные сочетания **TьlT* ⩾ **TъlT* (⩾*TolT*) и **TьrT* ⩾ **TъrT* (⩾ *TorT*) подверглись изменению (лабиализации). В серболужицком языке, распространенном к востоку от Эльбы, известно только *wjelk* и *wjerba* [ср. топонимы *Wjelkow* — *Welka* (р-н Бауцен) и *Wjerbno* — *Werben* (р-н Коттбус)].

Кроме того, топонимические исследования подтверждают, что в западной области существуют особые типы топонимов, которые на востоке [31] или вообще неизвестны или существование которых невозможно с уверенностью доказать.

Решающим для выяснения языкового родства серболужицкого языка остается, естественно, лингвистический анализ обоих серболужицких языков (в Верхней и Нижней Лужицах), засвидетельствованных в памятниках, начиная с XVI в. Материал по диалектологии и истории языка [32], который в полном объеме стал известен лишь в последние десятилетия, позволил внести в ряде случаев интересные уточнения и поправки в существовавшие до сих пор знания в этой области. При этом прежде всего заслуживает внимания следующий факт: серболужицкая языковая область как целое не только разделяется на собственно верхне- и нижнелужицкую благодаря хорошо известным из прежней литературы горизонтальным пучкам изоглосс [32, 2], но и пронизана многими древними изоглоссами по вертикали в юго-северо-западном направлениях. Для этих вертикальных изоглосс характерна ступенчатая структура, причем с востока можно наблюдать наращивание восточнолехитских (польских) диалектных черт, а с севера — западнолехитских (полабских). Этот лингвогеографический феномен наводит на предположение, что миграционная волна собственно древнелужицких племен, распространявшаяся с запада, натолкнулась здесь на встречную волну или на уже существовавший лехитский субстрат, продвинувшийся с севера, востока или юго-востока, и при этом частично с ним смешалась. Особенно ясно это видно на территории Нижней Лужицы, где четко проявляются лехитские (польские и полабские) влияния [37, с. 143—145]. Мы даже были бы готовы утверждать, что специфика нижнелужицкого языка, его истори-

---

[30] Ср. [60] со следующими двумя топонимами, где отражена депалатализация **TъrT* > **TorT*: *Mortitz* (1260) ⩽ * *mьrt* «мертвый» и *Purtin* (973), *Portin* (1121) ⩽ ⩽ **pьrt*- (ср. чешск. *prt* «охотничья тропа»). Для названия *Sorb* можно было бы на основе лехитской формы *Sarb* (ср. польск. топоним *Sarbiewo*) установить и первоначальную форму **Sъrbъ* (с редуцированным гласным заднего ряда). Следует также обратить внимание на появление формы *Sorb* в древнем сербскохорватском [ср. название древнебоснийского епископства *Sorbulia*/*Serbulia* (1022)] и на форму *Surbia* (с *u*) «Сербия» в хронике сербского попа Дуклянина.

[31] См. [61, 62], а также критику этих работ в [63].

[32] См. прежде всего [64, 65].

чески возникшая языковая система, являются результатом именно этого первоначального серболужицко-лехитского диалектного смешения. Таким образом, современные исторически засвидетельствованные верхне- и нижнелужицкие языки являлись бы в прямом смысле лишь бывшей восточной или северо-восточной периферией основной древнелужицкой области периода средневековья. Только так можно убедительно объяснить противоречия и непоследовательности в развитии нижнелужицких диалектов, которые часто приводили к различиям в интерпретациях. Такое фонетическое явление, как подъем артикуляции *ǫ ⩾ ц̣, ⩾ u, мы рассматриваем как собственно инновацию позднепраславянского периода, которая продвинулась очень далеко на север и восток [33]. Изофоны же, указывающие на процессы *ę ⩾ 'ą̈ $\begin{smallmatrix}\mapsto 'a\\ \mapsto 'e\end{smallmatrix}$ и *g ⩾ γ, достигли лишь теперешней границы между верхне- и нижнелужицким языками. К северу от нее одержала верх, как и в центральном лехитском, узкая артикуляция *ę (ę́), подобная i^{e} (ср. н.-луж. *měso* ⩽ *mę́so* «мясо») [11, с. 27—28], и взрывной *g* (ср. н.-луж. *gora* «гора»). То же самое касается и депалатализации праслав. *š́ и *ž́ в н.-луж. *š*, *z* (н.-луж. *žyto* «жито, рожь», *šyja* «шея», но в.-луж. *žito*, *šija*) и первоначально непалатального характера *ch (н.-луж. *chylaś se* «склоняться, нагибаться», *duchy* и. мн. «духи», но в.-луж. *chileć so*, *duchi*). Однако такие диалектные формы, как *mjesac* ⩽ ⩽ *měsęcь* (Вольфенбюттельская псалтырь XVI в.), *rjap* ⩽ *rępъ* «позвоночный столб» и причастия на -'*acy* ⩽ *ętjь, отмеченные на крайнем западе территории распространения нижнелужицкого языка [13, с. 99—100, карты 32, 35—37], свидетельствуют о том, что процесс вокализации *ę ⩾ ą̈ $\begin{smallmatrix}\mapsto 'a\\ \mapsto 'e\end{smallmatrix}$ первоначально пересек здесь границу между собственно верхне- и нижнелужицким и распространился в северо-западном направлении [34]. Следующие факты указывают на явное западно- или восточно-лехитское (полабско-польское) влияние: 1) различная вокализация *ъ в *a*, прежде всего на западе собственно нижнелужицкого языка, и в *e* — в центре и в восточно-нижнелужицком (ср. *baz* : *bez* ⩾ *bъzъ «сирень», *packa*: *pecka* ⩽ *pъtj-ьka «фруктовая косточка», *papjer*: *pepjer* ⩽ *pъpьrь, р. ед. *pъpьŕa «перец» ⩽ *pьpьrь и т. д.); 2) изменение *TъlT а) после дентальных в *TłuT* в собственно нижнелужицком (*dług* «долг», *dłujki* «длинный», *tłusty* «толстый») или в *TołT* на западе или северо-западе теперь уже ассимилированных районов Нижней Лужицы (топоним *Dollgen*, р-н Люббен, *Dolgen*, р-н Либенверда, *Dolgenbrod*, р-н Люббен и название водоема *Dolgensee*), б) после лабиальных — в *TołT* (*połkaś* ⩽ *pъlkati «стирать, полоскать», *połny* ⩽ *pъlnъ ⩽ *pьlnъ, *wołma* ⩽ *vъlna ⩽ ⩽ *vьlna «волна) на юго-западе собственно нижнелужицкого или в *TałT* в центре и на северо-западе (*pałkaś*, *pałny*, *wałma/wałna*) и в *TelT* на востоке (*pelkaś*, *pelkać*, *pelny*, *welna*), в) после велярных — в *TjałT* (⩽ *T'älT*)/ *Talt* (н.-луж. диал. *kjałbas* ⩽ *k'älbas ⩽ *kъlbas «колбаса», более древнее н.-луж. *kałp* ⩽ *kъlpь «лебедь» и 3) изменение *Tьrt в *TärT* $\begin{smallmatrix}\mapsto TerT\\ \mapsto TarT\end{smallmatrix}$ (н.-луж. *tergaś*, зап. *targaś* ⩽ *tъrgati «рвать», *zerno* ⩽ *zъrno ⩽ *zьrno «зерно», *sarna* ⩽ *sъrna ⩽ *sьrna «косуля»).

Вокализация *TьrT ⩾ *TъrT ⩾ *TorT в случае н.-луж. *stworty* ⩽ ⩽ *čьtvьrtъ «четвертый» и *stwortk* ⩽ *čьtvьrtъkъ «четверг» (в.-луж. *štwórty*, *štwórtk*) охватывает весь собственно нижнелужицкий язык. Лехитский тип *cwarty/štwarty* (ср. польск. *czwarty*, *czwartek*) свойствен лишь бывшим вост.-луж. диалектам, вымершему губинскому, а также мужаковскому диалекту (Якубица, 1548; Мегизер, 1603; рукопись из Аттерваш, 1610); в этой связи достоин внимания тот факт, что н.-луж. топонимы с корнем *TъrT в не-

[33] Ср. также [66 и др.].

[34] Деназализация *ę ⩾ 'ą̈ (⩾'*a*) имеет место также в двух н.-луж. литературных формах (центральный коттбусский диалект): *jacmjen* «ячмень» и *laźmjo* «почка», «бедро». Таким образом, мы отказываемся от своей прежней точки зрения, согласно которой '*a* в этих словах возникло благодаря н.-луж. умлауту '*e* + *K* ⩾ '*a*.

мецкой передаче имеют, как правило, *-or-*, а в н.-луж. выступают с *-ar-*, ср. такие примеры, как *Skjabošć — Schorbus*, р-н Коттбус (1346/1495: *Schorbis*, 1350 *Scorbus*) ⩽ **skъrbь-* (ср. русск. *скорбь*), *Žarnow — Sorno*, р-н Финстервальде (1346/1495: *Sornow*) ⩽ **Žьrnovъ* (**žьrno* «жернов»), *Storkow*, районный центр на севере Нижней Лужицы (1209 *Sturkuowe*, 1336 *Storgkow*) ⩽ **Stъrkovъ* (ср. в.-луж. *storkać*, н.-луж. *starkaś* «толкать»), *Tornow — Tarnow*, р-н Калау (1346/1495: *Tornaw*) ⩽ **Tъrnovъ* (**Tъrnъ* «колючка, тёрн»), *Tornitz — Tarnojask*, р-н Калау (1438: *Tornuwicz*, 1524 *Tornitz*) ⩽ **Tъrn(v)ici*, *Zschorno — Carna*, р-н Шпремберг ⩽ **Čьrna* (**čьrnъ* «черный»). Последовательная замена праслав. группы **TъrT* группой *TorT* в немецких топонимах позволяет сделать вывод о более древней юго-восточной диалектной основе позднепраславянского происхождения (в.-луж. диалектный тип). Лишь позднее на ней образовался нижнелужицко-лехитский слой.

Западнолехитское (полабское) влияние обнаруживается в нижнелужицком языке в связи с процессом вокализации **ь* (широкое произношение типа $ь^{ä}$) в *'e('ä)* + непалатальный консонант *-'a* (н.-луж. *lan* ⩽ *l'än* ⩽ ⩽ $lь^{ä}nъ$ «лён», *pjas* ⩽ *p'äs* ⩽ **$pь^{ä}sъ$* «собака», *wjas* ⩽ *w'äs* ⩽ **$vь^{ä}sъ$* «деревня» и т. п.).

Другими примерами схождения в этой области древнелужицких и лехитских диалектных особенностей являются следующие:

1) Широкая артикуляция праслав. **ě*, которая устанавливается для нижнелужицкого языка в отличие от верхнелужицкого. Она обнаруживается в таких примерах, как н.-луж. *cełу* ⩽ **cělъ* «целый», *seno* ⩽ **sěno* «сено», *mjasec* ⩽ *mesěc* ⩽ **měsęcь* «месяц», диал. *mjałki* ⩽ *mélki* ⩽ ⩽ **mělkъkъ* «плоский, мелкий», *klaška* ⩽ *kleščka* ⩽ **klěščьka* «деревянная игла для плетения сетей» и т. д. В собственно верхнелужицком, а также в западных нижнелужицких диалектах в позиции после *c*, *s*, *z* употребляется исключительно *y* (*cyły*, *syno*, *zyba*). Поэтому здесь, как и в верхнелужицком, следует сделать вывод о более узком характере артикуляции рефлекса **ě* [59, с. 39]. ** ě с широкой артикуляцией типа 'e находился в основе приведенных выше форм с умлаутом *'e + K* ⩾ *'a* (*mjasec*, *mjałki*, *klaška*). В этой связи следует также обратить внимание на современный н.-луж. диал. *'e* в таких случаях, как *mer* «мир», *gledas* «глядеть», *gnezdo* «гнездо», *leto* «год» и т. д. [67].

2) Для собственно нижнелужицкого языка характерен более слабый характер билабиального **v*, чем в верхнелужицком [35]. На это указывает ассимиляция *chv* ⩾ *j*, спорадически встречающаяся в нижнелужицком (ср. н.-луж. *sujałosć* ⩽ *suchwałosć* «тщеславие, щегольство, суетность», *jojca* ⩽ *chvojca* «сосна», диал. *jila* ⩽ *chvila* «некоторое время», *jołuj* ⩽ ⩽ *chuołuj* ⩽ *choluj* «плуг» [69].

3) Аффриката *dz(ʒ)* ⩽ **dj*, подтверждаемая древними источниками, ср. у Якубицы (1548): *mosydz* (*mossica* р. ед.) ⩽ **mosędjь* «латунь», *rycydz* (*riczitz* и. ед., *ricziza* р. ед.) ⩽ **rętedjь* «цепь»; Вольфенбюттельская псалтырь XV в.: *mosadz* (*mossatz*) ⩽ **mosędjь*, *rjeśadz* (*rëschatze* и. мн.) ⩽ ⩽ **retędjь*.

4) Побочное ударение на предпоследнем слоге, распространяющееся с востока на запад (*zakopo'wanje* «похороны, погребение», *smy choj'źili* «мы ходили», диал. *jězdźiło* «лодочная пристань на Шпреевальде», *so'byta* ⩽ ⩽ **sobóta* «суббота», *topyŕišćo* ⩽ *topóriščo* «топорище» и т. д. [32, с. 2].

5) Сосуществование двух форм вопросительного местоимения «что»: *co* ⩽ *'čьso* (в центре и на востоке собственно нижнелужицкого) и *sto* ⩽ ⩽ **čьto*, более древнего, распространенного в западных диалектах (калавский и бывший люббенский) [36]. Местоимение *što* встречается в верхнелужицком, как и в восточно- и южнославянских языках, в в.-луж. после предлогов также *čo* (*na čo*) ⩽ **čьso*.

---

[35] О лабиодентальной артикуляции н.-луж. *v* ср. [68, с. 27; 13, с. 31].

[36] Ср. также [70]; о распространении с.-луж. форм. *što/sto* см. [71, т. 2, с. 532; 14, карта 57].

6) Сосуществование в нижнелужицком местоименных основ *teb-/tob-* (*z tebu* : *z tobu*, тв. ед., как в в.-луж. *z tobu* наряду с *tebje* р. ед., *tebi* д. ед., *wo tebi* м. ед.).

7) Окончание т. ед. м.р., ср. р. *-em* (⩽*-ъmь) (в бывшем вост.-н.-луж. диалекте Якубицы) наряду с обычным н.-луж. *-om* (⩽*-omь); в д. мн. всех родов также противопоставлены *-om* (Якубица) и *-am* (собственно н.-луж.).

8) Возможно противопоставление падежных окончаний прилагательных и местоимений типа н.-луж. литер. *-ogo/-ego* наряду с диал. и более древним *-og/-eg* (*tog*, *jog*, *dobreg*, *stareg*) в соответствии с н.-луж. литер. *togo*, *dobrego* и более древним в.-луж. *toh*, *dobroh*.

Подобное тесное взаимодействие лехитских и собственно серболужицких элементов можно наблюдать и в области лексики. При этом распространение изолекс, в основе которых лежат лексемы, четко связанные с югом и юго-востоком славянской языковой территории, опять-таки ограничено в основном верхнелужицким и западной периферией собственно нижнелужицкого языка. Изолексы же, связанные с лехитской (польской) диалектной территорией, распространены только в вост.-нижнелужицком. Ср. такие примеры, как н.-луж. диал. (зап.) *huśe* (**ǫtę*), *huśica* (**ǫtica*) «утка» наряду с обычным н.-луж. *kacka*, в.-луж. *kačka* (ср. русск. *утка*, укр. *утиця*, серб.-хорв. *utva*); н.-луж. диал. (зап.), в.-луж. *zerja* «утренняя заря», в.-луж. *zernička* «утренняя звезда» наряду с собственно н.-луж. *zorja* (ср. укр. *зорниця*, *зірниця* наряду с диал. *зерниця*); н.-луж. диал. (зап.) *nyrkaś se* «нырять, погружаться» наряду с собственно н.-луж. *nurkaś se* (ср. польск. *nurzyć*, *norzyć się* наряду с русск. *нырять*, укр. *ниркати*), н.-луж., в.-луж. *derje* (более древнее *debrje*) наречие «хорошо» наряду с вост.-н.-луж. *dobrje* (ср. польск. *dobrze*, но др.-ц.-слав. *debrěje*); н.-луж. *źurja*, в.-луж. *durje*, «дверь» наряду с вост.-н.-луж. *drwi*, *dwěrja* (ср. польск. *drzwi*, но словен. *duri*); собственно н.-луж. *dłymoki* «глубокий», у Якубицы *dłyboki*, в.-луж. более древнее *hłyboki*, диал. *łóboki* ⩽ *hlyboki* ⩽ ⩽ **glybokъ* (ср. польск. *głęboki*, но серб.-хорв. *duboki*, болг. *dъlbok*, укр. *глибокий*); собственно н.-луж. *strowy* «здоровый» наряду с вост.-н.-луж. *zdrowy* (Якубица, 1548) (ср. польск. *zdrowy*, но др.-русск. *сторовъ*); н.-луж. *jaskolica*, *jaskolicka* наряду с в.-луж. *łastojca*, *łastojčka* «ласточка» (ср. польск. *jaskółka*, но русск. *ласточка*, серб.-хорв. *lȁstovica*); н.-луж. *jaduš* «прерывистое тяжелое дыхание», наряду с укр. *ядуха* с тем же значением; н.-луж. *mil*, *wodna mil* «стрелолист», Sagittaria sagittifolia L.»; частуха или водяной поддорожник, Alisma plantago aquatica L.» наряду с белорусск. диал. *міліца* «камыш», тростник, Scirpus L.; «камышовая трость», н.-луж. *špjeńc* «осколок стекла, заноза, шифер, колючка, жало» наряду с укр. диал. *спінь* «острый конец шпинделя» и др.

Лехитское влияние особенно ясно выражено в вост.-н.-луж. (т. е. в бывших диалектах к востоку от Нейсы), ср.: 1) сохранение праслав. консонантной группы *-str-*: *sostra* «сестра», *wostry* «острый», *struga* «ручей, рукав реки» (также в слепянском и мужаковском диалектах) наряду с собственно н.-луж. *sotša*, *tšuga*, *wotšy*, в.-луж. *sotra*, *wótry*; 2) умлауты **ě* + + *T* ⩾ *'a* и **ę* + *T* ⩾ *'ǫ* ⩾ *u* ⩾ *'ą* ⩾ *'u* [*dźad* ⩽ **dědъ* «супруг», муж», *klatka* ⩽ *klětъka* «клетка», *gwjazdka* ⩽ **gvězdъka* «рождественский сочельник», *pjask* ⩽ **pěsъkъ* «песок», *susad* ⩽ **sǫsědъ* «сосед», топоним *Podźałki* (⩽**podělъ*-ky), *lato* ⩽ **lěto* «год»; *mjuso* ⩽ **męso* «мясо», *custo* ⩽ **čęsto* «часто» и т. д.]; 3) вокализация **TъrT* ⩾ *TarT* (*gardy* ⩽ **gъrdъ* «гордый», *skaržyć* ⩽ **skъrziti* «жаловаться»).

Взаимодействие вост.-н.-луж. и зап.-польск. диалектов было, возможно здесь и позднее, т. е. до германизации этой вост.-н-.-луж. области в XVI—XVII вв. В отдельных случаях с.-луж. влияние на зап.-польск. диалекты сказывалось также в обратном направлении, т. е. и за пределами распространения изофоны **ǫ* ⩾ *ą* ⩾ *u* — крайний восточной границы собственно с.-луж. Так, например, на крайнем западе собственно польской языковой области (Хвалим, Крамско, Подмокла) встречаются такие черты, общие с серболужицким, как р. ед. указательного местоимения *tyg* ⩽ *teg*, отсутствие лабиализации у *a* ⩽ **ā* (*trawa*, *pan*) в проти-

воположность обычному польск. диал. *trâwa*, *pân*, личное окончание 1-го л. мн. чл. *-me* на месте обычного польск. *-my* [72] и лексический сорабизм *wacka* «червь» (ср. н.-луж. *waka*, *wacka*). Заслуживает внимания и тот факт, что польских жителей названных населенных пунктов их немецкие соседи называли вендами, т. е. так же, как и собственно лужицкое население Лужицы [73].

Восточно-западная изоглоссная ступень, отчетливо выделяющаяся на нижнелужицкой языковой территории, на территории распространения верхнелужицкого языка проявляется менее четко. Вероятно, на бывшей земле мильчан (Milčani) собственно серб.-луж. диал. тип с самого начала проявился сильнее и поэтому здесь, в отличие от области древних лужичан (Lužici, Lužičani) лехитское влияние было слабым. Самыми важными из проходящих здесь серб.-луж. изоглосс являются следующие:

1) Употребление падежных форм местоимений и прилагательных на *-oho*, *-omu* (католический вариант в.-луж. литературного языка, зап.-в.-луж. диалекты) наряду с формами на *-eho*, *-emu* (протестантский вариант в.-луж. литературного языка, вост.-в.-луж. диалекты) [37]. Собственно н.-луж. язык имеет *-ogo*, *-omu* (окончания местоимений) наряду с *-ego*, *-emu* (окончания прилагательных); в вост.-н.-луж., как и в польском,— *-ego*, *-emu* (ср. русск., укр. *ого*, *-ому*, чешск. *-oho*, *-omu*, *-eho*, *-emu*, но польск. только *-ego*, *-emu*).

2) Первоначальное окончание мн. ч. *-mo*, перенесенное в в.-луж. в дв. ч.: (ср. *smój* ⩽ **jьs-mo* + *j* «мы оба существуем»; *wěrimoj* ⩽ **věri-mo-j* «мы оба верим») наряду с обычным окончанием мн. ч. *-my* (*smy*, *wěrimy*), ср. польск. *-my*, но укр., серб.-хорв. *-mo*. Окончание дв. ч. *-moj*, характерное для в.-луж. языка, могло употребляться у личных местоимений также и в зап.-н.-луж. люббенском диалекте (ср. *moj/mej* «мы оба» в [75]).

3) Употребление глагольных форм на *-li* при согласовании с формами мн. ч. существительных любого рода (*mužojo/žony/dźěći su spěwali* «мужчины, женщины, дети пели») на западе и севере в.-луж. языковой территории, в то время как в центральной и восточной части (бауценский, лёбауский диалекты) наблюдается противопоставление личных и неличных форм м. р. на *-li* и *-łe*. И в этом случае зап.-в.-луж. диалект соответствует собственно нижнелужицкому [76].

4) Сильная тенденция к лабиализации *'e* (⩽ **e*, **ь*, **ę*), которую можно наблюдать в западной и центральной части верхнелужицкого, ср. *jo* ⩽ ⩽ *jest* в 3-м л. ед. ч., *johła* ⩽ **jegla* «игла», *daloko* ⩽ **daleko* «далеко», *zbožo* ⩽ **sъbožьje* «счастье», *spěwanjo* ⩽ **sъpěvanьje* «пение», *so* ⩽ **sę* «себя», *přeco* ⩽ **perd-sę* «всегда», *zaso* ⩽ **za-sę* «снова», *dźo* ⩽ **jьdetъ* 3-е л. ед. ч., (*w*) *čora* «вчера», ⩽ **včera*, *zwérjo* ⩽ **zvěrę* «животное, зверь», *brjóh* ⩽ **bergъ* «берег», *wrjós*, ~ *'osa* ⩽ **vers* «вереск», *žona* ⩽ **zena* «женщина» и т. д. наряду с вост. *je*, *jehła*, *zbože*, *spěwanje*, *se* (Варихий, 1597, А. Френцель, 1730), *přecy*, *zasy*, *dźe*, *wčera*, *brěh*, *-eha*, *brěs*, *-'esa*, *žena* (Варихий, 1597). Подобное развитие свойственно также собственно нижнелужицкому, но с особой дистрибуцией звука *'o* (⩽ *'e*). Как и в польском, он последовательно выступает здесь перед твердым зубным согласным (ср. н.-луж. *śota* «тетя», *šćodry* «щедрый», *cora* «вчера», *srjoda* «среда», *warjony* «вареный» [38], но в.-луж. *ćeta*, *šćedry*, *wčera*, *srjeda*, *warjeny*).

В ряде случаев процесс изменения *'e* ⩾ *'o* охватывает также и праслав. **ě*: в.-луж., н.-луж. *dźowka/žowka* ⩽ **děvъka* «служанка», в.-луж. *susod* ⩽

---

[37] Ср. [25, с. 422—426]. Основой католического варианта в.-луж. литературного языка являются зап. в.-луж. диалекты, протестантского варианта в.-луж. литературного языка — вост. бауценский или горный диалект. В современном бауценском диалекте употребляется преимущественно стяженная форма р.п. на *-o* (*dobro*), но в отдельных случаях также еще встречается *-eho*, в д.п.— почти исключительно *-emu* (*dobremu*), ср. в частности, [74].

[38] Исключение представляет лишь западная периферия нижнелужицкого, где изменение *'e* ⩾ *'o* осуществляется менее последовательно, ср. в бывшем люббенском диалекте *med* [71, т. 1, с. 893] и в ветошовском диалекте: *ćepy* и мн. ч. «черепки, обломки», *crêwo* «кишка», *srjeda* «среда», *dupeny* пассивное причастие «крещеный» (ср. [13, с. 90—91]).

**sǫsěd* «сосед», в.-луж. *sowjerje* мн. ч. «марево» ⩽ *sěverь*, в.-луж. *pukloł* ⩽ ⩽ **poklět* «скворечник», «лачуга», в.-луж. *přilopk* ⩽ **pri-lěpъkъ* «выдвижной ящик (стола)», в.-луж., н.-луж. диал. *chlow* ⩽ **chlěvъ* «хлев», собственное имя *Swótlik* ⩽ *Swětlik*, в.-луж. *swětlo* «свет» и т. д.[39].

5) Вероятно, тенденция к лабиализации праслав. **y* после губных консонантов; первоначально это имеет место только на западе верхнелужицкого (как и на крайнем западе собственно нижнелужицкого), ср.: в.-луж. *móć* ⩽ *myć* «мыть», диал. *wósoki* ⩽ *wysoki* «высокий», н.-луж. литер. *wusoki* (*husoki*) ⩽ *wysoki*, зап. диал. *buliš* ⩽ *bydliś* «жить», *dłumoki* ⩽ ⩽ *dlymoki* «глубокий» [2, с. 83—84].

6) В некоторых случаях можно отметить отклонения в процессе вокализации праслав. **ę*, т. е., как и в собственно н.-луж. **ę* ⩾ *ě*(*y*): *zyba* ⩽ ⩽ **zęba* «зяблик», *wozybać*/*wozabać* ⩽ **o-zębati* «мерзнуть» (ср. польск. *oziębiać sie* «охлаждаться, остывать»); *knjez* «господин» ⩽ **kъnędzь*, *pjenjez* ⩽ ⩽ **penędzь* «деньги», у Варихия также *swěty* ⩽ **svętъ* «святой» [40]; топоним *Welećin* — *Wilten*, р-н Бауцен (1222 *Welintin*). Ср. в зап.-н.-луж. обратное развитие **ę* ⩾ *'a* (*mjesac*, *rjap*).

7) Праслав. глагольный суффикс **-nǫ* выступает как *-ny-* ⩽ **-nū-* (в.-луж. *hasnyć* «гасить», *padnyć* «падать», *zběhnyć* **zdvignyti* «поднимать»), ср. словенск. *kreníti* «управлять, направлять», *obrníti* «поворачивать», *dvígniti* «поднимать», полабск. *våtåknět*/*våtåknǫti* «втыкать, всовывать», польск. диал. (силезск.) *kj'itnyć*/*kj'itnuć* «цвести». Суффикс *-ny-* первоначально был известен только зап.-в.-луж. диалектам, на востоке и в собственно н.-луж. выступает *-nu-* ⩽ **-nǫ-* [78].

Из лексических изоглосс следует назвать следующие: в.-луж. зап. *plować* ⩽ *plěwać* (⩽ **pl'uvati*) «плавать, плыть» [41], в собственно н.-луж. также *plěś*, *plěwaś*, более древнее *pluwaś* (⩽ **pl'uti*, *-vati*) [42], ср. с вост.-в.-луж. *płuwać* ⩽ *pływać* (ср. польск. *pływać* ⩽ **plyvati*), в.-луж. наречие *bóle* «больше» (ср. русск. *более*), в н.-луж. оно неизвестно: есть только синоним *wěcej*; в.-луж. *hrjebja* «ров, канава, запруда» (ср. укр. гребля «дерево, плотина»; серб.-хорв. *gréblja* «ямка в земле»), но н.-луж. *grobla* (польск. *grobla*) с тем же значением; устар. в.-луж. *běbr* «бобр» (ср. др.-русск. *бебръ*, словен. *bebr*), но н.-луж. *bobr* (польск. *bóbr*); в.-луж. *wow*(*k*)*a* «бабушка» (укр. более древнее *вова* детск. «все страшное; бука») ⩽ **ovā* (лат. *avia*, гот. *ovā*) наряду с н.-луж. диал. *baba*, *stara mama* «то же», в.-луж. *kuzło*/**kózło* (*kózłować*) «колдовство, чары» (чешск. *kouzlo* с тем же значением, русск. *кузлó* «кузнечная работа») наряду с н.-луж. *gusliś* «колдовать» (ср. польск. *gusły* «колдовать»); в.-луж. *słónco* (⩽ **solnьce*) «солнце» наряду с н.-луж. *słyńco*, диал. и более древнее *słuńco* (⩽ **sьlnьce*), (ср. польск. *słońco*, чешск. *slunce*, русск., укр. *солнце*); в.-луж. *boran* наряду с н.-луж. *baran* (ср. др.-русск. *боран*, польск. *baran*); в.-луж. *porst* «палец» (ср. чешск. *prst*), но н.-луж. *palc*; в.-луж. *jakny* «крепкий, сильный» (ср. серб.-хорв. *jâk*, словен. *jâk* «сильный»), в.-луж. *wuheń*, н.-луж. *wugeń* «кузнечный горн», «дымовая труба» наряду со словен. диал. *vígenj* «кузнечный горн, кузница» (**vygnь*); в.-луж. *zelić* (⩽ *zolić*) «громко проклинать» наряду со словен. диал. *zoliti* «кричать, шуметь», в.-луж. *trać*, н.-луж. *traś* «продолжаться» наряду с серб.-хорв., словен. *trajati* с тем же значением и др.

При анализе серболужицких языковых черт юго-восточного происхождения следует учитывать также и морфологические особенности. Необходимо было бы обратить внимание на такие факты, как: 1) синкретизм падежных окончаний дв. ч. [*-ma*(*j*)] в д., тв., м. (*žonomaj*, *mužomaj*); 2) отсутствие морфологической категории личности в нижнелужицком и в сев.-зап. диалектах верхнелужицкого: особенно структура в. мн., равного

[39] О параллельном характере развития *'e* ⩾ *'o* в серб.-хорв. и вост.-слав. см. [2, с. 76].

[40] Ср. [77, с. 31]: «праслав. *ę* у Варихия отражено различными звуками — от открытого *a* до закрытого *e*».

[41] Форма *płować* (с *-ł-*), приведенная в в.-луж. словарях Пфуля, Резака, Краля и Якубаша, не отражает действительного произношения ее в диалектах и свидетельствует о влиянии в.-луж. *pluwać*.

[42] Об изолексе *płuwać*/*plěwaś*/*plować* см. также [27, с. 170].

и. мн. или р. мн. ср. такие случаи, как н.-луж. *wiźim susedy*, *mam pśijaśele*, но в.-луж. *widźu susodow*, *mam přećelow* [43] [78] и 3) может быть, также отсутствие особой формы зв. п. в нижнелужицком. Но однозначное решение в этом, как и в указанных выше примерах, принять трудно, так как следует учесть и возможность более поздних типологических соответствий.

Лингвогеографические связи, сложившиеся при описанном выше серболужицко-лехитском языковом взаимодействии, неоднородны по характеру. Так, первоначальная оппозиция суффиксального элемента *-'ew-* (после мягких основ) и *-ow-* (после твердых) в собственно нижнелужицком (ср. *kowaleju*, *konjeju* — *cłowjekoju*, *synoju*) указывает на существование древних диалектных связей нижнелужицкого с великопольским; а суффиксальный элемент *-ow*, который в верхнелужицком и вост.-н.-луж. слепянском диалекте выступает также и после мягких основ, свидетельствует о связях верхнелужицкого и слепянского диалекта с малопольско-силезской диалектной территорией [79]. Следует сослаться и на стяженные основы притяжательных местоимений типа *meho*, *sweho*, *tweho*; они известны в др.-в.-луж. языке и имеют параллели только на юге польской территории и в чешском языке. О связях с кашубским и древним северо-польским говорит характерное для нижнелужицкого выравнивание парадигмы существительных на *-ьсь (н.-луж. *końc*, в.-луж. *końc* «конец»), *-ъкъ, *ькь (в.-луж., н.-луж. *domk* «домик»), и -*ьsъ (н.-луж., в.-луж. *wows* «овес»). В верхнелужицком здесь обнаруживается ряд исключений (*statok* «местожительство, небольшое владение», *swjatok* «конец рабочего дня», *holčec* «мальчик», древнее *wóćec* «отец» (в библейском смысле), теперь только *wótc* с тем же значением.

В результате представленного здесь столкновения двух различных позднепраславянских потоков миграции в последующие века получили развитие две основные серболужицкие диалектные области: к северу от Лужицкой голи (в районе исторической Нижней Лужицы) — собственно нижнелужицкая (первоначально диалект древних лужичан) и на юг от нее собственно верхнелужицкая (первоначально диалект мильчан). При этом, как уже отмечалось, наибольшим изменениям серболужицкий диалектный тип (центр. или юго-вост. праслав. происхождения) подвергся в нижнелужицком, где лехитский (польско-поморский) элемент мог наверняка одержать верх благодаря сильному притоку славянского населения в этот район с севера, востока или с юго-востока.

Предпринятая в данной статье попытка более точного стратиграфического анализа праславянского языка, основанного на дифференцированной (в том числе и в области хронологии) оценке отдельных позднепраславянских диалектных явлений, как нам кажется, позволяет точнее, чем до сих пор, охарактеризовать сложный языковой процесс вычленения западнославянских языков (в данном случае особое внимание уделено серболужицкому) и одновременно лучше соотнести его с результатами археологических исследований и изучения истории древних поселений [80] [44]. Последние указывают на связи древнелужицких племен с юго-восточной территорией славянской прародины.

В то же время оказывается, что ни в коем случае нельзя ограничивать «собственно древнелужицкую языковую область» районом между «Заале и Мульде (вероятно, также и средним течением Эльбы)» и что нельзя лишь на этой территории искать «первоначальную область средневекового заселения лужицких сербов» [42, с. 243]. Четкие диалектные связи этой области, прежде всего с исторически засвидетельствованным в.-луж. диалектным типом, ясно доказывают их общее позднепраславянское происхождение. Только на севере и востоке, благодаря проникающим туда лехитским языковым элементам, стало возможным более сильное языковое смешение с первоначальным древнелужицким диалектным типом. В этом смысле в дальнейшем можно с полным основанием говорить о более или

[43] По этому вопросу см. в особенности [76].

[44] Поэтому излишним является наш скепсис в отношении переселения др.-луж. племен в юго-вост. направлении.

менее единой древнелужицкой языковой области между Заале и Нейсе, которая образовалась в раннем средневековье в результате переселения славянских племен под общим этническим названием *Sorb/Serb* [45]. Поразному высказываемые предположения о том, что этническое название *Serb* (мн. ч. в.-луж. *Serbja*, н.-луж. *Serby*), прочно закрепившееся среди серболужицкого населения Лужицы, было перенесено сюда лишь позднее из западной («собственной») древнелужицкой области [80]; не имеет ни лингвистических, ни исторических доказательств.

Наконец, широкий исторический и сравнительный анализ показывает, что процесс формирования современных западнославянских языков был более сложен и не носил столь монолитного характера, как это принято считать в традиционном славянском языкознании. Последнее все еще односторонне опирается на теорию родословного древа и недооценивает тот факт, что уже в праславянском языке имели место значительные процессы дифференциации, которые оказались исключительно важными для родственных связей возникших позднее отдельных славянских языков.

Перевела с немецкого *Ермакова М. И.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *van Wijk N.* Les langues slaves. De l'unité à la pluralité? Mouton — Gravenhage, 1956.
2. *Furdal A.* Rozpad języka prasłowiańskiego w świetle rozwoju głosowego. Wrocław, 1961.
3. *Филин Ф. П.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972, с. 11.
4. *Mareš F. V.* Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj do konca období slovanské jazykové jednoty.— Slavia, 1956, XXV, s. 443—495.
5. *Lehr-Spławiński T.* Szkic dziejów języka prasłowiańskiego.— Studia z filologii polskiej a słowiańskiej. III. Warszawa, 1958, s. 243—265.
6. *Трубачев О. Н.* О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи).— В кн.: Славянское языкознание. V Международный съезд славистов (София, сентябрь 1963). Доклады советской делегации. М., 1963.
7. *Трубачев О. Н.* О составе праславянского словаря (Проблемы и результаты).— В кн.: Славянское языкознание. VI Международный съезд славистов (Прага, август 1968). Доклады советской делегации. М., 1968.
8. *Lamprecht A.* Praslovanština a její chronologické členění.— In: Československé přednášky pro VIII. mezinárodní sjezd slavistů. Záhřeb, 1978, c. 141—160.
9. *Lehr-Spławiński T.* O dialektach prasłowiańskich.— In: Sborník prací I sjezdu slovanských filologů v Praze. 1929. Praha, 1932, c. 557—585.
10. *Trubetzkoy N. S.* Die Behandlung der Lautverbindungen *tl*, *dl* in den slavischen Sprachen.— ZfslPh, 1925, II, S. 117—122.
11. *Stieber Z.* Zarys dialektologii języków zachodniosłowiańskich z wyborem tekstów gwarowych. Warszawa, 1956.
12. *Petr J.* K postavení lužické srbštiny mezi západoslovanskými jazyky.— Slavia, 1976, XLV, s. 359.
13. *Fasske H.* Die Vetschauer Mundart. Bautzen, 1964.
14. Sorbischer Sprachatlas. Bd. 5. Bautzen, 1976, Karte 8, 117.
15. *Schuster-Šewc H.* Noch einmal zur Behandlung der Liquidaverbindungen *tl*, *dl* in den slawischen Sprachen.— Slavia, 1964, XXIII, 3, s. 365—368.
16. *Schuster-Šewc H.* Historische-etymologisches Wörterbuch der Ober- und niedersorbischen Sprache. Bd. 1. Hf 3. Bautzen, 1978, S. 130.
17. Sorbischer Sprachatlas. Bd. 4. Bautzen, 1972, Karte 69.
18. *Lehr-Spławiński T.* De la stabilisation de l'accent dans les langues slaves de l'ouest.— RES, 1923, III, p. 173—192.
19. *Lehr-Spławiński T.* Z rozważań o powstaniu akcentuacji połabskiej.— Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. IV. Warszawa, 1963, c. 73—102.
20. *Romportl M.* Zur Akzentstabilisierung in den westslawischen Sprachen.— ZfSl, 1958, III.
21. *Galabov I.* Ausgliederungsprozesse des Späturslawischen und die südslawischen Sprachen.— Die urslawischen *tj*.— Verbindung und ihre weitere Entwicklung.— In: Wiener slawistisches Jahrbuch, 1975, Bd. 21.
22. *Мирчев К.* Историческа граматика на българския език. София, 1963, с. 138.
23. *Stieber Z.* Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich. Fonologia. Warszawa, 1969.
24. *Шустер-Шевц Г.* Место серболужицкого языка среди других славянских языков.— ВЯ, 1976, № 6.

[45] Ср. также [81, с. 155—177, особенно с. 164; 63, с. 203—222].

25. *Mucke E.* Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbischen (niederlausitzisch-wendischen) Sprache. Leipzig, 1891.
26. *Matthaeus G.* Wendische Grammatica. Budissin, 1721.
27. *Michalk S.* Der obersorbische Dialekt von Neustadt. Bautzen, 1962.
28. *Lötzsch K.* Die spezifische Neuerungen der sorbischen Dualflexion. Bautzen, 1965, S. 51—63.
29. *Kronsteiner O.* Ist die Einteilung der slawischen Sprachen in ein Ost-, West- und Südslawisch gerechtfertigt? — In: Osterreichischen Namenforschug. Zeitschrift der Osterreichischen Gesellschaft für Namenforschung. Wien, 1977, Hf. 2.
30. *Mareš F. V.* Interferenz der Weichheit und der Stimmbeteiligung im Slawischen.— In: Wiener slawistisches Jahrbuch., 1976, 22.
31. *Taszycki W.* Stanowisko języka łużyckiego.— In: Symbolae grammaticae in honorem J. Rozwadowski. II. Kraków, 1928.
32. *Stieber Z.* Stosunki pokrewiénstwa języków łużyckich. Kraków, 1934.
33. *Mladenov St.* Geschichte der bulgarischen Sprache. Berlin und Leipzig, 1929. = *Младенов Ст.* История на български език. София, 1979, с. 25—26.
34. *Бернштейн С. Б.* К изучению польско-югославянских языковых связей.— In: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 1965, 5, s. 33—36.
35. *Куркина Л. В.* Южные славяне и паннонская теория Копитара.— ВЯ, 1981, № 3, с. 92—93.
36. *Schuster-Sewc H.* Stosunek pokrewieństwa języków łużyckich i języka polskiego (Na tle ogólnosłowiańskim) — In: In memoriam Casimiri Nitsch. Księga w stulecie urodzin. Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk, 1975, s. 93—94, примеч. 8.
37. *Schuster-Sewc H.* Zur Stellung des Niedersorbischen im Rahmen des Westslawischen (die Entwicklung der ursl. reduzierten Vokale *ъ, *ь und der silbischen Verbindungen *ъr, *ьr, *ъl, *ьl).— In: Lětopis Instituta za serbski ludospyt, 1978, Rjad A, c. 25/2.
38. *Schuster-Sewc H.* Historia języków łużyckich i sprawa jej periodyzacji.— PF, 1977, XXVII, s. 389—399.
39. *Schuster-Sewc H.* K prašenju rěčneho přiwuznistwa mjez łužiskej serbšćinu a čěšćinu.— Slavia, 1981, № L.
40. *Coblenz W.* Archäologische Bemerkungen zur Herkunft der ältesten Slawen in Sachsen.— In: Arbeits- und Forschungsberichte zur städtischen Bodendenkmalspflege, 1964, Bd. 13.
41. Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich der Oder und Neisse vom 6.— 12. Jahrhundert. 3. Aufl. Berlin, 1974, S. 7—39.
42. *Brachmann H.* Slawische Stämme an Elbe und Saale, zu ihrer Geschichte und Kultur im 6. bis 10. Jahrhundert. Auf Grund archäologischer Quellen. Berlin, 1978 (Schriften zur Ur- und Frühgeschichte, № 32).
43. *Udolph J.* Zum Stand der Diskussion um die Urheimat der Slawen, Mit zwei Karten.— In: Beiträge zur Namenforschung, Neue Folge. Heidelberg, 1979, Bd. 14, Hf. 1.
44. *Mucke E.* Die Grenzen des sorbischen Sprachgebietes in alter Zeit.— AfslPh, 1904, XXVI, S. 543—549.
45. *Moravcsik Gy.* Constantino Porphyrogenitos De administrando imperio. Budapest, 1949.
46. Słownik starożytności słowiańskich, 1975, Bd. 5.
47. Słownik starożytności słowiańskich, 1961—1962, Bd. 1, s. 255.
48. Słownik starożytności słowiańskich, 1967—1968, Bd. 3, s. 155 (Łomkowie).
49. *Новаковић Р.* Одакле су Срби дошли на балканско полуострво. Београд, 1973, с. 30.
50. *Eichler E.* Sorbisch-tschechische Beziehungen in eingedeutschen Ortsnamen, Deutsch-Tschechische Beziehungen im Bereich der Sprache und Kultur. Berlin, 1965.
51. *Schwarz E.* Die einstige obersorbische-tschechische Grenzzone.— AfslPh, 1927, Bd. IXL, S. 37—42.
52. *Bělič J.* Některé hláskoslovné zhody česko-lužickosrbské.— In: Lětopis Instituta za serbski ludospyt,, 1976, Rjad A, c. 23/2, s. 161—170.
53. *Bělič J.* Nástin české dialektologie, Praha, 1972, s. 25.
54. Słownik starożytności słowiańskich. 1975, Bd. 5, s. 146.
55. *Preidel H.* Die Anfänge der slavischen besiedlung Böhmens und Mährens. Bd. II. München, 1957, S. 39—41.
56. *Eichler E.* Studien zur Frühgeschichte slawischer Mundarten zwischen Saale und Neisse. Berlin, 1965.
57. *Eichler E., Walther H.* Die Ortsnamen im Gau Daleminze. Bd. I. Berlin, 1966; Bd. II, Berlin, 1967.
58. *Körner S.* Die patronymischen Ortsnamen im Altsorbischen. Berlin, 1972, Karte 14.
59. *Schuster-Šewc H.* Vergleichende historische Lautlehre der Sprache des Albin Moller. Berlin, 1958.
60. *Eichler E., Walther H.* Studien zur historischen Toponomie des Mittelsaale/Weisse Elster-Gebietes.— ZfSl, 1981, 26 (3), S. 353.
61. *Eichler E.* Zur Herkunft der Slawen im Elbe-Saale Gebiet. 1. Tschechisch-sorbische Parallelen in der Toponomastik.— In: Arbeits und Forschungsberichte zur sächsischen Bodendenkmalspflege, 1964, Bd. 13, S. 285—295.
62. *Eichler E.* Die Gliederung des altsorbischen Sprachgebietes im Lichte der Namenforschung.— In: Beiträge zur sorbischen Sprachwissenschaft. Bautzen, 1968, S. 23—27.
63. *Schuster-Šewc H.* Das altsorbische Dialektgebiet und seine sprachliche Stellung im

Rahmen des Westslawischen.— In: Lětopis Instituta za serbski ludospyt, 1972, Rjad B, č. 19/2.
64. *Wirth P.* Beiträge zum sorbischen (wendischen) Sprachatlas. Leipzig, 1933 (Textband und Kartenband); 1936 (Textband, Lief. 2).
65. Sorbischer Sprachatlas. Bd. 1—7, 11. Bautzen, 1965...
66. *Bathe M., Fischer R. E., Schlimpert G.* Zur sorbisch-polabischen Sprachgrenze zwischen Elbe und Spree.— In: Beiträge zum slawischen onomastischen Atlas. Theodor Frings zum Gedächtnis. Berlin, 1970, S. 109—121.
67. *Schuster-Šewc H.* Rozwój fonologiczny dolnołużyckiego systemu wokalicznego.— In: Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. Warszawa, 1965, s. 401.
68. *Schroeder H.* Die Laute des wendischen (sorbischen) Dialekts von Schleife in der Oberlausitz. Tübingen, 1968, S. 27.
69. *Schuster-Šewc H.* Die Genese des aspirierten Konsonanten k^h im Obersorbischen. Ein Beitrag zur historischen Phonologie des Westslawischen.— In: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikationsforschung, 1972, 25, Hf. 4—5, S. 363.
70. *Moszyński K.* Najstarsze zróżnicowanie dialektyczne prasłowiańszczyzny.— Slavia orientalis, 1980, № 1—2.
71. *Muka E.* Słownik dolnoserbskeje rěcy a jede narěcow. Bd. 1. Petersburg, 1911—1915; Bd. 2, 3. Praha, 1926—1928.
72. *Schuster-Šewc H.* O charakterze dawnych łużycko-polskich gwar przejściowych na terenie dolnego Śląska.— In: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe. Rozprawy Komisji językowej, 1965, VII, s. 20.
73. *Nitsch K.* Rzekomi Wendowie w Wielkopolsce, Ziemia. Warszawa, 1912, s. 12.
74. *Jentsch H.* Die sorbische Mundart von Rodewitz/Spree. Bautzen, 1980, S. 102, карта 25.
75. *Hauptmann G.* Nieder-Lausitzische wendische Grammatica. Lübben, 1761, S. 180.
76. *Schuster-Šewc H.* Powstanie i rozwój kategorii męskoosobowości i żywotności w językach łużyckich z uwzględnieniem stosunków w sąsiednich językach słowiańskich.— Slavia occidentalis, 1978, 35.
77. *Meyer K. H.* Der oberwendische (obersorbische) Katechismus des Warichius (1597). Text mit Einleitung und grammatischer Bearbeitung. Leipzig, 1923, S. 33.
78. *Schuster-Šewc H.* Zur Bedeutung des Sorbischen und Slowenischen für die slawische historisch-vergleichende Sprachforschung.— In: Slovensko jezikoslovje. Nahtigalov zbornik. Ob stoletnici rojstva. Ljubljana, 1977, c. 437—438.
79. *Schuster-Šewc H.* O dwóch łużycko-małopolskich izoglosach (Przyczynek do dialektologii zachodniosłowiańskiej).— Slavia occidentalis, 1974, 31.
80. *Hermann J.* Die Lusizi im frühen Mittelalter. Ergebnisse und Fragen der Forschung zur Herkunft, Ökonomie und Gesellschaftsstruktur. — In: Lětopis Instituta za serbski ludospyt, 1975, Rjad B, c. 22/1, c. 100—113.
81. *Brankaěk J.* Betrachtungen über die konzeptionelle Anlage und stoffliche Aufgliederung des mittelalterlichen Teiles von Bd. 1 der Geschichte der Sorben.— In: Lětopis Instituta za serbski ludospyt, 1979, Rjad B, č. 26/2, c. 155—157, особенно с. 164.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1983

ИВАНОВА К.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АСПЕКТУАЛЬНОСТЬЮ И ПАРТИТИВНОСТЬЮ НА СИНТАКСИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Основным средством выражения семантической оппозиции/ ± партитивность/ в синтетических славянских языках является морфологическая оппозиция аккузатив: партитивный генитив. Наряду с нею существуют как параллельные, иногда усиливающие и ряд других средств ее выражения — лексические элементы обозначения определенного количества или целостности, партитивные предлоги и др.

Известно, что в своем развитии к аналитизму болгарский язык утратил основное средство выражения указанной семантической оппозиции. Однако ввиду ее важности неморфологические сопутствующие средства, несмотря на их активизацию и возросшую частотность, оказались недостаточными, чтобы восполнить возникшую пустоту. Роль компенсационного средства взяла на себя специфическая для болгарского языка членная морфема, связанная первоначально с выражением категории определенности. Выражая категорию/ ± партитивность/, членная морфема приобретает вторичную функцию.

Выражение оппозиции/ ± партитивность/происходит на синтаксическом уровне, в рамках глагольной фразы, имеющей в данном случае минимальную обязательную структуру глагол + зависимый от него именной член (прямое или непрямое дополнение). При этом возрастает роль глагольной и в частности аспектуальной семантики.

Наблюдения над современным болгарским языком показывают, что аспектуальная характеристика глагола не безразлична к способу выражения оппозиции/ ± партитивность/, т. е. что она 1) в ряде случаев может накладывать ограничения на формальную морфологическую характеристику зависимого от глагола именного члена или 2) вызывать усложнение в синтаксическом выражении желательной семантики. Мы имеем в виду в частности то, что глаголы некоторых способов действия (СД), сочетаясь с именем существительным без определения в функции прямого объекта, ставят перед этим существительным более или менее твердые условия: оно может выражать только тотальность/— партитивность/, и тогда оно выступает с членной морфемой, или же только / + партитивность/, и в этом случае оно членной морфемы не имеет.

Настоящие наблюдения основаны только на материалах современного болгарского литературного языка, но, как нам кажется, известная, хотя и по-разному выраженная, связь между аспектуальными характеристиками и возможностью выражения категории/ ± партитивность/ существует и в синтетических славянских языках. Насколько нам известно, подобные наблюдения в славистике не предпринимались.

Существующие исследования партитивности направлены на изучение лексической и морфологической характеристики именного члена, с помощью которого выражается партитивность, и оставляют на заднем плане выступающий во фразе глагол. При этом еще не составлен и список глаголов, входящих в состав данного типа фраз. Впрочем, это отдельная и очень интересная задача, требующая к себе особого внимания.

Необходимо сделать следующую оговорку. Наблюдаемое нами явление имеет скорее характер тенденции, чем строгой закономерности. Мы останавливаемся на ней потому, что она, как видно, выполняет известную роль в структурировании предложения, обнаруживая еще одно отражение

аспектуальности в синтаксисе, выявляя наличие определенных взаимоотношений между двумя на первый взгляд весьма отдаленными семантико-функциональными полями и прокладывая между ними мост. Предлагаемое описание может найти приложение при машинной обработке языкового материала для различных целей.

Посмотрим, как выглядят факты.

I. Глаголы некоторых СД, например, одноактного, многоактного, итеративно-атенуативного, комплективного и результативно-абкурсивного [1], входят в состав фраз VO_4 с партитивным значением. Это утверждение расшифровывается следующим образом.

Глаголы указанных СД, семантика которых позволяет обозначать /±партитивность/, входят только в состав фраз VO_4, где O_4 — существительное имя без членной морфемы.

Рассмотрим прежде всего одноактные и многоактные СД, семантические характеристики которых широко известны. Употребленные в составе фразы, состоящей из глагола и существительного в функции прямого объекта, глаголы типа *близна* «лизнуть», *лизна* «то же», *резна* «резануть, рубануть», *пийна* «выпить, отпить (разом)», *скубна* «дернуть», *сръбна* «хлебнуть», *хапна* «съесть; откусить» и др., как и глаголы *близвам* «лизать», *лизвам* «то же», *резвам* «резать», *хрусвам* «хрупать», *чупвам* «ломать, отламывать», *щипвам* «щипать» и др., требуют в позиции прямого объекта имени существительного без членной морфемы. При этом фраза (как целое) имеет партитивное значение, ср., например, фразы типа *сръбнах чорбица* «хлебнул супчику», *близни си мед* «лизни меду», *пийнах* мляко «выпил, отпил молока», *чупвах му хляб* «отламывал ему хлеба». Минимальные фразы, которые бы содержали прямой объект, выраженный именем существительным с членной морфемой, невозможны, ср. **пийни си водата*, **чупвах му хляба*.

Выражение /+партитивность/ во фразах с названными СД не обязательно и не абсолютно, по крайней мере, в классическом понимании этой категории. Мы имеем в виду то, что в составе фраз, включающих рассматриваемые глаголы, может появиться прямой объект, выраженный существительным с членной морфемой, но это бывает только в развернутых фразах, ограничивающих в определенных рамках дефиниционную область действия, ср., например: *Да хапна ли останалото грозде*? «Съесть ли оставшийся виноград?»; *Пийвах млякото, което редовно ми оставяха* «Выпивал молоко, которое мне регулярно оставляли»; *Сръбни тази супа, че да се освободи чинията* «Съешь этот суп, чтобы освободилась тарелка» и др.

Это дополнительное ограничение объекта, впрочем, может быть интерпретировано как разновидность выражения категории /± партитивность/. Такой подход подтверждается широко распространенными фразами, объект в которых предстает известным (определенным) или воспринимается как единое целое, а партитивность маркируется употреблением партитивного предлога *от*, ср.: *сръбнах супа* «поел супу» и *сръбнах от супата* «то же» (во втором случае — часть уже известного, определенного каким-то образом супа); *Винаги му чупвах хляб* «Всегда отламывал ему хлеба» и *Винаги му чупвах от хляба, който носех* «Всегда отламывал ему хлеба, который я приносил».

В том, что семантика одноактного и многоактного СД имеет прямое отношение к выражению категории партитивности, убеждает сопоставление их с глаголами, образованными от того же корня, но принадлежащими к другому способу действия и иначе ведущими себя в рассматриваемых фразах, например: *чупя хляб* «отламывать хлеба» и *чупя хляба* «отламывать хлеб», *начупих хляб* «наломал хлеба» и *начупих хляба* «наломал хлеб», *начупвах хляб* «наламывал хлеба» и *начупвах хляба* «наламывал хлеб», но *чупнах хляб* «отломил хлеба», *чупвах хляб* «отламывал хлеба» при невозможном **чупнах хляба*, **чупвах хляба*.

---

[1] Терминология и метаязыковые дефиниции СД здесь те же, какие использованы нами в работе [1].

Дефективные в видовом отношении (только несовершенные) итеративно-атенуативные глаголы, обозначающие осуществление действия с перерывами и в слабой степени (например, *похапвам*, *полоквам*, *понизвам*, *пощипвам*, *пободвам*, *попийвам*, *подонасям*, *подъвквам* и др.), могут структурировать фразы VO_4 с объектом, выраженным именем без членной морфемы, и с партитивным значением, ср.: *похапвам диня* «съедать (понемногу и время от времени) арбуза», *подонасям вода* «принашивать воды», *понизвам тютюн* «нанизывать (время от времени и понемногу) табаку», *попийвам винце* «попивать винца», но они не способны выражать целостный охват объекта действием, ср. невозможные фразы **похапвам динята*, **подонасям водата*, **понизвам тютюна*, **попийвам винцето*. Вместе с тем следует отметить, что глаголы данного СД, не связанные с партитивной семантикой, входят в состав фраз VO_4, где O_4 эксплицируется существительным с членной морфемой, выражающим определенность, ср., например, *помирисвам розите* «понюхивать розы», *пообмислям положението* «пообдумывать положение».

Этот факт показывает, что синтаксический уровень реализуется в результате очень сложных соотношений между лексической и грамматической семантикой: в данном случае глаголы итеративно-атенуативного СД, лексическая семантика которых предполагает определенное отношение к категории /± партитивность/, обязательно связываются с выражением /+ партитивность/ на синтаксическом уровне в составе минимальной VO_4-фразы, в то время как глаголы того же СД, лексическая семантика которых исключает их употребление во фразе, выражающей /± партитивность/, предъявляют другие требования к лексической семантике и морфологии своего прямого объекта.

Наиболее типичным представителем маркированных /± партитивность/ способов действия, возможно, является комплетивный, обозначающий возобновление того действия, которое уже осуществлялось и при котором достигается дополнительный результат. И здесь отсутствие членной морфемы при имени, выступающем в функции прямого объекта, связывается с категорией /± партитивность/, ср. например, *прикупих дърва* «прикупил дров», *додавах пари* «добавлял денег», но не **прикупих дървата*, **додавах парите*. Если в позиции прямого дополнения окажется существительное, которое не обозначает «добавляемую» субстанцию, оно может (и обычно должно) выступать с членной морфемой, ср.: *досипах череши* «досыпал черешни», но не **досипах черешите*, а с другой стороны, *досипах чинията* «долил (супом и под.) тарелку», но не **досипах чиния*. Как уже было сказано, необходимость выражения партитивности посредством объекта, маркированного существительным без членной морфемы, устраняется, если дефиниционная область распространения действия будет ограничена в составе более сложной фразы, содержащей определители, например: *Добавих парите, които не достигаха* «Добавил денег, которых не хватало», *Прикупих още малко от по-сухите дърва* «Прикупил еще немного дров, что посуше».

Категорию /+ партитивность/ обязательно выражают фразы типа VO_4, когда глагол в них принадлежит к результативно-абкурсивному способу действия. Глаголы этого СД обозначают выведение субъекта или объекта действия за пределы его собственной дефиниционной области, например: *отрязвам сирене* «отрезать брынзы», *отчупих хляб* «отломал хлеба», *отливам мляко* «отливать молока», *отсипах супа* «отлил супу», но невозможны **отрязвам сиренето*, **отчупих хляба*, **отливам млякото*, **отсипах супата*. Как показывают примеры, при глаголах, способных выражать партитивность, за пределы охвата действием выводится только часть его объекта, если грамматическим выразителем последнего является прямой объект без определения. Примеры типа *Отрязах хляба, който ми се полагаше* «Отрéзал хлеба, который мне полагался», *Отсипах малко от супата* «Отлил немного супу», в которых дополнительными средствами ограничивается дефиниционная область действия, можно рассматривать как разновидность выражения партитивности. (Подобные примеры уже были указаны выше.)

Интересно отметить, что при результативно-абкурсивных глаголах прямой объект обязательно выступает с членной морфемой, если именем существительным, эксплицирующим этот объект, обозначается интегральная часть большей целостности, например: *отхапах му ухото* «откусил ему ухо», *отрязали му носа* «отрезали ему нос», *отхапвах крайчето*, *което ми се виждаше най-препечено* «откусывал горбушку, которая казалась мне лучше всего выпеченной», но не **отрязали му нос*, **отхапвам крайче*. С другой стороны, как мы уже отметили, *отхапа хляб* «откусить хлеба» — грамматически правильная фраза, в то время как **отхапа хляба* таковой не является.

Наличие правильных фраз типа *режа сирене* «резать брынзу» и, параллельно с нею, *режа сиренето* «то же», *налях мляко* «налил молоко» и *налях млякото* «то же», показывает, что выражение /+ партитивность/ действительно определяется семантикой, привносимой приставкой *от-*, которая в данном случае маркирует определенный (абкурсивно-результативный) способ действия.

II. Глаголы другой группы СД (например, результативно-дефинитивного, результативно-циркумкурсивного, результативно-панкурсивного, результативно-панкурсивно-дистрибутивного, вообще способы действия, объединенные семантикой, которая показывает исчерпание действия или его дефиниционной области) обнаруживают склонность к построению фраз, маркированных /—партитивность/. Это значит, что в составе фраз VO_4, которыми выражается количество, действие распространяется на весь объект, так что выражающее его имя существительное всегда выступает с членной морфемой.

Рассмотрим соответствующие факты.

В составе фраз VO_4 глаголы результативно-дефинитивного способа действия, обозначающие совершение действия до его крайней фазы, не в состоянии выражать /+ партитивность/, например, *добраха ябълките* «досняли (убрали оставшиеся) яблоки», но не **добраха ябълки*, *допих чая* «допил чай», но не **допих чай*, *доблизвам меда* «долизывать мед», но не **доблизвам мед*. В равной мере невозможны также и фразы типа **допих от чая*, **доблизвам от меда*, включающие в свой состав партитивный предлог *от*.

При результативно-дефинитивных глаголах, ввиду ярко подчеркнутой семантики их способа действия, в позиции прямого объекта вообще очень трудно может быть употреблено существительное без членной морфемы, в том числе и в тех случаях, когда оно не выражает отношения к категории /± партитивность/. По нашим наблюдениям, это возможно только при следующих условиях: глагол имеет значение несовершенного вида, а имя, функционирующее в качестве объекта, выступает в форме множественного числа, например: *Тези три месяца довършвахме апартаменти* «Эти три месяца мы заканчивали строить квартиры», *Цял ден доплитах чорапи* «Весь день довязывала чулки».

К этой группе способов действия надо причислить и результативно-циркумкурсивные глаголы, обозначающие распространение действия по всей поверхности объекта, например, *оръфах хляба* «обкусывал хлеб», *препених супата* «сняла пену с супа», *оглозгах кокалите* «обглодал кости», но невозможны **оръфах хляб*, **препених супа*, **оглозгах кокали*. Результативно-циркумкурсивные глаголы могут выступать во фразах, выражающих /+ партитивность/, но только при наличии модифицированных лексико-синтаксических условий, например: *Обелих няколко ябълки* (*малко от ябълките*) «Очистил несколько яблок (немного яблок)», *Замазах част от стената* «Оштукатурил часть стены». В минимальном контексте глаголы этого способа действия, не участвующие в выражении количественной определенности, могут сопровождаться объектами как с членной морфемой, так и без нее, например, *очертах окръжност* «очертил окружность» и *очертах окръжността* «то же», *препасах престилка* «надеть фартук» и *препасах престилката* «то же». Фразами типа *Обърсах прибори за леля* «Вытер приборы (посуду) для тети» и *Обърсах прибори за новите гости* «Вытер приборы для новых гостей» отношение к кате-

гории /± партитивность/ в классическом понимании также не выражается. Оговаривается часть той дефиниционной области, которая целиком охватывается действием.

Здесь следует отметить и результативно-панкурсивный СД, семантика которого требует распространения действия на всю дефиниционную область объекта. Как видим, в этом случае фраза VO_4 не способна выразить партитивность по дефиниции; см., например, невозможное **оскубах бурен* (ср. при другом способе действия — *наскубах бурен* «надергать бурьяну»). Точно так же невозможны выражения **преброих хора*, **застроиха улица* и мн. др. Разумеется, и при этом СД может быть порождена партитивная фраза с использованием лексических и синтаксических средств, например: *Очепках малко вълна* «Расчесал немного шерсти», *Преброих част от овцете* «Пересчитал часть овец» и др. (Используя в качестве классификационного критерия наблюдаемую здесь особенность, мы бы сделали сейчас поправку в цитированное выше наше исследование о СД в болгарском языке: там к результативно-панкурсивному способу действия мы неправильно причислили и некоторые глаголы типа *загребвам* «загребать», *закупувам* «закупать».)

Значением /— партитивность/ маркированы также глаголы результативно-панкурсивно-дистрибутивного способа действия, которые обозначают распространение действия на все объекты, включенные в определенную область. Те из связанных с ними имен, которые могут выражать количество, всегда выступают в форме множественного числа и с членной морфемой, если они выполняют функцию прямого объекта, например, *изкупих вестниците* «выкупил газеты», *потроших чиниите* «перебил тарелки», *изпокъсвах копчетата* «повырывал пуговицы», но не **изкупих вестници*, **изпокъсвах копчета*. Выражение партитивности и здесь оказывается возможным при усложнении фразы, например, *Изкупих част от вестниците* «Выкупил часть газет», *Потроших много чинии* «Перебил много тарелок» и др.

В отношении выражения /± партитивность/ общерезультативный способ действия ведет себя неодинаково. Очевидно, что здесь сказываются некоторые незначительные различия в семантике отдельных глагольных приставок, которые его формируют. Так, глаголы, образованные с приставками *из-*, *по-*, *при-*, маркированы /— партитивность/ — обстоятельство, обусловливающее их участие во фразах VO_4, в которых позицию объекта занимает существительное с членной морфемой и которые выражают тотальный охват объекта, т. е. /— партитивность/. Ср., например, *изблизвам меда* «вылизывать мед», *изяждам макароните* «съедать макароны», *посолявам супата* «солить суп», *преглъщам хляба* «проглатывать хлеб», *привършвам брашното* «приканчивать муку», но невозможны **изблизвам мед*, **изяждам макарони*, **посолявам супа*, **преглъщам хляб*, **привършвам брашно*.

Разумеется, что, как и в случае с рассмотренными выше способами действия, в несколько усложненной конструкции эти же глаголы могут выражать и партитивность, например: *Изблизах част от меда* «Вылизал часть меда», *Изсърбах няколко лъжици супа* «Съел несколько ложек супа», *Изядох малко макарони* «Съел немного макарон». Нужно вместе с тем отметить, что фразы типа **изблизах от меда*, **изядох от сиренето* невозможны. Некоторые словообразовательные группы общерезультативного способа действия (глаголы, образованные с приставками *на-* и *с-*) в отношении выражения партитивности нейтральны, например, *наготвих боб* «приготовила фасоли (а не макарон и под.)» и *наготвих боба* «приготовила (ту именно) фасоль (которая известна и слушателю)», *смилам брашно* «намалывать муки (а не кофе и под.)» и *смилам брашното* «намалывать (ту именно) муку (известную и слушателю)», *спестих хляб* «сэкономил хлеба (а не фруктов и под.)» и *спестих хляба* «сэкономил (тот именно) хлеб (известный и слушателю)». (Однако глагол *свърша* /*свършвам* «заканчивать, оканчивать», вероятно, из-за своей яркой лексикальной семантики не выступает в партитивных конструкциях, т. е. невозможны **свърших хляб*, **свършваме вода*.)

III. Нейтральны к категории /± партитивность/ следующие СД: результативно-экскурсивный, результативно-экскурсивно-дистрибутивный, результативно-инкурсивно-компрессивный, результативно-кумулятивный, результативно-перкурсивно-дистрибутивный, рекурсивный, трансгрессивный. Нейтральность этих СД заключается в том, что они включают глагольные лексемы, которые способны выражать /± партитивность/ без указанных выше ограничений. Глаголы, относящиеся к этим СД, свободно выступают в составе обоих видов уже рассмотренных VO_4-фраз, т. е. образуют как фразы с партитивным значением, так и фразы, обозначающие полный охват объекта действием.

Так обстоит дело, например, с глаголами результативно-экскурсивного СД, указывающими на центробежное направление действия; ср.: *изрязах картинки* «вырезал (какие-то) картинки (неизвестные слушателю)» и *изрязах картинките* «вырезал (те именно) картинки (определенные, известные и слушателю)», *изваждам хляб* «вынимать (какой-то) хлеб (а не пироги и под.)» и *изваждам хляба* «вынимать (тот именно) хлеб (известный и слушателю, определенный)», *изравям пари* «выкапывать (какие-то) деньги (неизвестные, случайно найденные и под.)» и *изравям парите* «выкапывать (именно те) деньги (о которых известно, что они были закопаны, и под.)».

Это же относится и к результативно-экскурсивно-дистрибутивному СД, предполагающему сильную интенсивность и центробежность действия по многим направлениям, например, *раздадох хляб* «раздал (какой-то) хлеб (неизвестный слушателю, хлеб вообще, а не пироги и под.) и *раздадох хляба* «раздал (тот именно) хлеб (который надо было раздать, который известен и слушателю)», а также к результативно-инкурсивно-компрессивному СД, объединяющему глаголы, которые обозначают действие, производимое, причем со значительной интенсивностью, у входа в какой-либо объект и направленное внутрь этого объекта, например, *натъпквам брашно* «набивать (какую-то) муку (неизвестную слушателю)» и *натъпквам брашното* «набивать (именно ту) муку (известную и слушателю)», *наметох боклук* «смел (вообще какой-то) мусор» и *наметох боклука* «смел (весь) мусор (известный и слушателю)», *внесох дрехи* «внес (какую-то) одежду (неизвестную слушателю)» и *внесох дрехите* «внес (ту именно) одежду (известную и слушателю)».

Представляет интерес результативно-кумулятивный СД, который предполагает осуществление действия в большой степени путем накопления. Способность глаголов, принадлежащих к этому СД, выражать /± партитивность/, например, *настригахме вълна* «настригли шерсти (вообще, какое-то неопределенное количество)» и *настригахме вълната* «настригли шерсти (нужное, определенное количество)», *награбих хляб* «нахватал хлеба (вообще, какое-то количество)» и *награбих хляба* «нахватал хлеба (нужное, определенное количество)», свидетельствует, что оба на первый взгляд противоречивые маркера — количественное накопление и партитивность — не исключают друг друга.

Нейтральным в отношении /± партитивность/ является результативно-перкурсивно-дистрибутивный СД, объединяющий глаголы, которые обозначают разделение дефиниционной области действия на части путем его осуществления, например, *разтроших сирене* и *разтроших сиренето* «раскрошил брынзу», *разчупвах хляб и разчупвах хляба* «разламывал хлеб» *разбих майонез* и *разбих майонезата* «взбил майонез», *размервам брашно* и *размервам брашното* «развешивать муку».

Это же относится и к рекурсивному СД, объединяющему глаголы со значением повторного совершения действия, например, *преварих вода* и *преварих водата* «перекипятил воду», *претоплям супа* и *претоплям супата* «перегревать суп», а также к трансгрессивному СД, показывающему разделение действием определенной пространственной области на две части, например, *прецедих вода* и *прецедих водата* «процедил воду», *пресипвам жито* и *пресипвам житото* «пересыпать пшеницу».

Бесприставочные глаголы, обладающие способностью выражать партитивность, чаще всего принадлежат к общерезультативному СД. Таковы,

например, глаголы *ям* «есть», *пия* «пить», *чупя* «ломать, разбивать», *цедя* «цедить», *лея* «лить», *сея* «сеять» и др.

Эти глаголы, в отличие от глаголов, обладающих, благодаря семантике своего СД, эксплицитно выраженной количественной характеристикой, указывают на партитивность только при поддержке более широкого контекста, например: *Ядох от динята* «Поел арбуза», *Пих малко вода* «Выпил немного воды», *Чупих си от хляба* «Отломал себе хлеба». Выражения типа *ям диня* «есть арбуз», *пия мляко* «пить молоко», даже *чупя си хляб* «отламывать себе хлеб», не содержат указания на партитивность. В них объект определен только качественно, назван. В рассмотренных выше случаях со словообразовательно характеризованными глаголами, семантика которых включает понятие интенсивности (т. е. количественной характеристики) или же определенной каким-либо образом дефиниционной области действия, такая поддержка контекста не обязательна. Другое дело, что действительно имеются омонимичные конструкции, в которых превалирует качественная характеристика действия, например; *пийни мляко* «выпей молока» (= немного молока, т. е. партитивное значение) и *пийни мляко* «выпей молоко» (т. е. именно молоко, а не, например, воду). Во втором случае количественная характеристика не утрачена, но она ушла на второй план.

Можно отметить также и то, что у некоторых вторичных имперфективов, вероятно, под влиянием суффикса, на первый план выступает качественная характеристика действия, в то время как соответствующий глагол совершенного вида выражает прежде всего количественный признак. Так, результативно-тотально-дистрибутивный глагол несовершенного вида *разчепквам* «теребить (шерсть)» «отказывается» выступать во фразах, связанных с категорией /± партитивность/, ср., например, предложения *Вчера разчепквахме вълна* и *Вчера разчепквахме вълната* «Вчера теребили шерсть», где членная морфема (в *вълната*) выражает определенность независимо от того, что соответствующая глагольная форма совершенного вида в минимальной фразе VO_4 выражает /— партитивность/; ср. невозможное **разчепках вълна* при грамматически правильных *Разчепках вълната* «Растеребил шерсть», *Разчепках малко вълна* «Растеребил немного шерсти», *Разчепках част от вълната* «Растеребил часть шерсти», как и *Разчепках вълна за една възглавница* «Растеребил шерсть на подушку». Как мы видели, однако, из изложенного выше, принадлежность глагола к несовершенному виду в большинстве случаев со словообразовательно характеризованными СД не является препятствием для включения его во фразу, выражающую отношение к категории /± партитивность/.

Выводы из наших наблюдений показывают, что на выражении категории /± партитивность/ в современном болгарском языке сказывается влияние семантики глагола, выступающего в соответствующей синтаксической структуре. Его аспектуальная характеристика (точнее — способ действия, к которому он принадлежит) может наложить ограничения на его функционирование в VO_4-фразах, когда они выражают /± партитивность/. Это ограничение сводится к отсутствию реализации одной из двух возможностей.

В заключение мы хотим еще раз подчеркнуть, что исследование синтаксического уровня выявляет сложное взаимодействие и переплетение различных по своей природе факторов.

Нельзя не отметить также активность компенсационных процессов, благодаря которым при утрате одного из языковых средств в результате исторического развития его функции не остаются свободными, а принимаются другим языковым средством.

Перевел с болгарского *Венедиктов Г. К.*

ЛИТЕРАТУРА

1. *Иванова К.* Начини на глаголното действие в съвременния български език. София, 1974.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1983

ГОЛОВИНА Э. Д.

К ТИПОЛОГИИ ЯЗЫКОВОЙ ВАРИАНТНОСТИ

Кроме константных элементов и отношений, в языке, как известно, наблюдаются вариантные элементы и отношения. Начало изучению проблемы вариантности в русском языке положили ставшие уже классическими работы В. В. Виноградова [1], А. И. Смирницкого [2], О. С. Ахмановой [3], Ф. П. Филина [4]. Значительно активизировался интерес к названной лингвистической универсалии в истекшее десятилетие: оно ознаменовалось появлением новых, разноаспектных и основанных на разном (общерусском и диалектном) материале исследований отдельных авторов (К. С. Горбачевича [5], Л. К. Граудиной [6], Л. П. Крысина [7], О. И. Блиновой [8], Л. О. Чернейко [9] и др.), а также целых авторских коллективов [10—13 и др.]. Преимущественное внимание исследователей, что вполне естественно, было обращено на вариантность слова — основной, номинативной единицы языка.

Представленная в данной статье типология языковой вариантности — это попытка создания единой многоаспектной классификации вариантов, имеющихся в системе современного русского языка, включая все его стилистические пласты, в том числе общерусское просторечие.

Прежде всего следует разграничить два основных типа вариантности в языке: вариантность языковых элементов и вариантность синтагматических отношений единиц языка. К последней относится валентностная вариантность единиц языка: их потенциальная лексическая и синтаксическая сочетаемость с другими единицами, явление неединственной словообразовательной мотивации (*модничать* ← *мода*, *модный*, *модник*) и т. д. Дальнейшее изложение посвящается рассмотрению вариантности только языковых элементов.

Согласно известному положению марксистско-ленинской диалектики о единстве содержания и формы, функционирование языка основано на строго однозначном соответствии единицы содержания единице внешнего оформления. Именно закрепленная практикой речевого общения ассоциация данного звучания или написания с данным содержанием обеспечивает существование языка как коммуникативной системы [14, с. 20].

Однако между планом содержания и планом выражения может не быть однозначного соотношения, т. е. наблюдается вариантность, во-первых, семантическая (одной материальной оболочке соответствует несколько разных значений), во-вторых, формальная (одно значение выражается несколькими материальными оболочками). Вследствие иерархичности единиц языка иерархична и их вариантность: варьирование фонемы создает вариантность звуковой оболочки у морфемы, включающей эту фонему; варьирование морфемы влечет за собой варьирование слова, ее включающего; варьирование отдельных слов, являющихся компонентами фразеологизма, означает варьирование формы фразеологизма и т. д. Задачи классификации требуют четкого разграничения явлений, относящихся к варьированию эмических единиц каждого языкового яруса [15].

Эмические единицы языка имеют разный статус. Слово — это основная, двусторонняя по своей природе единица языка. Фонема и морфема — это материально-структурные единицы, используемые как стратиграфическое средство в ходе лингвистического анализа. В соответствии с различным статусом эмических единиц различен и характер их вариантности.

Вариантность таких языковых единиц, как фонема и морфема, определяется позицией. Рассмотрим вариантность каждой из этих единиц.

Фонема в потоке речи реализуется в конкретных звучаниях — аллофонах, которые находятся в различных произносительных условиях: в сильных, независимых позициях или в слабых, неразличительных позициях. Аллофоны, выступающие в слабых позициях, подразделяются на 1) собственно позиционные и 2) комбинаторные слабые аллофоны. Слабые позиционные аллофоны гласных фонем являются результатом редукции, количественной или качественной. Таковы, например, безударные гласные в слове *садоводы*. Слабые комбинаторные аллофоны гласных фонем — результат аккомодаций (прогрессивных, регрессивных и прогрессивно-регрессивных), например, в слове *оленёнок*. Слабые позиционные аллофоны согласных фонем в большинстве случаев результат оглушения в абсолютном конце фонетического слова: *раб* [рап]; слабые комбинаторные аллофоны — результат как ассимиляции (по глухости, звонкости, мягкости, по месту или способу образования), так и диссимиляции. Кроме того, есть абсолютно слабые, позиционно-комбинаторные аллофоны гласных.

Таким образом, речевая вариантность фонемы обусловлена формальной позицией; она не лексикализована и носит, следовательно, надсловный характер. Это же явление отмечал в свое время А. И. Смирницкий [2, с. 32—34].

Вторая стратиграфическая эмическая единица — морфема, подобно фонеме, несамостоятельна, позиционно связана [16, с. 81] и реализуется в речи в виде одного из своих алломорфов. Алломорфы формально обусловлены качеством соседних морфем. Так, суффиксальная морфема *-ств(о)* выступает в виде алломорфа *-еств(о)* после шипящих: *изящ-еств-о*, *ничтож-еств-о* (ср.: *удаль-ств-о*, *благород-ств-о*); префиксальные морфемы *в-/во-*, *под-/подо-*, *из-/изо-*, *от-/ото-* и т. п. с беглым гласным употребляются, например, перед консонантной группой: *отобрать* (ср.: *от-беру*). То же наблюдается и в сочетаниях с предлогами: *подо мной* (ср.: *под горой*).

Кроме того, алломорф может быть обусловлен не фонетической структурой соседних морфем (фонетическая обусловленность), а соседним алломорфом как таковым (морфемная обусловленность). Так, корень *мороз-* выступает перед суффиксом *-и-* в виде *мороз'-*, а перед суффиксом *-ива-* в виде *мораж-* [1]. Дистрибутивную обусловленность алломорфов изучает морфонология. Ее задачи и пограничный характер убедительно раскрыты Е. С. Кубряковой [16, с. 81—82].

Из сказанного следует, что и у фонем, и у морфем вариантность не является лексикализованной, т. е. она надсловна. Конкретные речевые реализации этих эмических единиц называются их модификациями, причем инвариантной является модификация в сильной позиции: *гóры* (ср.: *горá*), *детский* (ср.: *юношеский*) и т. д. По нашему мнению, такие понятия, как инвариант, репрезентант и т. п., применимы только к позиционно обусловленной вариантности указанных языковых единиц, но не приложимы к таким типам вариантности, как внутрисловная и тем более межсловная, о которых речь пойдет далее.

Как видим, при отнесении нерегулярной, формально не обусловленной вариантности к уровню слова совмещаются понятия аллофона и фоны, алломорфа и морфа: одно из них, таким образом, становится избыточным.

Вариантность на уровне слова принципиально отлична от надсловной вариантности фонем и морфем. Внутрисловная вариантность носит формально не обусловленный, индивидуальный характер: она дистрибутивно инертна и более или менее строго лексикализована, привязана к слову (*калоши — галоши*) или к нескольким словам (*ноль — нуль*, *тоннель — туннель*; *капает — каплет*, *брызгает — брызжет*, *колыхает — колышет* и т. п.) [17, с. 37].

---

[1] Приведенные примеры взяты из «Русской грамматики» [18], содержащей обстоятельное освещение речевой реализации фонем и морфем.

В настоящее время некоторые типы внутрисловной вариантности незакономерно, на наш взгляд, анализируются на уровне фонем и морфем, параллельно с формально обусловленными вариантами [18, с. 127].

Классификация внутрисловных вариантов является центральной проблемой при разработке типологии языковой вариантности. Предложено несколько различных классификаций вариантов слова [2—5, 19—21 и др.], однако полной и общепринятой классификации вариантов нет [5, с. 80].

Как уже было сказано, мы относим к вариантам на уровне слова все не обусловленные позицией, лексикализованные смысловые и формальные его разновидности. Таковыми являются:

I. Семантические варианты слова (варьирование плана содержания при тождестве плана выражения: полисемия). Например: *картина* «полотно художника»; «кинофильм»; «вид, пейзаж» и т. д.

II. Формальные варианты слова (варьирование плана выражения при тождестве плана содержания): грамматические {формообразовательные: *цвести — цвесть*, *махать* > *махает — машет*, *рано* > *ранее — раньше*, *почуять* > *почуяв — почуя*; словоизменительные: *чай* > *чая — чаю*, *сама* > *саму — самоё*, *волна* > *волной — волною*, *она* > *с ней — с нею*, *пекарь* > *пекари — пекаря*, *стотысячный — статысячный*, *двускатный — двухскатный*;[2] категориальные: а) родовые [эксплицитные (родовые различия морфемно выражены): *зал — зало — зала*, *плацкарт — плацкарта*, *коленка — коленко*, *лежебока* (общего рода) — *лежебок*; имплицитные (родовые различия в исходной форме или во всех формах внешне не выражены): *рояль* (м. р.) — *рояль* (ж. р.), *шампунь* (м. р.) — *шумпунь* (ж. р.), *вуаль* (ж. р.) — *вуаль* (м. р.), *кофе* (м. р.) — *кофе* (ср. р.)] [3]; б) отличающиеся только типом склонения, но не грамматическим родом: *песня — песнь*, *куделя — кудель*, *городишко — городишка*}; неграмматические {акцентные [а) полные (вариантность ударения во всех формах слова): *творóг — твóрог*, *индустрúя — индýстрия*, *обу'х — óбух*, *договóр — дóговор*; б) неполные (вариантность в отдельных формах слова): *прав* > *прáвы — правы́*, *гора* > *пóд гору — под гóру — под гору'*]; фонематические с вариантностью: а) в корне слова: *калиф — халиф*, *восьмью́ — восемью́*, *золото — злато*, *обусловливать — обусловливать*; б) в префиксе: *междоусобица — междуусобица*; в) в словообразовательном суффиксе (при сохранении тождества морфемы [4]): *воробушек — воробышек*, *весной — весною* (наречие), *электрификация — электрофикация*; г) в корне и в суффиксе одновременно: *камешек — камушек*; д) в служебных словах: *пусть — пускай*, *пока — покамест — покуда*, *средь — среди*, *меж — между*}. Фонематическая вариантность по своему характеру бывает количественной (*бивак — бивуак*, *коли — коль*, *споткнуться — спотыкнуться*, *сaиб — сагиб*, *кофе — кофей*), качественной (*крынка — кринка*, *черенок — черешок*, *строгать — стругать*, *желчь — жёлчь*, *просвира — просфора*), количественно-качественной (*мингрел — мегрел*, *город — град*, *пока — покуда*), а также позиционной (ср. метатезы: *дуршлаг — друшлаг*, *табурет — тубарет*).

Кроме этого, внутрисловная вариантность может быть смешанной, комбинированной, например, фонемно-акцентологической (*полýночный —*

---

[2] Таким образом, вариантность несинтаксических и синтаксических (в том числе являющихся первыми компонентами сложных слов) грамматических форм слова — это частный случай внутрисловной вариантности. В «Русской грамматике» вариантные грамматические формы подаются недифференцированно и включают также формы с акцентологической вариантностью: «В ряде случаев отдельные слова образуют формы, тождественные по своему морфологическому значению, но различающиеся по выражению, например: *сахара* и *сахару*; *водой* и *водою*; *в краю* и *в крае*; *тракторы* и *трактора*; *верховий* и *верховьев*; *дверями* и *дверьми*; *красной* и *красною*; *естествен* и *естественен*; *бойче* и *бойчее*; *выздоровею* и *выздоровлю*; *капаю* и *каплю*; *двигаю* и *движу*; *сох* и *сохнул*; *рекá*, *рéку*, *рéки*, *рéкам* и *рекá*, *рекý*, *рекú*, *рекáм*» [18, с. 454].

[3] Как отметила О. С. Ахманова, «варьирование осуществляется здесь не наличием или отсутствием определенного конкретного аффикса, а соединением одной и той же основы с разными парадигмами» [3, с. 223], в том числе нулевой парадигмой (*кофе*, *цунами* и т. п.)

[4] О формальной (фонематической) близости морфем см. [18, с. 125].

полнóчный, *кáриес* — *карибóз*) или фонемно-словоизменительной (*бежать* > > *бегут* — *бежат*). Как при надсловной, так и при внутрисловной вариантности налицо сохранение тождества слова: варианты являются формальными или семантическими разновидностями одного и того же слова, а не разными лексемами.

Наряду с надсловной и внутрисловной вариантностью в языке существует межсловное парадигматическое варьирование языковых элементов, подразделяющееся на семантическое и формальное.

Не останавливаясь подробно на каждом из названных типов, отметим лишь, что межсловная семантическая вариантность может быть не только абсолютной (явление лексической омонимии), но и относительной (частичная). В случае относительной вариантности наблюдается частичное тождество материального оформления при тождестве значения, а также при частичном или полном различии в плане содержания. Существование относительной вариантности, очевидно, не исключалось А. И. Смирницким [14, с. 12].

Относительными вариантами мы считаем однокоренные слова, принадлежащие к одной и той же части речи [5]: *дерзновение* — *дерзновенность* — *дерзание*, *густолистый* — *густолиственный*, *надеть* — *одеть*, *ниц* — *ничком* — *навзничь*, а также неоднокоренные слова, разные по значению и частично по внешнему оформлению, которые в силу своего звукового или графического сходства нередко смешиваются носителями языка при употреблении: *мановение* — *мгновение*, *кворум* — *форум* и т. п.

Формальные межсловные варианты суть синонимы. Это разные, самостоятельные лексические единицы, обладающие тождеством ядерного лексического значения, но частично или полностью различающиеся в плане выражения: *гуманность* — *гуманизм*, *смелый* — *храбрый*, *врать* — *лгать*, *отлично* — *великолепно*. Как видим, синонимы могут быть как разнокоренными (*смелый* — *храбрый*), так и однокоренными, отличающимися только словообразовательными моментами: *полячка* — *полька*, *национализировать* — *национализовать*, *выбрать* — *избрать*, *надсегментный* — *суперсегментный* [6].

Таким образом, вариантность слов типа *геройский* — *героический*, *национализировать* — *национализовать*, *сослепа* — *сослепу* следует оценивать в двух плоскостях: это относительные семантические межсловные варианты и в то же время — это формальные межсловные варианты.

Итак, при межсловной вариантности языковые единицы соотносятся друг с другом как разные, отдельные слова, а не как разновидности одной и той же лексемы, т. е. тождество слова отсутствует.

Как видно из приведенного материала, вариантные языковые единицы неодинаковы по своему отношению к нормам литературного языка: одни из них являются нормативно закрепленными, кодифицированными (*бегут*, *бомба*, *договóр*), другие выходят за рамки нормативного словоупотребления (*бежат*, *бóнба*, *дóговор*).

К сказанному следует также добавить, что в приведенных примерах представлена только узуальная вариантность, хотя в речевой практике возможны и окказиональные варианты, как надсловные (например, аллофоны гласных фонем в слове *Петербург* — в речи известного чеховского персонажа: *Пютюрбург*) и внутрисловные (например, неровная, тряская трасса окказионально называется *трассой*), так и межсловные (*проворный* — *проворливый*, *орлиный* — *орлий*, *неутомимость* — *неустанность*).

Полная классификация вариантов в языке является по своей природе многоаспектной, фасетной [7], и в ее основу должен быть положен весь комплекс признаков, характеризующих каждый тип языковой вариантности, а именно: 1) характер варьируемых языковых элементов или

---

[5] Ср. другое понимание у О. В. Вишняковой [22].

[6] Вариантность, представленная в последнем примере, трактуется исследователями неодинаково [23].

[7] Фасетной в теории информатики принято называть классификацию, «дающую возможность группировать понятия параллельно по нескольким различным признакам (фасетам)» [24].

синтагматических отношений, 2) отношение к основной единице языка — слову (надсловная, внутрисловная или межсловная вариантность), 3) соотношение плана содержания и плана выражения (формальная или семантическая вариантность), 4) принадлежность варьирующей эмической единицы к определенному языковому ярусу (вариантность фонемы, морфемы, лексемы, фраземы, синтаксемы), 5) позиционная обусловленность/необусловленность варьирования и характер обусловленности, 6) полнота/неполнота варьирования, 7) грамматическая регулярность/нерегулярность варьирования, 8) абсолютность/относительность тождества материальных оболочек или значений варьирующих единиц, 9) отношение к нормам литературного языка, 10) узуальность/окказиональность вариантов и т. д.

Представляется весьма перспективной не входившая в задачи данной работы функциональная характеристика языковых вариантов, которая включает оценку вариантов по сфере бытования (например, внутридиалектные, междиалектные, диалектно-общерусские, жаргонно-общерусские и т. д. варианты), по хронологической, стилистической, экспрессивно-эмоциональной маркированности/немаркированности [25].

Специального изучения и классификации требует вопрос о речевом индивидуально-ситуативном варьировании языковых средств. Образцом индивидуального речевого варьирования надсловного типа является диафоническое варьирование [26, с. 5], например, произношение русского *э* с передней и средней артикуляцией: *это*, *поэт* и т. п. Примером ситуативного варьирования служат случаи так называемого эмфатического ударения (*ч-черт*) и другие речевые реализации, традиционно квалифицируемые как экспрессивно-стилистические аллофоны.

Существование ситуативных вариантов обусловлено целым комплексом факторов, в том числе экстралингвистических, например, соображениями коммуникативной целесообразности в каждой конкретной ситуации речевого общения. Так, исследователями отмечаются почти безграничные возможности варьирования в отношении громкости, шепотности, темпа (долгота фонетических единиц) и т. п. [26, с. 122].

Подход к языковому материалу с позиций теории вариантности позволяет по-новому взглянуть на целый ряд лингвистических проблем. Углубленное изучение языковой вариантности перспективно применительно ко многим нерешенным общетеоретическим и прикладным вопросам современного языкознания (например, связанным с лексикографической практикой).

ЛИТЕРАТУРА

1. *Виноградов В. В.* О формах слова.— В кн.: *Виноградов В. В.* Избранные труды. Исследования по русской грамматике. М., 1975.
2. *Смирницкий А. И.* К вопросу о слове (Проблема «тождества слова»).— Тр. Ин-та языкознания АН СССР, 1954, т. IV.
3. *Ахманова О. С.* Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957.
4. *Филин Ф. П.* О слове и вариантах слова.— В кн.: Морфологическая структура слова в языках различных типов. М.—Л., 1963.
5. *Горбачевич К. С.* Вариантность слова и языковая норма. Л., 1978.
6. *Граудина Л. К.* Вопросы нормализации русского языка. Грамматика и варианты. М., 1980.
7. *Крысин Л. П.* Социолингвистическое исследование вариантов русского литературного языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1980.
8. *Блинова О. И.* Проблемы диалектной лексикологии: Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Саратов, 1975.
9. *Чернейко Л. О.* Опыт парадигматического анализа лексики (На материале географических терминов архангельских говоров): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1980.
10. Семантическое и формальное варьирование. М., 1979.
11. Вопросы вариантности и синонимии в современном русском языке. Свердловск, 1973.
12. Вариативность единиц разных уровней языковой структуры. Орджоникидзе, 1978.
13. Нормы реализации. Варьирование языковых средств. Горький, 1976.
14. *Смирницкий А. И.* Перфект и категория временной отнесенности.— ИЯШ, 1955, № 2.
15. *Ивлева Г. Г.* О варьировании слов в немецком языке.— ВЯ, 1981, № 6, с. 121.

16. *Кубрякова Е. С.* Отличительные свойства морфемы и проблема классификации служебных морфем языка.— В кн.: Тезисы рабочего совещания по морфеме (ноябрь 1980). М., 1980.
17. *Филин Ф. П.* Проект «Словаря русских народных говоров». М.— Л., 1961, с. 37.
18. Русская грамматика. Т. 1. М., 1980.
19. *Рогожникова Р. П.* Варианты слов в русском языке. М., 1966.
20. *Левковская К. А.* Теория слова, принципы ее построения и аспекты изучения лексического материала. М., 1962, с. 192—196.
21. *Шанский Н. М.* Лексикология современного русского языка. М., 1972, с. 62—64.
22. *Вишнякова О. В.* Паронимы в русском языке. М., 1974, с. 8—9.
23. *Шамина Н. А.* Явления родовой синонимии в русском языке: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Казань, 1971.
24. *Гендлина И. Е.* Определение некоторых терминов теории классификации.— Научно-техническая информация, 1980, сер. 2, № 7, с. 6.
25. *Головина Э. Д.* К комплексной оценке вариантов слова.— В кн.: Системные отношения в лексике севернорусских говоров. Вологда, 1982.
26. *Торсуев Г. П.* Константность и вариативность в фонетической системе. М., 1977.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1983

ГВИШИАНИ Н. Б.

К ВОПРОСУ О МЕТАЯЗЫКЕ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

В последнее время проблемы метаязыка языкознания все более настойчиво привлекают внимание лингвистов [1]. Метаязык языкознания определяется как «язык второго порядка», по отношению к которому естественный человеческий язык выступает как язык-объект, т. е. как предмет языковедческого исследования. Метаязык языкознания рассматривается нами прежде всего как средство научного (или метаязыкового) общения. Под метаязыковым общением понимается использование говорящим особой разновидности языка, реализующей интеллективно-коммуникативную функцию.

Одной из важнейших проблем, возникающих в процессе научного общения, является вопрос о том, какими словами пользуются ученые, которые говорят о языке, и почему они предпочитают данные слова, а не другие, являющиеся как будто бы с ними равнозначными. Ведь слова-термины — это не просто произвольно избранные и свободно реализуемые в речи единицы, употребление которых в контексте научного изложения определяется исключительно намерением автора. Продуктивность научного общения во многом зависит от того, насколько избранный метаязык понятен ученым, разрабатывающим данную область знания, насколько он может способствовать установлению контакта между ними. В случае же несовместимости метаязыковых систем говорящего и слушающего (и соответственно, пишущего и читающего) обмен научной информацией существенно осложняется ввиду отсутствия единой системы понятий и терминов, являющейся основой плодотворного научного общения. Необходимо отметить также, что метаязык неизбежно отражает мировоззрение ученого, т. е. систему его представлений об окружающем мире, причем это утверждение относится не только к языкознанию, но и к гуманитарным наукам вообще.

Вместе с тем в современных лингвистических работах дело нередко сводится лишь к сплетению разнообразных терминологических ка́лек, заимствованных из часто неприемлемых для советской языковедческой науки работ зарубежных авторов. Однако главное заключается не в том, чтобы показать, как языковедческое исследование может быть подменено (и фактически подменяется) упражнениями с метаязыком. Необходимо разъяснить, в чем заключается методологическое значение данной проблемы и почему во главу угла ставится именно методология метаязыкового общения.

Предметом языковедческого исследования является естественный человеческий язык, существующий в речи и через речь. Языкознание как гуманитарная наука прежде всего призвано изучать язык как «непосредственную действительность мысли», «как средство выражения мыслей и чувств людей, живущих в обществе» [6, с. 15]. В центре внимания, таким образом, оказываются общественные функции языка, взаимодействие языка и культуры общества, языка и социально-исторических особенностей жизни данного языкового коллектива. Естественный человеческий язык не может быть сведен к системе знаков, а также к отношениям между элементами этой системы. Принципиальное отличие естественного языка от искусственных вспомогательных языков заключается в том,

[1] См., в частности, работы О. С. Ахмановой [1—5], Р. А. Будагова [6], Ю. В. Рождественского [7], М. М. Глушко [4] и др.

что «языковой знак является знаком только в системе отношений: знак — значение — предмет (явление)» [6, с. 15]. Только такое понимание семиологических свойств естественного языка позволяет осмыслить его как важнейшее средство человеческого общения. Отражательный образ реального мира, лежащий в основе категории значения, обеспечивает взаимосвязь языка и окружающей действительности, с одной стороны, языка и мышления, с другой. Именно лингвистическое значение, всегда сохраняющее признаки отражаемой реальности, не позволяет естественному языку превратиться в замкнутую систему знаков, лишь обозначающих соответствующие процессы и явления.

В этой связи возникает вопрос о самой природе (онтологии) метаязыка языкознания. Поскольку естественный язык не может быть сведен к «закрытой» системе элементов, язык его описания (т. е. метаязык языкознания) также не может быть представлен как замкнутый (или формализованный) ряд единиц. Реальная картина функционирования (и самого существования) естественного языка в речи оказывается настолько сложной и противоречивой, что для ее адекватного отражения необходим метаязык, обладающий достаточно гибкими и разнообразными средствами выражения. Именно это требование, исходящее из самой природы естественного языка как языка-объекта, обусловливает тот факт, что метаязык языкознания строится на основе тех же единиц, что и язык-объект, т. е. имеет с ним единую (тождественную) субстанцию. Этой субстанцией выражения является звучащая материя. Таким образом, изучая естественный язык, мы пользуемся им же для того, чтобы говорить о самом предмете нашего исследования.

Рассматривая различные аспекты соотношения метаязыка науки и предмета ее изучения, необходимо коснуться вопроса о месте языкознания в системе наук.

Как известно, вербальное общение — на основе слов и словосочетаний данного национального языка — составляет неотъемлемую особенность метаязыка гуманитарных наук — философии, истории, языкознания. Напротив, при описании предмета изучения естественных наук (физики, химии), гораздо в большей степени опирающихся на физические объекты действительности, определенным образом координированные в пространстве и во времени, ученые прибегают к невербальным средствам передачи научной информации, которые включают различные формальные системы обозначений. Таким образом, метаязык естественных наук обладает принципиально иной субстанцией выражения по сравнению с объектом их изучения, т. е. с теми реальными свойствами явлений действительности, которые выступают как предмет исследования отдельных областей знания.

Вместе с тем языкознание занимает совершенно особое место в системе гуманитарных наук, что обусловлено спецификой предмета его изучения. Для языкознания характерны три основных этапа научного исследования: изучение языковых фактов, создание понятий, разработка метаязыка. В этом состоит отличие языкознания от более «отвлеченных» наук — логики и философии, в которых исследование начинается как бы со второго этапа, с рассмотрения самих обобщений (понятий и закономерностей), являющихся непосредственным объектом изучения. Языкознание же призвано прежде всего изучать явления человеческой речи. Поэтому попытки свести языковедческое исследование к преобразованиям формальных систем, оторванных от конкретных фактов языка и не подтверждаемых явлениями реальной речи, глубоко ошибочны и методологически несостоятельны.

Метаязык языкознания, таким образом, представляет собой не априорно данную и метафизически предшествующую исследованию семиологическую систему, а является завершающим этапом языковедческого анализа. Непосредственно воспринимаемый фактический материал (языковые явления и их свойства) выступают как основа системы таксономических категорий данной области знания. В языкознании таксономии устанавливаются путем индуктивного обобщения, т. к. отправным пунктом исследования является изучение фактического материала. Уровень же метатаксо-

номии достигается тогда, когда основой научной систематизации служат не первичные реально воспринимаемые объекты, а понятия и категории, представляющие собой результат предыдущей таксономической стадии обобщения [2].

Однако сказанное не означает, что дедуктивный («аксиоматический») метод не может быть использован в языкознании. Этот метод применим при условии, что первичные реальные объекты действительности не утрачивают своего значения как отправного пункта исследования. Если же происходит отрыв процесса научного исследования от реальной субстанции языка, материального опыта, то языкознание из науки, имеющей эмпирическую основу, насильственно превращается в науку спекулятивную.

Единство материальной природы метаязыка языкознания и языка-объекта не означает их неразличения. Необходимо постоянно иметь в виду, что изучение того или иного языка в историко-генетическом (сравнительно-историческое языкознание) или системно-структурном плане (структурное языкознание) является подлинным предметом науки о языке, в то время как создание метаязыковой системы — инвентаризация терминов (понятий и номенклатур) — выступает как завершающий этап языковедческого исследования.

Метаязык языкознания представляет собой сложное явление. С одной стороны, в основе его лежат строго системные отношения между терминами как единицами, воплощающими в наиболее явном виде принцип единства выражения и содержания. С другой стороны, метаязык включает также и общенаучную лексику — те слова и словосочетания, которые используются при описании различных аспектов научного исследования. Иначе говоря, частью метаязыка данной конкретной науки является общенаучный язык — особый разряд языковых средств, реализующих функцию передачи «интеллектуальной» информации.

Что касается работы с терминологическими единицами в плане их упорядоченного распределения как единиц вполне определенной системы, то этот процесс включается в область семиотических исследований. В этой связи возникает проблема оптимизации данной конвенциональной семиотической системы в плане придания ей большей определенности и «однозначности». Как известно, именно эти свойства отличают единицы метаязыка от собственно языковых единиц, которые в результате проявления несистемных свойств естественного человеческого языка в той или иной мере характеризуются «неоднозначностью». Термин же, напротив, представляет собой такую единицу специального (научного, технического и т. п.) языка, которая создается, принимается или заимствуется для точного выражения специальных понятий и обозначения специальных предметов. Поэтому важнейшим свойством метаязыка является однозначность составляющих его единиц.

Несоответствие в определении терминов различными авторами и различными направлениями в языкознании в значительной степени препятствует осуществлению эффективного обмена научной информацией. Так, например, определение термина «категория» в отечественном языкознании существенно отличается от его трактовки в метаязыке американской дескриптивной лингвистики, особенностью которого является неразличение таких понятий, как «категория» и «класс». В традиции же русского и советского языкознания основные классы слов — это не категории, а части речи, которые обладают определенным набором морфологических грамматических категорий, отражающих их наиболее общие свойства [1, с. 96].

Говоря об общенаучном языке, необходимо отметить его более сложную организацию по сравнению с собственно терминологией. Если терминология, отражающая частные и конкретные особенности предмета изучения, значительно преобразуется в зависимости от того, какая наука находится в поле зрения ученого, функциональный стиль общенаучного языка как бы пронизывает (в своих наиболее существенных чертах) самые разные науки.

В то же время общенаучный язык является лишь особой функциональной реализацией естественного языка. При всей его «ограниченности» (особенно в плане употребления вполне определенных словарных и грамматических средств) по сравнению с языковыми стилями, основанными на функции воздействия[2], он продолжает сохранять все свойства языка как постоянно развивающегося объекта, языка как средства научного общения. Поэтому общенаучный язык не может изучаться и разрабатываться лишь на основе семиотических методов. Он оказывается слишком тесно связанным с «общим» языком, т. к. именно из этого источника черпает язык науки все новые и новые средства выражения для удовлетворения растущих потребностей развития научного знания.

Моделирование научного текста преследует цель оптимизации речевого сообщения, придания ему характера однозначно понимаемой информации. Именно на этой основе получают развитие семиологические свойства языка. Однако сам процесс анализа языковых средств с целью их последующего использования при построении (моделировании) «нормализованного» регистра научного изложения обусловлен именно филологическими методами работы с материалом. Для того, чтобы определить, что́ в данном отрезке речи следует отнести к коннотативно окрашенным элементам авторского стиля, а что может считаться нормативным употреблением, необходимо глубокое подлинное знание языка, умение исследовать его многообразные реализации в речи, что и составляет сущность деятельности филолога, его призвание. Подобный анализ относится к языкознанию как разделу филологии, в то время как синтез нового (моделированного) текста входит в область семиотики.

Хотя метаязык языкознания, по-видимому, в большей степени по сравнению с языком-объектом может быть подвергнут семиотическим методам изучения, он продолжает оставаться «открытой системой», разработка которой должна основываться на сочетании филологических и семиотических аспектов исследования. При изучении метаязыка (как и в случае естественного языка) системные методы являются лишь одним из принципов, одной из черт общей методологии [11].

Вопрос о применении семиотических методов в разработке метаязыковых систем еще более осложняется, если принять во внимание тот факт, что метаязык объективируется и реально существует только в соответствующей метаречи. Иначе говоря, метаязык, используемый при обсуждении того или иного научного предмета, не может быть оторван от индивида — человека, который, реализуя данный метаязык, производит своеобразную метаречь. Поэтому метаязык посредством метаречи и через метаречь оказывается не только национально и социально обусловленным, но и является несвободным от идей, взглядов, общей методологической позиции пользующихся им ученых-языковедов. Разработка метаязыка языкознания, таким образом,— это методологическая проблема, поскольку сам выбор тех или иных метаязыковых обозначений (терминов) отражает соответствующую методологию.

В области метаязыка мы обнаруживаем, с одной стороны, различные метадиалекты, принятые и развиваемые различными школами и направлениями в языкознании, а с другой — особое явление, заключающееся в быстрой смене метадиалектов, переходе от одного метадиалекта к другому («code-switching»), когда происходит общение между представителями различных направлений [1, с. 87—88]. Особое значение в этой связи приобретает рассмотрение метаязыка как системы единиц, в основе которой лежит соответствующая система понятий. Лингвистические тексты, относящиеся к определенным школам и направлениям в языкознании, со всей очевидностью свидетельствуют о постепенности научного исследования, о многоступенчатом процессе развития той или иной концепции. Каждое следующее понятие формируется на основе предыдущего, как бы вырас-

---

[2] О разграничении функциональных стилей в соответствии с основными функциями языка см., в частности, работы В. В. Виноградова [8—10].

тает из предшествующего опыта. Заметим, что преемственность как процесс накопления достоверных знаний является важным и необходимым фактором развития науки. Наши представления об окружающем мире носят системный характер: отдельные элементы знания в виде комбинаций относительных и абсолютных истин не могут возникнуть «сами по себе», независимо от предшествующего опыта науки. Этим обеспечивается и системный характер понятийной основы научного знания — каждое отдельное понятие получает определенное обоснование как единица соответствующей системы.

Так, например, в русле дескриптивной лингвистики, рассматривающей предмет языкознания как совокупность технических приемов описания, способов расположения элементов в речевой цепи, вполне закономерно возникают такие понятия, как «расположение или аранжировка форм» (arrangement of forms), «распределение» (distribution), «классы взаимозаменяемых форм» (interchangeable classes of forms), «классы позиций» (classes of positions), «непосредственно составляющие» (immediate constituents) и т. д. Все эти термины обозначают понятия, естественно вписывающиеся в теорию «talking about talking», основным методом которой становится метод описания (description), сводящийся к перечислению способов фиксации явлений речи.

Напротив, для отечественного языкознания, в частности, в области синтаксических исследований, характерно стремление охватить сферу взаимодействия языка и речи, проникнуть в сложный процесс функционирования языка как общественного явления. Изучение фактов языка на основе неразрывного единства формы и функции, плана выражения и плана содержания предопределило возникновение и развитие таких понятий, как грамматическая категория и части речи в трудах А. М. Пешковского, Л. В. Щербы, А. И. Смирницкого. В традиции русского языкознания формируется понятие словосочетания, в котором отразилась глубокая внутренняя взаимосвязь языка и речи, обусловившая всю сложность изучения этого явления. В учении В. В. Виноградова разъясняется важность понятия предикации для изучения речевых произведений. Именно на основе этого понятия, соотносящего высказывание с действительностью, осуществляется разграничение словосочетания и предложения, «малого» и «большого» синтаксиса. Центральным в синтаксисе признается понятие коммуникации, сущность которого составляет сообщение или передача посредством языка некоторого мыслительного содержания. В синтаксической теории А. И. Смирницкого возникают понятия внешней и внутренней сторон речи. Языковая единица определяется А. И. Смирницким как двусторонняя единица, имеющая план выражения и план содержания. При выделении членов предложения обязательно учитываются два критерия: содержание синтаксических отношений и тип синтаксической связи. Внимание к звучащей речи позволило обосновать важность интонации (ритмико-интонационной организации предложения) для синтаксического исследования. В теории И. И. Мещанинова определяются взаимоотношения между членами предложения и частями речи с учетом взаимоотношений системы языка и речевой деятельности.

Как можно видеть, конкретные различия в синтаксических теориях отечественных языковедов не нарушают единства общей методологической концепции, которая рассматривает в качестве предмета языкознания естественный человеческий язык. Общность методологии является важнейшим фактором общности понятийной основы исследования при всем различии в определении отдельных понятий и даже «полярности» некоторых теорий (ср. синтаксические концепции Ф. Ф. Фортунатова и А. А. Шахматова). Совершенно ясно, что русское и советское языкознание следует рассматривать именно как систему научного знания, нашедшую отражение в соответствующем метаязыке.

Метаязыковое (научное) общение, основывающееся на представлении о целостности данной науки, предполагает существование общей методологической базы языковедческого исследования. Не случайно ученые, принадлежащие к разным лингвистическим школам, прежде чем присту-

пить к обмену научной информацией, как бы «сверяют» свои метаязыковые системы. Но что же происходит, когда обнаруживается несоответствие основополагающих методологических положений? В этом случае продуктивное научное общение (т. е. такой обмен мнениями между учеными, который реально способствует развитию науки) чрезвычайно осложняется.

Так, попытки создания «новой» универсальной теории языка — трансформационно-генеративной грамматики — приводят к искажению подлинного предмета языкознания: естественный человеческий язык подменяется универсальными правилами, имеющими характер гипотетических конструктов, мыслительными процессами, происходящими в глубинах сознания.

Интересно сопоставить определения некоторых важнейших грамматических понятий (например, в области синтаксиса) в языкознании как науке о естественном языке и трансформационно-генеративной грамматике с целью показать непреодолимый разрыв между ними в понимании самого предмета изучения, а также методов исследования.

Языкознание как наука о естественном языке

«...Синтаксис изучает закономерности тех взаимоотношений, в которые вступают слова в их конкретном грамматическом оформлении в процессе речи» [12, с. 123].

«...Определение конкретной синтаксической функции слов в предложении непременно предполагает учет лексико-фразеологических моментов. Иначе говоря, синтаксис не может отвлечься от конкретности слова как единицы словарного состава. Поэтому и невозможно свести синтаксическое исследование к чисто „формальному" рассмотрению способов сочетания языковых знаков в речевой цепи» [12, с. 138].

Трансформационно-генеративная грамматика

«Целью синтаксического исследования данного языка является построение грамматики, которую можно рассматривать как механизм некоторого рода, порождающий предложения этого языка ...Конечным результатом этих исследований должна явиться теория лингвистической структуры, в которой описательные механизмы конкретных грамматик представлялись бы и изучались абстрактно, без обращения к конкретным языкам» [13, с. 415].

«...знание грамматической структуры не может быть приобретено путем приложения последовательных индуктивных операций ...любого вида, выработанных до сих пор лингвистикой, психологией или философией... Ясно, что в основе овладения языком лежит открытие ребенком того, что с формальной точки зрения представляет собой сложную и абстрактную теорию,— генеративную грамматику своего языка, многие постулаты и принципы которой лишь отдаленно связаны с опытом...» [14].

Совершенно ясно, что трансформационно-генеративная грамматика не является языковедческой теорией, т. к. она далека от решения проблем взаимодействия языка и речи, формы и содержания, устной и письменной форм языка. Основная функция языка — коммуникативная — полностью исключается из рассмотрения создателями так называемой «идеальной лингвистической теории».

Как уже отмечалось, естественный язык как предмет языкознания не может быть сведен лишь к отношениям между элементами системы, т. е. к «релятивному каркасу языка». Вместе с тем такого рода попытки выражаются, например, в стремлении заменить термин «член предложения» (свойственный русской и советской грамматической традиции) термином «синтаксическое отношение». В этом случае обычно ссылаются на модели генеративной грамматики, представляющие глубинную структуру предложения в виде дерева, где каждая вершина указывает на определенное синтаксическое отношение: NP (именная группа), VP (глагольная группа), S (предложение). Исходя из этого построения, отдельные члены предложения определяются как отношения (в математическом смысле) между вершинами дерева. В силу вступает формализованный метаязык, заимствованный из математической логики.

Понятно, что для решения вполне конкретных задач прикладного языкознания использование математических методов (в том или ином объеме)

может оказаться полезным. Однако попытки создания «новой» языковедческой теории на основе методологии других наук, отличных от языкознания как гуманитарной науки, неизбежно приводят к изменению характера самого предмета языковедческого исследования и объединению под термином «лингвистика» (или чаще «современная лингвистика» [6, с. 46]) принципиально различных теорий.

Использование гипотетико-дедуктивного метода в фонологии привело к созданию так называемого «фонологического компонента» порождающей грамматики, в основу которого была положена система «чистых отношений». Причем гипотетические представления были признаны первичными по отношению к реально воспринимаемым объектам. Совершенно ясно, что это направление в фонологии противостоит исследованиям языка, основанным на диалектическом методе, сущность которого составляет единство языка и речи, звука и фонемы, фонетики и фонологии. Сопоставим определения понятия «фонология» в формулировке обоих направлений.

Начнем с изложения, метаязык которого основан на диалектическом методе в языкознании. В этом случае становится необходимым рассмотрение фонемы как общего в отдельном, т. е. признание диалектического единства языка и речи. В соответствии с этим фонология определяется как «раздел языкознания, изучающий звуки речи как средство различения звуковых оболочек (звуковой стороны, выражения) слов и морфем, исследующий семиологическую релевантность и функциональные свойства звуков, звукосочетаний и просодических средств» [3, с. 499]. Термин «фонология» становится, таким образом, необходимым и получает научное обоснование, поскольку под этим названием из всего многообразия вопросов, связанных с изучением звуков речи, выделяется «функциональный» или собственно лингвистический аспект, а именно: каким образом звуки речи, изучаемые с «материальной» или «антропофонической» стороны, функционируют в языке в составе морфем, как они соотносятся с другими звуками, входящими в фонологическую систему данного языка, какие их свойства являются наиболее важными для реализации функции общения и т. д. Особое значение в этой связи приобретает положение о том, что фонология не может рассматриваться как отдельная от фонетики в широком смысле дисциплина.

При гипотетико-дедуктивном подходе к фонологическому исследованию мы обнаруживаем принципиально иную ориентацию. В работах этого направления постоянно фигурирует тезис о том, что фонология должна исходить из дедуктивных гипотез, т. е. из допущений так называемой «гипотетической абстрактной фонологической системы» и «гипотетических звуковых процессов», поскольку звуковой состав языка выступает лишь как внешнее проявление абстрактных закономерностей, недоступных непосредственному наблюдению. Необходимым условием фонологического исследования в рамках порождающей фонологии становится постулирование «воображаемых фонем» и «воображаемых звуковых процессов», которые не извлекаются из реально звучащей речи, а задаются как отвлеченные фонологические правила преобразования абстрактных фонологических структур. Каковы бы ни были конкретные варианты метаязыка данного направления, суть его заключается в том, что первичными признаются так называемые постулативные гипотезы, имеющие дело не с наблюдаемыми фактами, а с воображаемыми фонологическими объектами, которые принципиально не могут наблюдаться в реальном функционировании того или иного языка.

Какие же выводы можно сделать из приведенного материала в плане метаязыкового общения? Очевидно, что научное общение между представителями этих двух направлений, сущность которых заключается в применении полярно противоположных методов в фонологическом исследовании, не может быть продуктивным ввиду различия самих исходных положений. Как следствие этого общеметодологического расхождения можно отметить существенные различия и в метаязыке: термины «абстрактная фонологическая система», «гипотетическая морфологическая структура»,

«постулативные гипотезы», «гипотетические звуковые процессы», «воображаемые фонологические объекты» и др. как бы отгораживают порождающую фонологию от предшествующей традиции развития науки. Понятия и категории науки объективируются в соответствующем метаязыке, поэтому единицы метаязыка фиксируют изменения как в понятийной основе исследования, так и в системе методологических предпосылок автора. В то же время принципиальные расхождения в метаязыке могут рассматриваться как сигнал, а в некоторых случаях и как свидетельство различия основополагающих методологических принципов исследования.

Для языкознания единственной методологией является исследование языка во всем многообразии его речевых воплощений. Открытие в языке семиологического аспекта (чрезвычайно важное само по себе) не может служить основанием для подчинения языкознания семиотике или таким наукам, как логика и математика, с целью придать ему якобы более «теоретический» характер. Подобные попытки обязательно содержат в себе элемент насилия над природой подлинного объекта науки о языке. Поэтому принципиальное значение имеет сохранение общеметодологической основы языковедческого исследования, которая является фактором сохранения целостности данной области научного знания.

Обобщения в языковедческом исследовании (например, понятия «категория», «часть речи» и т. д.) должны обнаруживать вполне реальные факты, лежащие в основе соответствующих понятий. Особенно недопустимым в методологическом плане является произвольное калькирование терминов, принадлежащих к разным наукам, а также к различным «теориям» в языкознании. При этом, как правило, отсутствует анализ того, как соотносятся заимствованные термины, отражающие соответствующую систему понятий и — шире — систему научного мировоззрения, с методологией советского языкознания. Кроме того, в процессе калькирования явно игнорируется данный национальный язык, лежащий в основе соответствующего метаязыка. Так, средствами русского языка калькируются термины, получившие распространение в американской лингвистике логико-семантического направления [15], например, «импликатура дискурса», «фактивная презумпция», «экзистенциональная пресуппозиция», «конвенциональная импликатура», «референтный терм» и др. Понятно, что подобного рода терминологические кальки совершенно не связаны с традицией метаязыка русского и советского языкознания. Кроме того, необходимо учитывать, как соотносятся соответствующие понятия с реальностью естественного языка — какие факты языка и речи стоят за этими наименованиями. Соотношение имени и реального явления оказывается существенным не только для понимания семиологических свойств естественного языка, но и для обоснования знаковых характеристик м е т а я з ы к а языкознания. Ведь то, что не находит выражения в реальных фактах языка и речи, не может быть отнесено к предмету языкознания как науки о естественном языке. Следовательно, и термины, не находящие подтверждения в языковой реальности, т. е. лишенные предметно-материальной основы, также не могут составить м е т а я з ы к а лингвистической науки.

Как неоднократно отмечалось в литературе, «советское языкознание — явление не только географическое. Включая в себя большое разнообразие аспектов и специальных методов исследования, оно в то же время объединяется общими принципами теоретического характера» [16, с. 4]. Специфика языкознания как гуманитарной науки заключается в том, что его предмет — естественный язык — создан обществом и немыслим вне общества: «Попытки оторвать язык от речи, может быть, и удобны для всякого рода абстрактных лингвистических спекуляций, особенно замешанных на формально-математической основе, но они ничего не прибавляют к нашим знаниям о языке...» [16, с. 5].

Целый ряд советских ученых, а также западные языковеды приходят к выводу о том, что создание формализованного метаязыка допустимо лишь в случае, когда налицо имеются очевидные преимущества такой репрезентации языка-объекта. Формализация ради самой формализации

означает сведéние предмета научного изучения к метаязыковым упражнениям. Иначе говоря, метаязык «вытесняет» подлинный объект языкознания, а сами факты и явления языковой действительности полностью исключаются из процесса научного исследования.

Взаимодействие наук на уровне метаязыка не должно приводить к растворению подлинной языковедческой теории, основанной на изучении фактического языкового материала, в формально-математических построениях. Языкознание как гуманитарная наука призвана изучать язык прежде всего в социально-историческом плане. Необходимо помнить, что в случае языкознания особенно важным является сохранение преемственности, не допускающей подмены теоретических основ исследования методологией других наук.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Akhmanova O.* Linguistic terminology. M., 1977.
2. *Akhmanova O.* Concerning the metataxonomy of linguistic science.— In: Linguistique contemporaine. Hommage à Eric Buyssens. Bruxelles, 1970.
3. *Ахманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1968.
4. Функциональный стиль общенаучного языка и методы его исследования. М., 1974.
5. *Ахманова О. С., Гвишиани Н. Б.* О задачах научной текстологии.— В кн.: Вопросы лингвистики и методики преподавания иностранных языков. Вып. V. М., 1981.
6. *Будагов Р. А.* Филология и культура. М., 1980.
7. *Рождественский Ю. В.* Введение в общую филологию. М., 1979.
8. *Виноградов В. В.* Итоги обсуждения вопросов стилистики.— ВЯ, 1955, № 1.
9. *Виноградов В. В.* Язык художественных произведений.— ВЯ, 1954, № 5.
10. *Виноградов В. В.* Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.
11. *Кузьмин В. П.* Место системного подхода в современном научном познании и в марксистской методологии.— ВФ, 1980, № 2.
12. *Ахманова О. С., Микаэлян Г. Б.* Современные синтаксические теории. М., 1963.
13. *Хомский Н.* Синтаксические структуры.— В кн.: Новое в лингвистике. Вып. II. М., 1962, с. 415.
14. *Chomsky N.* Aspects of the theory of syntax. Cambridge (Mass.), 1965, p. 57—58.
15. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. X. М., 1981.
16. *Филин Ф. П.* Об актуальных задачах советского языкознания.— ВЯ, 1981, № 1.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1983

ШАТУНОВСКИЙ И. Б.

СИНТАКСИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННАЯ МНОГОЗНАЧНОСТЬ

(«имя номинального класса → имя естественного класса»)

Исследования последних десятилетий показали, что имена и — шире — именующие выражения делятся на два принципиально различных класса. О важности этого деления свидетельствует уже тот факт, что к нему независимо друг от друга пришли логики С. Крипке [1, 2], Х. Путнэм [3, 4], К. Доннеллан [5, 6] и лингвисты Н. Д. Арутюнова [7], О. Г. Ревзина [8], Д. Н. Шмелев [9], Л. Л. Ким [10]. То, что речь идет об одном объективном противопоставлении, несколько затушевывается различием применяемых для его фиксации терминов: «жесткие и нежесткие десигнаторы» (С. Крипке), «имена естественных классов» и «имена номинальных классов» (Х. Путнэм, С. Шварц [11]), «референтные дескрипции» и «атрибутивные дескрипции» (К. Доннеллан), «идентифицирующие существительные» и «предикатные существительные» (Н. Д. Арутюнова), «имена поля вещи» и «имена поля деятеля» (О. Г. Ревзина), «номинации классов первичного членения» и «номинации классов вторичного членения» (Л. Л. Ким), «системно связанные имена» и «денотативы» (Д. Н. Шмелев) и т. д.

Нежесткие десигнаторы (имена номинальных классов, предикатные существительные) обозначают объект так, как постулируется традиционной теорией референции (основы которой заложены Г. Фреге [12] и Б. Расселом [13]). Они имеют смысл (сигнификат, интенсионал), представляющий собой дескрипцию, четко очерченную совокупность ассоциированных с именем обязательных признаков. Число этих признаков ограниченно, смысл имен номинальных классов, как и предикатов вообще, характеризуется «стремлением к элементарности, моносемности» [7, с. 342]. Значение имен номинальных классов первично по отношению к их референции: смысл имени определяет его экстенсионал. Объект является денотатом такого имени, если и только если он имеет характеристики, заключающиеся в смысле (сигнификате, интенсионале) имени. Так, имя *холостяк*, смысл которого образован признаком «не состоит и не состоял в браке», может быть приложено к мужчине только в том случае, если он не состоит и не состоял в браке. Употребляя имя номинального класса, «мы имеем в уме некоторую характеристику или дескрипцию и определяем любой предмет, который удовлетворяет дескрипции, как имеющий право на имя» [11, с. 38]. Иметь признак, запечатленный в сигнификате имени номинального класса, и значит входить в данный номинальный класс. *Быть наглым* и значит входить в номинальный класс наглецов, быть наглецом, *Иметь красный цвет* и значит входить в номинальный класс красных предметов, быть красным предметом.

Смысл имен номинальных классов (как и предикатов вообще) ориентирован не на мир, а на познающего субъекта [7, с. 343], составляющие его признаки оторваны от денотата абстрагирующей деятельностью мышления [7, с. 337]. Поэтому значение имен номинальных классов служит источником аналитических истин (*Все холостяки неженаты*).

Жесткий десигнатор — это «терм, который обозначает один и тот же объект во всех возможных мирах» [1, с. 78]. Жесткие десигнаторы лишены смысла (сигнификата, интенсионала и т. п.). Это не значит, что с жестким десигнатором не ассоциируются какие-то признаки

объекта (дескрипции). Но эти признаки не определяют его референцию (хотя могут, по выражению Крипке, «фиксировать» ее). Для иллюстрации этих положений используем несколько видоизмененный пример Крипке [2, с. 16—17]. Две игральные кости, А и В, каждая из которых имеет по 6 граней с нанесенными на них цифрами — от 1 до 6, брошены одновременно. 36 возможных «состояний» этих костей после броска и есть 36 «возможных миров». Пусть на кости А выпало 5, а на кости В — 6. Мы можем теперь «фиксировать референцию» терма А посредством дескрипции «та кость, на которой выпало 5». Но эта дескрипция, помогая установить референцию терма А, не является его смыслом: она не определяет, что значит быть костью А. Ведь результаты броска могли оказаться иными, например, на обеих костях могло оказаться 5. Но это не значит, что в этом случае у нас было бы две кости А и ни одной кости В. Терм А является жестким десигнатором, он обозначает один и тот же объект во всех возможных мирах, т. е. при любой выпавшей цифре (а дескрипция «кость, на которой выпало 5» — это нежесткий десигнатор).

Типичные жесткие десигнаторы — это имена собственные (как А и В выше). С именем собственным *Цицерон* ассоциирован ряд дескрипций, таких, как «автор таких-то сочинений» и т. д. Однако Цицерон остался бы Цицероном, даже если бы он не написал этих произведений. Может быть, мы ошибались, и Кассий написал эти работы. Это, однако, не дало бы основания утверждать, что Цицерон — это Кассий [1, с. 93]. Имя собственное «преследует» объект, как бы ни менялись его признаки.

Имена естественных классов (*лимон*, *тигр*, *вода*, *золото*, *береза*, *человек* и т. п.) подобны именам собственным и являются жесткими десигнаторами. Они лишены смысла (в рассмотренном выше понимании этого термина — как совокупности обязательных, определяющих референцию имени семантических признаков) и «жестко» обозначают род вещей, созданный природой. Ассоциируемые с именами естественных классов признаки в большинстве своем не обязательны в самом «сильном» смысле этого слова: их имеют не все члены денотируемого именем класса. Хотя полосатость — яркий признак тигра, отсутствие полосок у тигра-альбиноса не приводит к его переименованию (но нет ни одного холостяка, который был бы женат). Некоторые из ассоциируемых с именем естественного класса признаков составляют сущность обозначенного именем рода вещей, например: *Вода есть H_2O*, *Золото — элемент с атомным весом 79* и т. п. Эти признаки обязательны в рассмотренном выше понимании этого слова. Однако они не обязательны в логическом смысле. Можно представить, что ученые ошиблись и вода на самом деле не H_2O. Но и в этой воображаемой ситуации мы продолжали бы пользоваться тем же именем. (Принципиально иное положение с именами номинальных классов. Невозможно представить себе круглый квадрат, и нельзя даже мыслить наглеца, который не был бы наглым). Поскольку не исключается логическая возможность ошибки, суждения типа *Вода есть H_2O*, *Кошка — животное* и т. п. информативны и не аналитичны. Эти суждения — результат познания природы, а не языка. Не требуется эмпирического исследования, чтобы убедиться в том, что холостяки не женаты, но такое исследование было необходимо для того, чтобы узнать, что вода состоит из водорода и кислорода. Значение жестких десигнаторов (идентифицирующих слов), таким образом, не определяет их референцию, а, напротив, «представляет собой рикошет от их референции» [14, с. 186]. Не потому вода является референтом имени *вода*, что она есть H_2O, но потому с именем *вода* ассоциирован признак H_2O, что оно обозначает воду — субстанцию, молекула которой, как показали эмпирические исследования, состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Если «у предикатных номинаций (нежестких десигнаторов.— *Ш. И.*) значение определяет и регулирует их употребление, их приложимость к тем или другим объектам», то у жестких десигнаторов, «идентифицирующих имен, скорее напротив, употребление (референция) определяет и формирует их значение» [15]. Значение идентифицирующих имен есть отражение в человеческом сознании обозначаемого именем предмета (при этом часто разное в разных «зеркалах»).

Это значение «ориентировано на денотат и создается общими чертами класса денотатов» [7, с. 332], оно сводится к тому, что А. А. Уфимцева назвала «идеальным денотатом» — типизированным представлением предмета [14, с. 30], а Путнэм — «стереотипом класса» [3, с. 113].«...Идентифицирующие имена,— отмечает Н. Д. Арутюнова,— в известном смысле соответствуют образу предмета или стереотипу класса. Когда мы слышим такие имена, как *ель*, *медведь*, *песок*, *дерево*, *еловая шишка*, *пальма*, *крокодил* и др., перед нашим мысленным взором прежде всего встает внешний облик, картинка, изображающая очень обобщенный образчик соответствующего класса естественных или иных объектов» [14, с. 183]. Значение идентифицирующих имен диффузно, не членится четко на семантические компоненты, состоит из неопределенного и в принципе неограниченного количества разнородных признаков — «мазков в картине» [7, с. 335]. Число этих признаков в принципе так же безгранично, как бесконечно число свойств предмета, обозначенного именем «жестко», как целое. И как бы подробно мы ни перечисляли эти признаки, мы не сможем уйти от (хотя бы подразумеваемого) «и так далее». Объем знаний, связанных с идентифицирующими именами, зависит от глубины познания соответствующего класса реалий, а также от социального статуса, профессии и культурного уровня говорящих. «Один адресат идет от имени к номинату через одни идентифицирующие признаки, другой — через иные, важно лишь, чтобы оба пути вели к одному и тому же предмету действительности, сколь бы ни различалась информированность о нем говорящих» [14, с. 184].

Семантическое противопоставление нежестких и жестких десигнаторов связано с различием их коммуникативных функций. Первые способны быть семантическими предикатами (сообщать о признаках предмета), вторые служат исключительно для указания на предмет или класс предметов (денотации, референции). Попадая в позицию сказуемого, жесткие десигнаторы — имена естественных классов формируют так называемый таксономический (классифицирующий) предикат, принципиально отличный от предиката семантического (характеризующего). Это отличие, отмечает Н. Д. Арутюнова, заключается в том, что таксономический предикат «не утрачивает предметности. Конкретное таксономическое предложение содержит сообщение о вхождении объекта в некоторый класс, его идентичности одному из членов множества, ср. *Этот цветок незабудка*» [14, с. 198]. Говоря: *Это — золото!*, мы идентифицируем имеющийся у нас образчик с естественным родом, узнаем в нем одно из проявлений рассыпанного в природе вещества, но не сообщаем о каких-либо его признаках ($\neq$ **Это — желтое*, *дорогое* и т. п.).

Значительное число имен существительных коммуникативно подвижно, способно выполнять как функцию денотации, так и функцию предикации [7, гл. 6]. При этом передвижение имени из позиции предиката в позицию денотирующего терма или наоборот, как правило, сопровождается и более или менее резким преобразованием его значения, приспосабливающегося к выполнению новой функции. В результате семантическая структура слова усложняется, развивается синтаксически обусловленная многозначность. Один из видов такой многозначности описан В. В. Виноградовым [16]. Этот вид многозначности возникает в результате развития у слова, первично являвшегося жестким десигнатором, четкого предикатного типа значения (через этап метафорического «извлечения» одного из признаков денотата). Это значение В. В. Виноградов назвал синтаксически обусловленным (поскольку само его возникновение обусловлено постановкой имени в несвойственную ему позицию предиката), или синтаксически ограниченным (поскольку имя в таком значении функционирует — без особых показателей — в позиции предиката). Так, слово *осел* в одном значении является именем естественного класса ослов — животных, имеющих диффузное множество общих признаков и совсем не обязательно глупых и упрямых, в другом — именем номинального класса ослов, члены которого не имеют других общих признаков, кроме глупости и упрямства (но эти — обязательно). Поскольку этот тип синтаксически обусловленного значения хорошо изучен, наше внимание будет сосредоточено на явле-

нии обратного порядка: появлении у имени номинального класса вторичного значения имени естественного класса. Мысль о возможности такой многозначности находим у Н. Д. Арутюновой, выделяющей в особую группу «имена функциональные, реляционные и окказиональные, пригодные к выполнению как идентифицирующей, так и предикатной роли в высказывании, а следовательно, обладающие как более обобщенным, так и более конкретным, ориентированным на денотат или класс денотатов, значением» [7, с. 346].

Приведем пример такой многозначности. Что такое *ферзь*? С одной стороны, значение слова *ферзь* определяется через специфические функции этой фигуры в шахматной игре — это фигура, которая ходит так-то и так-то. В таком понимании это имя номинального класса. Ферзем в этом понимании может быть любой предмет, который ходит так-то и так-то: пуговица, катушка, камешек, человек (в «живых шахматах») и т. д. Если пешка дошла до 8-й горизонтали, она превращается в ферзя, не претерпевая никаких внешних изменений: она просто приобретает признак, определяющий экстенсионал номинального класса ферзей — право ходить так-то и так-то. Применительно к такому употреблению полностью справедливы слова Л. Витгенштейна: «Чтобы слово *ферзь* было значимо, надо знать правила шахматной игры» [17]. Но обычно роль ферзя выполняет ферзь — особого рода фигура, характеризующаяся определенным относительным размером, формой, цветом и т. п. И эти признаки — туманны, многочисленны, необязательны. Это *ферзь* как жесткий десигнатор. Чтобы понять слово *ферзь* в этом значении, вовсе не нужно знать правила шахматной игры и вообще какие-либо правила: надо только увидеть ферзя. Значение слова *ферзь* как имени номинального класса можно исчерпывающе описать в стиле компонентного анализа (что и делается в учебниках шахматной игры); значение жесткого десигнатора *ферзь* невозможно описать таким образом, но его легко объяснить остенсивно, указав пальцем на соответствующую фигуру и произнеся: «Это ферзь».

Появление у имени номинального класса вторичного значения денотативного типа обусловлено прежде всего экстралингвистическим фактором, а именно тем, является ли денотативный класс, на который «вышло» слово, естественным классом и в какой степени, т. е. имеют ли объекты, входящие в данный номинальный класс, и другие общие признаки помимо тех, которые заложены в сигнификате имени. Если такие признаки имеются, то они неминуемо втягиваются в семантику имени, происходит то, что Н. Д. Арутюнова назвала «обогащение признаками денотата» [7, с. 337]. Так, подлецы не имеют никаких общих признаков — особой формы, знаков отличия, физических характеристик и т. п.,— которые бы отличали их от других людей, кроме подлости. Поэтому это чисто номинальный класс. Имена же *доктор*, *школьник*, *солдат*, *милиционер*, *офицер*, *учитель* и т. п. обозначают такие классы, члены которых, помимо функции в обществе, имеют и другие общие характеристики, как-то: определенная форма, знаки отличия, физические и психические качества и т.д.: «По росту и спортивным плечам мы легко отличим в толпе баскетболиста. Моряка — по его знаменитой походке» (В. Недошивин, Ищу личность). Сквозь смысл таких имен начинает туманно просвечивать образ «естественного класса», состоящий из множества разнородных, диффузных, необязательных признаков. Так, школьник — это обычно ребенок, ходит с ранцем или портфелем, шаловливый и т. п.

Проникновение в семантику имени номинального класса признаков денотата ведет, однако, не к размыванию и затуханию его смысла, но к синтаксическому размежеванию значений сигнификативного и денотативного типа. Причины этого вполне понятны. Рассмотренные имена активно употребляются в функции предиката; содержание же предиката, как отмечает Н. Д. Арутюнова, «центробежно. Оно стремится к отрыву от денотата», из него «выталкиваются» все диффузные, необязательные признаки и закрепляется отточенный, обязательный смысл [7, с. 337]. Напротив, указание на предмет, денотация легче осуществляется через «комплексный, недискретный образ» [14, с. 183], поэтому признаки класса денотатов ши-

роко вливаются в семантику денотирующего (референтного) имени. Таким образом, функционирование в различных коммуникативных позициях разрывает семантику таких слов на синтаксически обусловленные значения. В предикатной позиции это имя номинального класса, с его четким, строго определенным смыслом, в денотативной — имя естественного класса, с его образной, нерасчлененной семантикой. Например: *Куда это ферзь запропастился*? (денотация, имя «естественного класса»). *Ну ладно, эта пуговица будет у нас ферзем* (предикация, имя номинального класса). Высказывание *Он/она — офицер* означает «он/она служит в армии, относится к командному составу», и ничего более. В позиции терма при предикате, выполняя функции денотации, слово *офицер* является уже именем «естественного класса». В предложении *В комнату вошел высокий офицер* слово *офицер* = «мужчина, одетый в офицерскую форму, имеющий определенные знаки отличия и т. д.». Говоря: *Спроси вон у того офицера/солдата/милиционера, как пройти к...*, мы не задаемся вопросом, действительно ли субъект, на которого мы указываем, служит в армии или нет. Важно, что он одет в определенную форму. Для успеха референции достаточно соответствия объекта образу типичного представителя класса. Мы опираемся здесь на совокупность внешних, необязательных признаков, на образ типичного офицера.

По мере развития значения «естественного класса» имя (в данном значении) все более уподобляется жесткому десигнатору. При употреблении такого имени предполагается, что обозначаемый им род (класс) имеет некую скрытую от прямого наблюдения «сущность». Все наблюдаемые признаки денотируемого именем класса становятся факультативными, необязательными, в том числе и тот, который создавал номинальный класс. Они помогают «фиксировать» референцию имени, но не определяют ее. Ср.: [Кубанцев:] *А я, господин прапорщик, был ротмистр... Собственно, что значит — был! Офицер всегда остается офицером, не та́к ли, господин прапорщик*? (В. Кочетов, Угол падения). Противоречие *был* и *остается* отражает здесь противопоставление номинального и естественного значений в рамках одного имени. В одном смысле Кубанцев не офицер (потерял признак, создающий номинальный класс «служба в армии»), в другом — офицер (сохранил некую «офицерскую сущность»). Ср. также *Солдат всегда солдат*.

Как видно из приведенных выше примеров, сформировавшееся в результате обогащения признаками денотата имя естественного класса может быть затем перенесено во вторичную для него позицию сказуемого, где оно дает уже не характеризующий, а таксономический (классифицирующий) предикат. Поскольку в этом случае синтаксическая позиция уже не может служить различителем «номинального» и «естественного» значений имени, для актуализации значения естественного класса часто добавляется слово *типичный*. Фраза *Она учительница* = «Она преподает в школе» и ложна, если это не так. Высказывание же *Она типичная учительница* не только не сообщает о том, что «она» преподает в школе, но даже не предполагает этого в качестве пресуппозиции: оно является истинным и по отношению к женщине, которая ни дня не работала в школе, но соответствует сложившемуся у говорящих образу «естественного класса» учителей (скажем, она сухая, педантичная, в очках, говорит нравоучительным голосом и т. д.). Например, у Булгакова Иван Бездомный обличает профессионального поэта Рюхина: «Типичный кулачок по своей психологии...» (М. Булгаков, Мастер и Маргарита). Вообще инвариантный смысл таких предложений сводится к идентификации субъекта с типичным представителем класса. Какие признаки при этом имеет в виду говорящий, остается не вполне ясным. Высказывание *Он типичный офицер* столь же неопределенно, как *Он типичный англичанин*, понимание их может колебаться весьма сильно в зависимости от того, как слушатель представляет себе «типичного офицера» или «типичного англичанина». Возможность присоединения к предикату прилагательного *типичный* является хорошим тестом, позволяющим определить, имеет ли имя вторичное значение естественного класса. Ср. возможность сочетаний *типичный студент/пролета-*

рий/крестьянин/интеллигент и т. п. и странность (если не невозможность) **типичный новатор/волюнтарист/циник/оптимист/поклонник/круг/подарок/автор* и т. п. («Исконные» имена естественных классов, которые и без актуализаторов обозначают «типичный предмет», сочетаются с прилагательным *типичный* в случае необходимости усиления, подчеркивания утверждения, например, когда кто-то ошибся в идентификации: *Да что ты, какая же это синица? Это типичный воробей!*).

Актуализатором значения естественного класса может быть и прилагательное *настоящий*, интонационная характеристика (и семантика) которого меняется в зависимости от того, сочетается ли оно с именем, имеющим значение (хотя бы вторичное) естественного класса или с именем чисто номинального класса. В сочетании с именем естественного класса *настоящий* может иметь 2 значения: 1) «не искусственный, не сделанный или нарисованный, не игрушечный»: *Это н а с т о я́ щ и й офицер /милиционер/волк/шелк* и т. д. 2) «идеальный образчик класса, такой, каким должен быть предмет, принадлежащий к данному классу»: *Он н а с т о я́ щ и й офицер/мужчина/друг* и т. д. При употреблении этого прилагательного с именами чисто номинальных классов меняется интонационный рисунок фразы (невозможно **Он н а с т о я́ щ и й герой/хам/нахал...*), логическое ударение падает на имя (*Он настоящий г е р о́ й/х а́ м /г е́ н и й*), которое становится ремой, что свидетельствует о полной смене значения: *настоящий* по функции приближается к частице и сигнализирует о модальных пресуппозициях (≈ «*не сомневайся в этом, не думай, что иначе*» [18]).

Имеются и другие критерии, которые позволяют отличить чистые имена номинальных классов от тех, что имеют «естественную подкладку». Так, последние, подобно исконным именам естественных классов, могут сочетаться с дейктическим субъектом *это*, формируя таксономический предикат. Можно показать на картинку или на человека и сообщить ребенку: *Это солдат/школьник/пионер/милиционер/рабочий* и т. д. Но вряд ли допустимо: **Это нахал/циник* и т. д.

О том, что «номинальное» и «естественное» значения действительно являются разными значениями одного имени, свидетельствует несовместимость их дистрибуций. Возможно *Он прекрасный учитель* (= «Он прекрасно учит», определение к сигнификату имени номинального класса), возможно *Он типичный учитель* (определение актуализирует значение естественного класса), но нельзя **Он типичный прекрасный учитель*, **Он прекрасный типичный учитель*. Аналогично: *Он хороший офицер* (имя номинального класса), *Он настоящий офицер* (имя естественного класса), но нельзя **Он настоящий хороший офицер*, **Он хороший настоящий офицер*.

Подчеркнем, что не только признак «пол», но даже признак «человек» не входит в смысл имени номинального класса и синтаксически обусловлен денотативной позицией, являясь частью образа естественного класса. Врач (солдат, учитель и т. д.) — о б ы ч н о человек, поэтому этот признак включается в семантику денотирующего имени в процессе обогащения признаками денотата. Говоря: *Врач принимает больных*, мы представляем ч е л о в е к а в белом халате и т. д. Но признак этот необязателен. Имена *подлец*, *брат*, *приятель*, *жертва*, *вредитель* и т. п., отмечает О. П. Ермакова, могут обозначать любой объект, обладающий соответствующими признаками, т. е. не только лицо, но и животное или неодушевленный предмет (*Этот кот — злюка*) [19]. Имя *врач* (*солдат*, *учитель* и т. п.) может быть приложено к машине, животному, марсианину — и в этом никто не видит противоречия или переносного употребления слова. В романе К. Чапека «Война с саламандрами» действуют саламандры — поэты, ученые, солдаты и т. д. В сказочной лесной школе медведь — учитель, заяц — ученик: *И когда, мальчишка, выйдешь собирать грибы в лесу — зайца-школьника увидишь и ученую лису* (Н. Грибачев, Лесная сказка). Ср. также частые заголовки статей в газетах: «Электронный врач ставит диагноз», «Скоро ли будет создан автоматический переводчик?» и т. п. Варьирование любых признаков объекта не препятствует приложению к нему имени номинального класса, если он имеет признак, составляющий смысл номинального имени.

Из сказанного следует, что делить имена номинальных классов на имена лиц, вещей и т. п. можно лишь постольку, поскольку они имеют вторичное значение естественного класса. Точнее было бы говорить, что одни имена номинальных классов о б ы ч н о обозначают лицо (*учитель, изобретатель, врач, солдат, король, школьник* и т. д.), другие же чаще прилагаются к вещам (*подарок, ноша, выигрыш, находка, премия* и т. д.). Не свойствами языка, а устройством общества обусловлено то, что людей не дарят, а в принципе человек может быть и подарком, и находкой, и покупкой. Имена номинальных классов подобны в этом отношении чистым предикатам, одни из которых обозначают действия и признаки, свойственные людям (*думать, желать, мудрый*), другие — животным (*бодаться, лягаться, мычать, ржать*), третьи — птицам (*чирикать*), четвертые — веществам (*ржаветь*) и т. д. Тем не менее, любой предикат может быть приложен к любому предмету, обнаруживающему составляющее его смысл свойство.

Какие же имена номинальных классов развивают вторичное значение денотативного типа? Выше отмечалось, что это зависит главным образом от того, имеют ли члены номинального класса и другие общие признаки, помимо тех, на основании которых был выделен данный класс, и насколько эти признаки рельефны. Например, смысл номинального имени *студент* — «учащийся высшего учебного заведения или техникума», и ничего более. Но обычно, хотя и необязательно, студенты — это м о л о д ы е люди, и в ситуации вуза мы часто отличаем студента от преподавателя именно по этому «естественному» признаку. Этот и другие (беззаботность, веселость и т. п.) признаки начинают ассоциироваться с именем, создавая образ «типичного студента».

Наиболее благоприятный материал для развития денотативных значений представляют имена профессий и, шире, социальных функций, социальных статусов вообще (*доктор, актер, школьник, рабочий, крестьянин, буржуй, дворянин, интеллигент, король, граф, директор, солдат, генерал* и т. п.). Это естественно вытекает из того факта, что выполнение той или иной социальной функции часто предполагает (а иногда и формирует) те или иные физические и психические особенности [14, с. 210].

Другое важное условие возникновения у имени вторичного значения естественного класса в результате обогащения признаками денотата — общеизвестность денотата и, следовательно, его признаков. Ср. наличие в коллективном языковом сознании образов типичного рабочего, учителя, врача, ученого, боксера, но не шерстобита, кукурузовода, газосварщика, паркетчика, дзюдоиста и т. п.

Появление у имени вторичного значения (или хотя бы оттенка значения) денотативного типа, в свою очередь, влияет на его коммуникативные возможности. Так, имена номинальных классов с неактуальным значением определенную и неопределенную референцию в чистом виде могут приобретать только в той мере, в какой они перестают быть именами номинальных классов и получают вторичное значение жесткого десигнатора — имени индивидного объекта или естественного класса. Например, неопределенную референцию имеет слово *ученик* в следующем контексте: *Что случилось? Что за крик? — Это тонет ученик!* (С. Михалков, Дядя Стёпа). Очевидно, однако, что смысл слова *ученик* «учащийся начального или среднего специального учебного заведения» [20] в данном случае не имеет большого значения, ровно с таким же успехом можно было кричать: *Мальчик тонет!* Имя *ученик* значит здесь «мальчик школьного возраста». Вероятно, он был в форме, с портфелем. Замена слова *ученик* именем номинального класса, за которым не встает образ «естественного класса», делает предложение странным или даже аномальным: **Это тонет фаталист/волюнтарист/герой/хулиган/ценитель живописи* и т. п.

Впрочем, здесь мы уже переходим от синтаксически обусловленного значения к семантически обусловленной функции, что составляет особую тему.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Kripke S.* Identity and necessity.— In: Naming, necessity, and natural kinds. Ithaca — London, 1977.

2. *Kripke S.* Naming and necessity. Oxford, 1980.
3. *Putnam H.* Is semantics possible? — In: Naming, necessity, and natural kinds.
4. *Putnam H.* Meaning and reference.— In: Naming, necessity, and natural kinds.
5. *Donnellan K.* Reference and definite descriptions.— In: Naming, necessity, and natural kinds.
6. *Donnellan K.* Speaking of nothing.— In: Naming, necessity, and natural kinds.
7. *Арутюнова Н. Д.* Предложение и его смысл. М., 1976.
8. Ревзина О. Г. Структура словообразовательных полей в славянских языках. М., 1969.
9. *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). М., 1973.
10. *Ким Л. Л.* Особенности функционирования прилагательных в современном русском языке (качественные прилагательные в словосочетаниях с конкретными существительными).— Научн. тр. Ташкентского гос. ун-та, 1976, № 501, ч. I.
11. *Schwartz S. P.* Introduction.— In: Naming, necessity, and natural kinds.
12. *Frege G.* On sense and reference.— In: Translations from the philosophical writings of Gottlob Frege. Oxford, 1952.
13. *Russell B.* Descriptions.— In: Semantics and the philosophy of language. Urbana, 1952.
14. Аспекты семантических исследований. М., 1980.
15. Языковая номинация (Общие вопросы). М., 1977, с. 206.
16. *Виноградов В. В.* Основные типы лексических значений слова.— В кн.: *Виноградов В. В.* Лексикология и лексикография. М., 1977.
17. *Арутюнова Н. Д.* Логические теории значения.— В кн.: Принципы и методы семантических исследований. М., 1976, с. 110.
18. *Вежбицка А.* Наброски к русско-семантическому словарю.— Научно-техническая информация, 1968, сер. 2, № 12.
19. *Ермакова О. П.* Проблемы лексической семантики производных и членимых слов: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1977, с. 218.
20. Словарь русского языка в четырех томах. М., 1957—1961.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1983

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

КОНДРАШОВ Н. А.

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ В. Н. ТАТИЩЕВА

Общелингвистические воззрения и конкретные суждения В. Н. Татищева (1686—1750) о перспективах развития русского литературного языка в полном объеме еще не подвергались исследованию. Отчасти это вызвано естественным стремлением ученых гуманитарного профиля выяснить другие стороны научных интересов первого нашего историка-энциклопедиста — собственно исторические, географические, экономические, юридические и др. Вторая причина заключается в неблагоприятных внешних обстоятельствах, вследствие которых важнейшие труды В. Н. Татищева были опубликованы только после его кончины, и многие работы, особенно в области русского языкознания, до сих пор хранятся в архивах, а содержащиеся в них данные не введены в научный оборот.

Между тем В. Н. Татищеву принадлежит несомненный приоритет в постановке и посильном решении ряда общеязыковедческих проблем, к которым, в частности, относятся: 1) трактовка языка как средства общения; 2) обоснование тезиса о связи истории языка с историей его носителей; 3) понимание важности изучения и классификации языков многочисленных народов России; 4) предвосхищение фундаментальных идей генетического родства языков и принципов сравнительно-исторического языкознания; 5) выдвижение тезиса о языковых контактах как следствии исторического взаимодействия соответствующих этнических групп; 6) интересные и для нашего времени соображения о роли и происхождении письма и письменности, в частности, у славянских народов [1].

Будучи активным сподвижником Петра I и одним из наиболее образованных людей своего времени, В. Н. Татищев большое внимание уделял анализу состояния русского литературного языка первой половины XVIII в. и развивал мысли, которые по прошествии двух с половиной столетий представляются вполне обоснованными и разумными. Некоторые его идеи были развиты и нашли воплощение в языковедческой деятельности В. К. Тредиаковского и М. В. Ломоносова. Отметим прежде всего: 1) борьбу за самобытность русского литературного языка; 2) стремление размежевать сферы употребления церковнославянского и собственно русского языков; 3) постановку проблем упорядочения русского литературного языка на различных уровнях: а) предложения по реформе русской орфографии; б) борьбу с мертвыми и обветшалыми грамматическими категориями; в) лексикографические разыскания; 4) суждения о взаимодействии литературного языка и русской разговорной речи; 5) анализ условий и факторов заимствования иноязычных лексических элементов и рационалистический подход к их оценке в системе русского литературного языка; 6) глубокий интерес к истории русского языка, нашедший отражение в обогащении источниковедческой базы, анализе языка ряда древнерусских памятников и этимологических разысканиях в области древнерусских слов [2].

Приступив около 1727 г. к работе над «Историей Российской» [3, с. 6], В. Н. Татищев непосредственно занялся вопросом о сущности языка и его роли в жизни древних и современных обществ. Татищев выделяет коммуникативную функцию языка. Он видит в языке основное средство общения: язык служит, чтобы «другие народы разуметь и им наше мнение объявить могли» [4, с. 91]. Отсутствие языка, по мнению Татищева, напо-

минает младенца, который «без речения другим и ближним себе своего мнения и желания изобразить и других разуметь» не может [4, с. 70]. Выделение человека из мира животных обусловлено именно возникновением «речения», языка, «которым мы пред протчими животными преимуществовать не пщуем (полагаем,— *К. Н.*), в недостатке бо речения ни совершен, ни доволен, следственно, спокоен быть человек не может» [4, с. 89].

В связи с развитием языков Татищев выступает против библейской легенды и высказывает смелые для своего времени антиклерикальные суждения: «Сие же когда тако разсудить, что все народы, колико их разных званий было и есть, по уверению Моисееву, от единого Ноя и его сынов произошли, убо все равны. Но чтоб можно сказать кто от которого сына пошел, оное весьма сумнительно, ибо чрез так много 1000 лет народы преходя мешались, иногда пленниками и покоренными себе размножались, иногда пленением и обладанием от других язык свой переменить и оставить принуждены были, следственно, по языку за иной народ, нежели подлинно суть, почитаются» [5, с. 313]. И в другом месте: «Сколько и которые языки первые при столпотворении были, оное... ныне чрез неколико 1000 лет и за пагубление многих древних книг нам подлинно неизвестно» [4, с. 95]. Поместив из осторожности богословие среди «нужных» наук (наряду с грамматикой, медициной, экономией, логикой и правом), Татищев не удерживается от отрицательного отношения к церкви (правда, со ссылкой на католицизм): «Чтоб народ в темноте неведения содержать, обоих вымысел един, ибо папы, кроме латинского языка, книг законных печатать и, кроме духовных (и то с тяжкою присягою), богословии учить не допущают» [4, с. 100].

Татищев ясно осознавал важность языковедческих сведений и вообще владения иностранными языками при изучении истории России. Он сам владел польским, немецким, французским, шведским и классическими языками. Татищев выдвигает целую программу привлечения иностранных источников для освещения исторического развития страны. По его мнению, историку необходимо знать «о имяни, какого оное языка, что значит и от какой причины произошло. К тому ж надлежит знать, какой народ в том пределе издревле обитал, как далеко границы в которое время распростирались, кто владетели были, когда и каким случаем к России приобсчено. На сие требовалось обстоятельной руской древней истории, а за недостатоком к тому на руском языке необходимо нуждно от иностранных и едва не всех знатных языков, яко из Азии арапского, турецкого, персидского, татарского и калмыцкого, потому что сии народы в древние времена многие с Россиею и принадлежасчим к ней пределом и народов дела их, достаточные известии имея, описали, а из европских греческих, латинского, венгерского, немецкого, шветского и сарматского или финского языков книги весьма нуждны были» [5, с. 89].

В духе петровских реформ Татищев усматривал в изучении иностранных языков и сугубо практическое значение, так как на западноевропейских языках представлена важнейшая научная литература. Общественно-политическое значение овладения иностранными языками не раз подчеркивалось Татищевым: «еже всякому шляхтичу надобно думать какой-либо знатной чин достать и потом или самому для услуги государственной в чужие краи ехать, или в России иметь с иноязычными обхождение. И тако ему необходимо нуждно другой европейской язык знать» [4, с. 101].

В. Н. Татищев был первым русским ученым, обосновавшим тезис о связи истории языка с историей говорящего на этом языке народа, он первым указал на языки как памятники истории народов. По мнению ученого, вопросы исторического развития и происхождения народов лучше всего решать, опираясь именно на языковые данные: «Что оной издатель о произшествии народов тщился доказывать языками, оное есть междо всеми наилучший способ, а особливо в случае недостатка дееписаней» [6, с. 405]. В связи с этим он считал необходимым определение генетической близости и родства языков: «Наипаче всего нуждно каждого народа язык знать, дабы чрез то знать, коего они отродья суть» [7, с. 94].

Самыми древними источниками для истории, по мнению Татищева, являются сохранившиеся предания и сказания различных народов, возникшие задолго до появления письменности. В этих преданиях содержатся указания на прежние места обитания, причины и пути переселения народов. Языки помогают раскрыть смысл и этническую принадлежность топонимических названий: «... от оных сарматских (угро-финских.— *К. Н.*) языков, у которых преданиями из древности где прежния их обиталища были, причины, для чего из оных переходили, хранятся. Не меньше же когда звание городов, рек, озер их языка в тех местах остались, то наипаче оное утверждается» [4, с. 103]. В этих суждениях Татищев непосредственно опирается на мысли Г. В. Лейбница о значении данных «географии земли».

Татищев связывал проблему языковой изменчивости с процессами этнических взаимодействий, языковых контактов, с расселением племен и другими историческими фактами. Об этом свидетельствуют такие его высказывания: «Римская великая возрастшая власть и сила так язык латинский распространила, что от самого западного окиана до Германии, т. е. Португалиа, Испаниа, Франциа, Италиа не иной, как латинский язык употребляли» [5, с. 343]. Отмечает он и влияние языка побежденного народа на язык победителя: «Когда который народ, пришед, чие-либо владение силою овладел и долго в тех местах обитал, то хотя тот народ в своем подданстве имели, многих из оных своим языком говорить принудили, но и сами многие слова от тех обладанных в свой собственный язык употребили, а старые свои слова оставили» [4, с. 96]. Говоря о языке покоренных римлянами народов, Татищев утверждал, что их язык так испортился, что «нимало первому не подобен, и сей не иначе, как смешенный назвать должно» [4, с. 97].

Особенно интересны его рассуждения о сходстве и отличии славянских языков: «Славяне же, мню, в глубокой древности живучи, по разным и весьма отдаленным местам и с разными языки сообсчествуя, в языке уже разность немалую имели, как древнейшие письма всех оных могут доказательством быть» [5, с. 342]. Применительно к русскому языку Татищев отмечал диалектные явления: «Но есче во всех пространных государствах есть и партикулярное по разстоянию дальности пределов не токмо в провозглашении или ударении гласа, но в имянах и глаголах такое различие, что сошедшияся един другаго не вскоре совсем выразумеют. Яко у нас сибиряки, великороссиане, малороссиане, низовые и поморские один з другим весьма различаются, например, ковш и корец, квашня и дежа и пр.» [5, с. 342—343].

Глубокое знание истории и языковых отношений своего времени позволило Татищеву сделать проницательный вывод о самостоятельности украинского языка [7, с. 171].

Различия между славянскими языками Татищев, как позднее и А. Х. Востоков, показывает путем сравнения русского и польского языков. В польском он усматривает «повреждение», ибо «поляки онаго довольно учинили, яко везде, где в славенском де и ди, они пишут и говорят дзе и дзи, яко вместо дева, дело, диво говорят дзева, дзело, дзиво и пр.... Они же, где в славенском р пишется, влагают ж, яко вместо репа, ревность, рядом говорят ржепа, ржевность, ржондем; часто же к А и О прилагают Н, яко жондло, жолондз, хронщ, монж вместо жало, жолудь, хрящ, муж и пр.» [4, с. 97—98].

В особенности наглядно представлял Татищев взаимодействие языков, обсуждая проблему заимствованных лексических элементов. После принятия христианства «от греков купно с приятием веры христианской многие слова еврейские, сирийские, греческие, а наипаче звания в службе божией, чинах церковных и пр. восприяли, яко еврейскаго равви — учитель, пасха — прехождение, аллилуйя — хвалите бога, сирийское мамона — богатый, голгофа — лобное место, персицкое корван — скрыня или ковчег; греческия же наиболее, яко литургия — служба божия, також звания чинов церковных и почитай все имяна людей. Из сих первые едва ли не у всех христиан остались не пременны, а последняя, то есть

звание церковных служителей и людей имяна некоторые дают своего языка, как и у нас в древние времена именовали, и довольно таких было. И ныне многие знающие, что имяна давать нет никакова закона, дают своего языка, яко Богдан, Нечай, Любим, Славим, Вера, Надежда, Любовь и пр.» [4, с. 98]. Татищев первым обратился к изучению тюркских заимствований в русском языке: «Мы под власть татарскую пред 700 лет нещастием впали и от них такожде многие приняли, например, вместо стража, стрельница, неимущей, седло, одежда, шапка говорим караул, башня, бобыль, арчак, кавтан, калпак и пр.» [4, с. 97].

В. Н. Татищев был первым русским ученым, установившим классификацию многочисленных языков России. В этой работе у него были предшественники. Еще Лейбниц настоятельно добивался получения образцов всех языков, распространенных в России. Некоторые сведения о языках Сибири были собраны экспедицией Д. Г. Мессершмидта. Этнографические, исторические и лингвистические материалы были собраны в Сибири помощником Д. Г. Мессершмидта Ф. И. Таббертом-Страленбергом (1676—1747), издавшим позднее в Швеции свое историко-географическое описание и карту Сибири [8]. В отличие от Страленберга, Татищев был лучше знаком с языковыми отношениями в Поволжье, на Урале и в Сибири. Вопросники, составленные им и рассылаемые по различным губерниям, свидетельствуют как об огромном фактическом материале, обогатившем науку, так и о стремлении Татищева решать этногенетические отношения народов прежде всего на основе языковых фактов. Это отмечено в востоковедческой лингвистической историографии [9—14].

По мнению Татищева, существуют три главных народа, которые упоминаются еще древними писателями. В «Предъизвещении» к «Истории Российской» он писал, что поставил целью прежде всего «описать древние, касаюсчияся отечества нашего, три главные и от них произшедшие народы, яко скифы, сарматы и славяне» [5, с. 89]. Отличая сармат от скифов, Татищев пользовался первым термином для обозначения финно-угорских народностей, а вторым — для обозначения тюркских (шире — алтайских) народностей.

Татищев выделял следующие группы родственных языков, подробно отмечая состав каждой из групп — сарматской, татарской, странноязычной и славянской.

1) Народы с а р м а т с к о г о языка, который Татищев считал во многом сходным с финским и лапландским. К этой группе относятся: финны, вотяки (воты, ари) — совр. удмурты; вогуличи (манчи) — совр. манси; остяки (ханты, удоры, обдоры, конды или кондоры, барабинцы) — совр. ханты; черемися (меря, мари) — совр. марийцы; ливы (лети, литва) — совр. ливы (Латвия); бярми (перми, емь, ямь, чухна, зыряне) — совр. коми; корелы; есты (естляндцы) — совр. эстонцы; венгры или угры (маджари). К этой группе Татищев относил и чувашей.

2) Народы т а т а р с к о г о и к а л м ы ц к о г о языков — скифы: а) народы тюркской группы: татары касимовские, казанские, астраханские (или ногайские); мещеряки — совр. ногайцы; башкиры; якуты; трухмены — совр. туркмены; киргиз-кайсаки — совр. казахи; каракалпаки; бухарцы, хивинцы, ташкентцы — совр. узбеки; б) калмыки; мунгалы; буряты (браты, орочи); зюнгоры — совр. калмыки, тунгусы конные — совр. эвенки. Поэтому он сближал языки тунгусо-маньчжурской группы с монголо-калмыцкими, предвосхитив современные суждения об алтайской группе языков.

3) Народы с т р а н н о я з ы ч н ы е. Многие народности крайнего Севера Татищев обозначил как странноязычные, так как их языки ни с татарским, ни с сарматским не сходны [7, с. 173]. Это юкагиры, камчадалы — совр. ительмены, курилы, коряки, чукчи, или чукоты, саслагеры. По мнению Татищева, языки этих народов не только отличаются от финно-угорских и тюркских, но и во многом отличаются друг от друга. Татищев, очевидно, не имел оснований детальнее характеризовать языки, относимые ныне к палеоазиатским, но он отметил родство камчадальского и курильского, корякского и камчадальского, чукотского и камчадальского.

4) Народы славянского языка. Татищев приводит сведения о славянах у древних авторов (Геродота, Страбона, Плиния), которые, по его мнению, упоминают славян под различными названиями — аланы, венеды, алазоны, склавины, анты, галаты, норики и т. п. Он убежден в древности этих народов: «Хотя подлинно о старости звания сего сколько мне известно, прежде Прокопия не упоминается, но народ, без сумнения, так стар, как все протчие. И хотя оное (название.— *К. Н.*) прежде за отдалением римляном знаемо не было, однако же то вероятно, что оное весьма древнее и всем того языка или по малой мере по Днестру и Днепру обсче употребляемо было, да и на север не поздно перенеслось» [5, с. 311—312]. Причисляя к славянским народам сербов (далматов, славонов, кроатов и пр.), болгар, мораван, чехов, или богемов, вандалов (лужичан), поляков и русских, Татищев делает важный вывод: «Все сии, как видимо, от начала одного были, но потом в речении так далеко друг от друга разделились, что един другаго без довольнаго учения или долговременной привычки разуметь не может» [4, с. 96].

Славян Татищев подразделяет на четыре группы: 1) восточные славяне, занимающие территории от левого берега Днепра до Каспийского моря и Кавказских гор; 2) западные славяне — от правого берега Днепра до Эльбы: поляне, древляне, моравы, силезы, богемы, или чехи, кашубы и померане, полабы, венеды или венеты, поляки (ляхи); 3) северные славяне, занимающие территорию Великой Руси (Новгородская, Поморская, Псковская и Белозерская губернии); 4) южные славяне — от Днестра до Средиземного моря.

Татищев знал о родстве балтийских языков: «Язык пруский всячески был сходен с литовским, куронским и летским, почему пристанет на то, что народ того же рода был» [5, с. 209]. Он не только констатирует родство известных ему языковых семей (для суждений о родстве индоевропейских языков у него, очевидно, не было материала), но и стремится выявить его причину. Эту причину он усматривает в происхождении родственных языков из одного праязыка, предвосхищая на целое столетие основной тезис сравнительно-исторического языкознания. Он так формулирует этот принцип: «Но что из одного многия разныя языки произошли, то по сходству в языках многие познаются, что прежде были одного или, по случаю один другаго многие слова приняв, свой собственный потеряли» [4, с. 96]. В своих работах Татищев писал о распаде праславянского языка. Подобное же мнение он высказывал относительно финно-угорских языков: «В сихъ странах прежде жилъ сарматской народ, их же останки фины, лифлянцы, или варяги, литва, куры, или курлянды, чуваша, черемиса, мордва, вотяки, остяки, лопане, и др., которые древле своимъ языкомъ все обще сарматы именовали» [15, с. 91].

Генеалогическая классификация языков народов России, четкое выделение финно-угорской, тюркской, монгольской, палеоазиатской и славянской языковых семей опирались у Татищева на огромную подготовительную работу, которая не имела ничего общего с умозрительными построениями. Реальная база языковых сопоставлений содержалась в его анкетах-вопросниках, предусматривающих ответы на следующий важный лингвистический вопрос [7, с. 37]: откуда произошло имя (название) народа, древнего и современного.

Что касается лексического материала, привлекаемого для сравнения, то Татищев настаивал на важности использования таких групп лексики, как числительные и слова основного словарного фонда. Исследователь деятельности В. Н. Татищева А. И. Андреев полагает, что анкетный материал, собранный Татищевым, «является первым по времени материалом XVIII в. о народах Сибири, собранным по известному плану, для своего времени, вполне научному» [9, с. 97].

Методику сравнения и этимологизирования, которой пользовался Татищев, можно проиллюстрировать на его рассмотрении названия р. Темеринда, которое толковалось в древних источниках как «матерь Понта». Опираясь на языковые факты, Татищев полагает, что этот гидроним принадлежит неизвестному языку и должен толковаться иначе. «Какого бы

языка сие было, не знаю, во-первых, ни славянское, ни греческое, у сармат финов мать — аити, у чуваш, а ныне черемис — атей, мордвы — татей, вогулич — анати; татарское, а не чегодайское и загатайское — чичай, или шишай, калмыцкое — оеки, мунгальское — аехе. Следственно, ни единое не походит и потому нуждно быть инаго неизвестнаго мне языка» [5, с. 173].

Выделяя три этапа всемирного «умопросвещения», Татищев относит к ним: 1) изобретение письма; 2) «пришествие» христианства; 3) «обретение тиснения книг» — книгопечатание. Важность письма он видит в том, что люди «возъимели способ вечно написанное в память сохранить и далеко отлучным наше мнение изъявить» [5, с. 92]. Татищев отмечает следующие этапы развития пиктографии и иероглифики: «...первый образ писания был не буквами, но знаками вещей, еже иероглифия именовали, которое доднесь на многих египетских древних зданиях, столпах, пирамидах и пр., равно же тому в Сибири на некоторых каменных горах недоведомою краскою написанные и высеченные начертания людей, зверей, птиц и пр. видимы» [4, с. 94].

По мнению Татищева, «подлинно же славяне задолго до Христа и славяно-руссы собственно до Владимера письмо имели» [5, с. 93]. Он основывался при этом на критическом изучении языка «Русской Правды». Татищев предполагает, что этот свод законов сочинен задолго до Ярослава, вопреки указанию «Повести временных лет», ибо «в объявленном законе речения и обстоятельства включены, которых задолго до Владимера и нигде у славян во употреблении уже не было, но были в самой древности, Ярославу же вымышлять причины не было» [5, с. 96].

Истоки докирилловского письма Татищев связывает как с влиянием византийской и римской письменности, так и с германским посредничеством. Обитая по соседству с греками и римлянами, «не трудно было оным предкам нашим, именуемым от грек скифом, письмо греческое задолго до пришествия Христова иметь» [5, с. 94].

В. Н. Татищев жил и творил в чрезвычайно важный период, когда русский литературный язык, преодолевая средневековое двуязычие, разрешал возникшие противоречия и готовился стать полноценным орудием удовлетворения потребностей цивилизации нового времени. Он всегда отмечал богатые выразительные возможности родного языка: «Мы хотя можем похвалиться, что наш язык многих полняе и плодовитее, и, мню, что в философии, мафематике и протчих науках не хуже французского и германского; но есче кратче изъяснить можем, что некоторые члены руской Академии изданием преизрядных книг засвидетельствовали» [5, с. 342]. В качестве образцов высокой книжной культуры и возможностей русского языка он приводит труды М. В. Ломоносова, В. К. Тредиаковского и А. П. Сумарокова: «...особливо господина профессора Ломоносова изданная Реторика и другие, яко же Тредиаковского и господина Сумарокова стихотворные, хвалы достойны» [5, с. 342]. О занятиях Татищева родным языком было известно и его современникам. Так, М. В. Ломоносов в своем письме в ответ на просьбу Татищева написать предисловие-посвящение к «Истории Российской» писал: «Письмо, чрез которое ваше превосходительство принесло мне немалую радость, ибо, кроме него, что особою вашего превосходительства к почтению всяк побужден быть должен, имел я издавна желание изыскать случай, как бы вашему превосходительству показать мою услужность, для того что об охоте вашей к российскому языку слыхал довольно, к которому и я труд свой по силе прилагаю» [16, с. 461].

В период бироновщины (1734) Татищев при разработке «Горного устава» заменил немецкую терминологию горных работ, чинов и орудий русскими эквивалентами, которые, на его взгляд, более точно и понятно выражают смысл [17, с. 186].

Татищев стремился размежевать сферы употребления церковнославянского и русского языков [18, с. 180]. Он проницательно отметил широкое вхождение в литературный язык народно-разговорных элементов. В 1736 г. ученый посылает в Академию наук сборник русских пословиц (числом

в 1478 единиц), имея в виду как обогащение языка, так и исторические цели [19].

Татищев указывает на смешение разговорных слов с церковнославянскими, например, *вот*, *чуть*, *эво*, *ето*, *пужаю*, *это*, *чорт* вместо *се*, *едва*, *зде*, *сие*, *страшу*, *сие*, *бес* [4, с. 96], отрицательно отзывается о качестве некоторых переводов [20, с. 260], предъявляет высокие требования к языку деловых документов («Чтоб закон внятен и всем подзаконным вразумителен был. Для сего нуждно законы таким речением писать, которым большая часть общенародия говорит, и суще самим просторечием, без витийства и красноречия, меньше же стихотворных речений, а наипаче чтоб никаких иноязычных слов не было») [4, с. 125], резко выступает против использования грамматических архаизмов («число двойственное весьма излишнее какъ и другіе непотребные и ізлишніе правила в граматике введены, и темъ оная надмерно трудна и невразумителна учинена») [15, с. 88].

Однако, противореча самому себе, Татищев выступает против русских форм типа *хочу*, *чужее*, *празник*, *бью*, *лью*, *любить*, отстаивая соответствующие церковнославянские *хощу*, *чуждее*, *праздник*, *бию*, *лию*, *любити*, русское полногласие он рассматривает как «порчу» языка: «есть же славянскаго языка многіе слова прибавкою или убавкою некоторых букв от простых людей перепорчены, яко вместо *глава*, *мразъ*, *гладъ*, *страна*, *двадесять* пишут *голова*, *мороз*, *голодъ*, *сторона*, *дватцать* и пр. тому подоб. которое сугубо в леξиконах полагать или в канцелярском употребленій запретить нуждно» [15, с. 88].

Основными критериями, следовательно, при оценке подхода Татищева к проблемам русского литературного языка того времени являются: 1) суждения о русской графике и орфографии; 2) лексикографическая деятельность; 3) личная языковая практика (к сожалению, язык сочинений Татищева еще не подвергался изучению, хотя влияние летописных традиций и особенностей переводов того времени в нем явственно ощущается).

Чувство ответственности за судьбы родного языка руководило Татищевым при выдвижении предложений о реформе русского алфавита и правописания. Известно, что проблемы орфографии в переломные эпохи развития литературных языков всегда выдвигались на первый план. Об этом наглядно свидетельствует история таких славянских языков, как сербскохорватский, словацкий, чешский, украинский, белорусский. Не был исключением и русский язык: нужно было освободиться от обветшалых одежд церковнославянской письменно-графической традиции. «Рассуждения о всем кирилловском алфавите» (около 1745 г.), принадлежащие Татищеву, до сих пор не обнаружены. Об их содержании мы можем судить только на основании писем к В. К. Тредиаковскому (от 18 февраля 1736 г.) и И. Д. Шумахеру (от 16 ноября и 24 декабря 1747 г.), а также краткого обобщения в «Разговоре двух приятелей о пользе науки и училищах», который, по словам Г. В. Плеханова, «дает гораздо больше, нежели обещает его заглавие. Это чуть не целая энциклопедия. В нем излагается все миросозерцание этого замечательного человека» [21, с. 64].

Анализ этих материалов свидетельствует, что В. Н. Татищев гениально установил соотношение живой речи и системы русского письма, предопределив на многие годы пути усовершенствования русского алфавита. В своих предложениях ученый опирался на фонетический принцип, имевший в ту эпоху прогрессивное значение, ибо свидетельствовал о росте национального самосознания, стремлении порвать с церковнославянской традицией и опереться на живую разговорную речь. Орфографические предложения Татищева сводятся к следующему:

1) Исключить из алфавита «равногласные» (не различающиеся в произношении) буквы, а также буквы, не имеющие звукового значения или передающие целые слоги («сложенные» буквы). Он писал: «Что ортографій руской касается то мнѣ весма дивно, для чего сочинители славенской азбуки такъ много излишных равногласных и сложенныхъ букв то есть слоговъ за Буквы наклали» [15, с. 86]. В связи с этим Татищев предла-

гает: а) заменить ѣ посредством *е* [15, с. 86]; б) два начертания буквы «земля» заменить посредством *s* [15, с. 86—87]; в) вместо и, *і*, ѵ («ижица») пользоваться одной буквой *і* [15, с. 87]; г) обозначать ѡ (с тремя видами титлов) одной буквой *о* [15, с. 87]; д) передавать ȣ («ук») посредством *у* [15, с. 87]; е) исключить ѿ («отъ») [15, с. 87]; ж) заменить буквы щ, ξ ξ («кси»), ψ («пси») написаниями *сч*, *кс*, *пс* [15, с. 87]; з) исключить ь и ъ, не имеющих фонетических эквивалентов [15, с. 87]; и) заменить ѵ («ижица») в греческих заимствованиях типа *еѵангелие* буквой *в* [16, с. 87].

2) Ввести в русский алфавит некоторые буквы: а) букву *h*, которая соответствовала бы латинской [22, с. 401]; б) использовать букву *г* для передачи взрывного, а перевернутую — для передачи соответствующего фрикативного согласного [23, с. 382]; в) букву *j* для передачи сочетания *jo* в словах типа *ёж*, *мёд* [4, с. 95].

Таким образом, спорными и не вполне обоснованными у Татищева являются два пункта: 1) замена *щ* сочетанием *сч* (он нередко и собственную фамилию писал *Татисчев*); 2) некоторая нелогичность и отчасти ошибочность относительно использования *jo*, так как *мед* не равно [мjод]. Что касается *ф* и *ѳ*, то, по мнению Б. А. Успенского, особое произношение фиты как *фт* могло отражать реальные факты [24, с. 83]. Согласно предложениям Татищева, русский алфавит «убавился» бы на 15 букв и имел бы следующий вид: *а*, *б*, *в*, *г*, *д*, *е*, *ж*, *s*, *і*, *к*, *л*, *м*, *н*, *о*, *п*, *р*, *с*, *т*, *у*, *ф*, *х*,*ц*, *ч*, *ш*, *ы*, *я*, *э*, *ю*, *ю*. Не обошел вниманием Татищев и вопросы пунктуации [25, с. 171].

Велики заслуги Татищева в области русской лексикографии как современного ему языка, так и в истолковании многих древнерусских слов. Интерес ученого к истории и географии, этнографии и праву, языку и топонимике народов России вызвал появление анкет-вопросников. В 1734 г. он составил анкету из 92 вопросов и разослал ее в разные города Сибири. Не удовлетворенный качеством ответов, в 1737 г. он составляет «Предложение о сочинении истории и географии российской», состоящее из 198 вопросов и явившееся программой экспедиции для ряда поколений исследователей Сибири [26, с. 239].

К анкетам Татищев прилагал словник, содержащий наиболее употребительные слова, к которым нужно было дать перевод на языке местного населения. Эти словники с переводами образуют рукописные двух- и трехъязычные словари тюркских, финно-угорских и монгольских языков. Обычно они содержат 450—500 слов [27]. Необходимы дополнительные разыскания, чтобы установить связь полученных Татищевым материалов со «Сравнительными словарями всех языков и наречий» П. С. Палласа.

Позднее Татищев приступает к составлению более обширных словников. В 1739 г. он составляет «Лексикон, сочиненный для приписывания иноязычных слов обретающихся в России народов, для которого выбраны только такие слова, которые в простом народе употребляемы». Этот рукописный словарь от начала алфавита до слова *покой* содержит уже 4932 слова [28, с. 40].

Более обширным является второй рукописный лексикон Татищева, содержащий 16 300 слов и изданный А. П. Аверьяновой [29]. В ряде случаев к словам даны стилистические пометы [29, с. 16]. Противопоставление «словенских» и «русских» слов можно проиллюстрировать такими парами, как *алчба — голод*, *бездна — пропасть*, *мзда — заплата*, *область — волость*, *дщерь — дочь*, *осмь — восемь*, *агнец — ягненок*, *вождь — водитель*, *глава — голова*, *воинство — войско*, *искупити — выкупити*, *избирати — выбирати*; *бисер — жемчуг*, *око — глаз*, *всадник — ездец*, *общество — ватага*, *доколе — пока*, *благость — доброта*, *пепел — зола* и т. п. Не случайно, что составители «Словаря Академии Российской» (1789—1794) использовали материал этого словника. Сам Татищев нигде не указывает критериев своей нормализации русской лексики. Очевидно, он определял на основе собственного языкового чутья степень понятности того или иного слова.

Деятельность Татищева в области нормализации русского литературного языка первой половины XVIII в. представляет собой первые попытки

кодификации русской речи, которые «в известной мере подготовили почву для появления грамматики Ломоносова» [24, с. 5].

Предметом особого исследования должны послужить труды В. Н. Татищева по истолкованию множества древнерусских слов. Это связано как с работой над «Историей Российской», так и с подготовкой к печати открытых Татищевым текстов «Русской Правды» и «Судебника Ивана IV». Часть этих материалов вошла в незавершенный первый в России энциклопедический справочник «Лексикон российский исторический, географический, политический и гражданский». Татищева отличало глубокое знание толкуемых реалий и слов, исторических подробностей и географических фактов. Разбираемые С. К. Буличем «этимологические домыслы наших историков» XVIII в., включая Татищева [30], не сопровождались анализом тех слоев древнерусской лексики, которые Татищев знал превосходно.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Пирмаханова У. Б.* О лингвистическом наследии В. Н. Татищева.— В кн.: Проблемы диахронного анализа грамматического строя русского языка.— Сб. трудов [МОПИ им. Н. К. Крупской], 1977, вып. 10, с. 91—98.
2. *Пирмаханова У. Б.* В. Н. Татищев как лексикограф.— Лингвистический сборник [МОПИ им. Н. К. Крупской], 1978, вып. 11, с. 122—123.
3. *Клосс Б. М., Корецкий В. И.* В. Н. Татищев и начало изучения русских летописей.— В кн.: Летописи и хроники. 1980. М., 1981.
4. *Татищев В. Н.* Разговор дву приятелей о пользе науки и училищах.— В кн.: *Татищев В. Н.* Избранные произведения. Л. 1979.
5. *Татищев В. Н.* История Российская. Т. I. М.— Л., 1962.
6. *Татищев В. Н.* История Российская. Т. VII. Л., 1968.
7. *Татищев В. Н.* Избранные труды по географии России. М., 1950.
8. *Strahlenberg Ph. J.* Das Nord-und Ostliche Theil von Europa und Asia, Stockholm, 1730 (переиздано: Szeged, 1975).
9. *Андреев А. И.* Труды и материалы В. Н. Татищева о Сибири.— Советская этнография, 1936, № 6.
10. *Вдовин И. С.* История изучения палеоазиатских языков. М.—Л., 1954, с. 17—139.
11. *Баскаков Н. А.* Введение в изучение тюркских языков. 2-е изд. М., 1969.
12. *Кононов А. Н.* История изучения тюркских языков в России. Дооктябрьский период. Л., 1972, с. 70—73.
13. *Насилов Д. И.* Об алтайской языковой общности (К истории проблемы).— В кн.: Тюркологический сборник. 1974. М., 1978, с. 90—108).
14. *Горцевская В. А.* Очерки истории изучения тунгусо-маньчжурских языков. Л., 1959.
15. *Обнорский С. П., Бархударов С. Г.* Хрестоматия по истории русского языка. Часть II. Вып. II. М., 1948.
16. *Ломоносов М. В.* Полное собрание сочинений. Т. X. М.— Л., 1957.
17. *Татищев В. Н.* Лексикон российской исторической, географической, политической и гражданской.— В кн.: *Татищев В. Н.* Избранные произведения. Л., 1979.
18. *Горшков А. И.* История русского литературного языка. М., 1969.
19. *Головенченко Ф. М.* Сборник пословиц В. Н. Татищева.— Уч. зап. [МГПИ им. В. И. Ленина], 1961, т. 160.
20. *Андреев А. И.* Переписка В. Н. Татищева за 1746—1750 гг.— Исторический архив. Т. VI. М.— Л., 1951, с. 245—314.
21. *Плеханов Г. В.* «Ученая дружина» и самодержавие. 2. В. Н. Татищев.— В кн.: *Плеханов Г. В.* Соч. Т. XXI. М.— Л., 1925.
22. *Ломоносов М. В.* Полн. собр. соч. Т. VII. М.— Л., 1952.
23. *Тредиаковский В. К.* Разговор между чужестранным человеком и российским об ортографии старинной и новой и о всем, что принадлежит к сей материи. СПб., 1748.
24. *Успенский Б. А.* Первая русская грамматика на родном языке. Доломоносовский период отечественной русистики. М., 1975.
25. *Демидова Н. Ф.* Инструкция В. Н. Татищева о порядке преподавания в школах при уральских казенных заводах.— Исторический архив. Т. V. М.— Л., 1950.
26. *Попов Н. В.* В. Н. Татищев и его время. Эпизод из истории государственной, общественной и частной жизни в России первой половины прошедшего столетия. М., 1861.
27. *Doerfer G.* Ältere westeuropäische Quellen zur kalmückischen Sprachgeschichte. Wiesbaden, 1965.
28. *Аверьянова А. П.* Рукописный лексикон Татищева.— Уч. зап. ЛГУ, 1957, № 197, сер. филол., вып. 23.
29. *Аверьянова А. П.* Рукописный лексикон первой половины XVIII века. Л., 1964.
30. *Булич С. К.* Очерк истории языкознания в России. Т. I (XIII в.— 1825 г.). СПб., 1904, с. 262—263.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1983

НИКОНОВ В. А.

ГЕОГРАФИЯ РУССКИХ ФАМИЛИЙ

Если спросить, какая фамилия у русских всех чаще, некоторые ответят полувопросом: «может быть, Иванов?» Действительно, в Москве 90 тыс. носят эту фамилию и никакая другая не соперничает с ней. Но как «во глубине России»? Выполненные автором подсчеты показали, что *Ивановы* по частоте занимали в Тульской губернии 23-е место, в Пензенской не входили в сотню самых частых; из 90 тыс. крестьян Шенкурского уезда Архангельской губ. ее носили только 38 человек [1].

Какие же фамилии преобладали? Смотря — где; в этом вся суть.

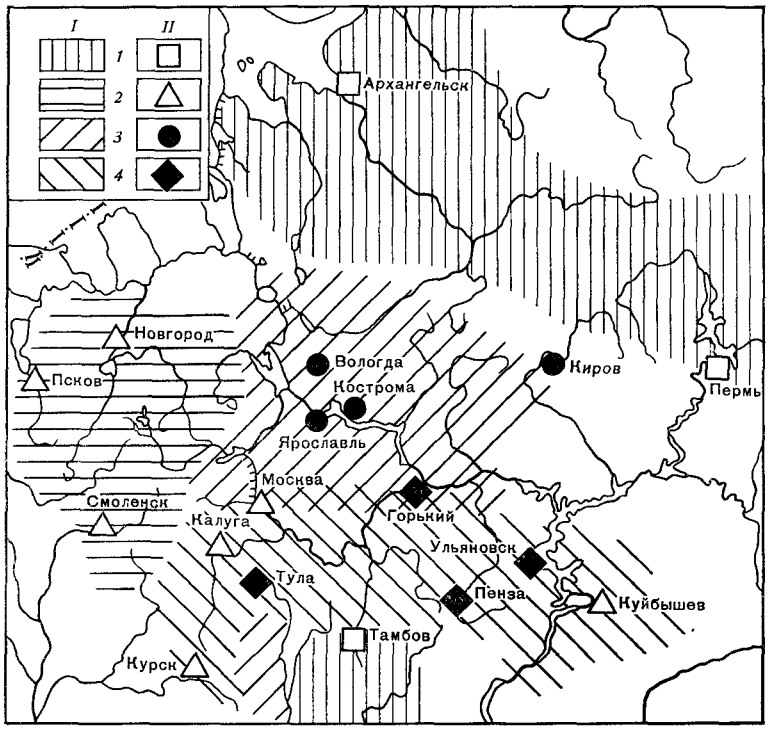
На Севере безраздельно преобладала фамилия *Попов*. В 6 центральных уездах Архангельской губ. она охватывала 2% сельского населения [1], показатель очень высок, учитывая чрезвычайный «разброс» фамилий (в противоположность жесткой концентрации имен индивидуальных). А в небольшой Сюземской волости *Поповы* составили даже 20%. В телефонном справочнике Архангельска и сегодня ни одна фамилия даже отдаленно не конкурирует с этой. Только как предположение можно допустить причиной выборность духовенства на Севере: там вплоть до XVIII в. священников не назначали свыше, а избирали сами жители из своей среды. Однако основой отчества, позже закрепленного в фамилию, могло быть не нарицательное *поп*, а имя собственное *Поп*, т. е. прозвище, а не должность.

Начиная еще с XVII в., особенно же в XVIII—XIX вв., широкая миграция за Вятку, Пермь и Урал в Сибирь далеко раздвинула зону распространения фамилии *Попов*; она захватила восток Вологодской области (Великий Устюг со смежными районами), северо-восток Костромской (Вохма и соседние районы), север Пермской, саму Пермь, распространена за Уралом. А на юг и запад ареал фамилии круто обрезан; например, в Харовском р-не (середине Вологодской обл.) ее частотность 0,02%! В центральных и западных областях она единична.

Все Северное Поволжье — зона преобладания фамилии *Смирнов*, максимально — в Ярославской (кроме юга), Костромской (кроме северо-востока), в южной и средней части Вологодской, восточной половине Калининской, в соседних районах Московской (например, Волоколамский), Ивановской, в заволжской половине Горьковской, на юго-западе Кировской области, отчасти и Владимирской. Соответственно эта фамилия чаще других сегодня в городах Ярославле, Костроме, Вологде, Череповце, Рыбинске, Иванове, Кинешме, Владимире, Кирове.

С территории своего преобладания фамилия распространялась на юго-восток, как и северо-поволжские говоры: за низовья Оки на Суру и в правобережье Среднего Поволжья, но значительно редея. Южней и юго-западней Москвы ее частотность ничтожна. Но в бассейне Тима на рубеже

[1] По фондам 58 архивов собраны фамилии больше 3 млн. человек русского сельского населения из 36 областей. Каждый подсчет сплошной в пределах выборочной территории. К сожалению, источники не единовременны, но фамилии в отличие от имен индивидуальных достаточно устойчивы, даже несмотря на значительные сдвиги населения. Материалы единственной Всероссийской переписи (1897 г.) уцелели полностью только по Архангельской и Тобольской губ., не полностью по Владимирской, по немногим другим — отрывочно; по Пензенской и Тульской сохранены земские переписи 1907—1917 гг., по Вологодской и Пермской — «ревизские сказки» 1858 г. (южней крепостные на эту дату еще бесфамильны). Пришлось обратиться к источникам разным — по хозяйственным книгам колхозов, спискам избирателей, актам ЗАГСов. Частично использованы, где возможно, данные других переписей. Сверх этого привлечены дополнительные источники в объеме, превышающем 1 млн. чел. (телефонные справочники 50 городов и всевозможные списки).



Преобладающая фамилия: I — в сельских местностях, II — в городах; 1 — *Попов*, 2 — *Иванов*, 3 — *Смирнов*, 4 — *Кузнецов*.

Орловской и Курской областей мои подсчеты обнаружили густое скопление носителей этой фамилии,— например, в Должанском р-не (крайний юго-восток Орловской обл.) в 1954 г. больше 3% [2]. Несомненно, они когда-то переселились из Северного Поволжья. Находка заманчива для диалектологов, этнографов, краеведов.

Этимологическое значение основы — нецерковное мужское имя в архаичной форме *Смирнóй* — «смирный, послушный».

В огромной полосе южней и восточней Москвы в бассейне Оки и Средней Волги самая частая фамилия — *Кузнецов*, максимально — в Тульской обл. Из городов кроме Тулы фамилия преобладает в Горьком, Пензе, Ульяновске, Арзамасе. Как вторая по частоте фамилия она распространена и в восточной части зоны преобладания фамилии *Смирнов* и на Севере уступает только фамилии *Попов*.

Высокая частотность фамилии понятна: кузнец был необходим и приметен. «Чьи ребята?» — «Кузнецовы». Так и у других народов: от украинского, белорусского, польского *коваль* — восточноукраинская фамилия *Коваленко*, полесская *Ковалюк*, белорусская *Кавалёў*, польская *Ковальский* (самая частая фамилия Варшавы), южнопольская и западноукраинская *Ковалик*, сербскохорватская и словенская *Ковач*, болгарская — *Ковачев* (самая частая фамилия Англии и США — *Смит*, как и немецкая *Шмидт* «кузнец»).

Распространению фамилии *Кузнецов* на запад и юго-запад почти сразу же за верховьями Оки ставит предел *Ковалев*. Даже под Брянском в Жирятиновском р-не *Кузнецовы* вдвое реже, чем *Ковалевы* (в подсчете — только русское население) [3]; не только для диалектологов, а и краеведов, историков, этнографов чрезвычайно ценна граница преобладания *Кузнецов/Ковалев*, прорезающая, например, Смоленскую и Курскую области.

А в северо-западном секторе преобладает фамилия *Иванов*: области Новгородская, Псковская, Ленинградская, Калининская (кроме восточной части); запад Смоленской области. Из 29 тыс. колхозников, учтенных в Дедовичском р-не, оказалось больше 3 тыс. *Ивановых* — 11% [4], и в

списке мещан гор. Боровичи Новгородской губ. (1896 г.) носители этой фамилии составляли 10% [5]. Частотность понятна: на протяжении столетий самым частым именем русских было *Иван*, у крестьян его носили 1/4 всех мужчин; это тоже объяснимо — имя давали по церковным «святцам», а «святых» с этим именем церковь чествовала 64 раза в год (вспомним описанную А. М. Селищевым беду македонского крестьянина, наголо разоренного именем *Иван*, которое он дал сыну,— каждую неделю соседи валили на именины) [13]. Непонятно главное: почему же на других территориях *Ивановы* редки?

Итак, обнаружены 4 огромных массива; все они в пределах сложившегося к концу XV в. единого русского государства. По греческому и латинскому образцу, ставшему интернациональным,— именовать крупные территории посредством форманта *-ia*, можно назвать их *Поповия*, *Смирновия*, *Кузнецовия*, *Ивановия*. За шуткой — серьезный факт, ведущий далеко за пределы фамилий: на глазах письменной истории возникли четыре никем не замеченные крупнейшие общности, объединяющие миллионы людей. Никакими случайностями этого невозможно объяснить.

Посреди них — объединительница Москва. Как каждая столица, она вобрала в себя черты разных частей страны — в целом ни на одну из них не похожа, а в чем-то с каждой сходна (так же, но в меньшей мере, и каждый город, а теперь таково все Подмосковье). По данным Московского адресного бюро (1964 г.), самые частые фамилии в столице: *Ивановы* — 90 тыс., *Кузнецовы* — 78 тыс., *Смирновы* — 58 тыс., Поповы — 30 тыс.— именно те же четыре! Это отлично подтверждает, что выявлены глубокие и сложные процессы (в сравнении с масштабом которых четыре лидирующие фамилии — только внешние приметы), фамилии не висят в воздухе, за их общностями — общности людей.

Как сложились эти массивы, не объясняют ни историк, ни лингвист, ни этнограф. Может быть, поможет география? Поиск границ массивов потребовал специально таких подсчетов, которые заняли несколько лет, а рассмотрение полученных материалов поставило новые загадки. Характер границ неоднороден. На одних отрезках они очень четки, на других расплывчаты. А чаще это — не границы, в том смысле, как между государствами или административными единицами. Либо между массивами лежит «ничья земля», как между зонами фамилий *Поповы* и *Смирновы* обширное пространство Каргополь — Вытегра — Белоозеро, где ни те, ни другие не встречаются. Либо, наоборот, массивы накладываются один на другой. В смежных районах Калининской, Вологодской и Новгородской областей фамилии *Иванов* и *Смирнов* соперничают по частоте. Любопытно, что в телефонном справочнике г. Калинина (1973 г.) они поделили 1-е место — счет таков: *Ивановы* — 129, *Смирновы* — 128. Граница преобладания той и другой проходит по р. Кобожа (левый приток Мологи), отсекая от Псковско-Новгородской зоны фамилий Пестовский р-н Новгородской области, врезанный клином между Вологодской и Калининской.

Массивы возникали независимо друг от друга (возможно, и не в одно время), в процессе не разделения, а напротив — объединения. Вот главный вывод. Протекала ломка феодальной раздробленности и натурального хозяйства (хотя его пережитки еще держались даже в нашем столетии), начинал складываться всероссийский рынок. В разных отраслях жизни это отражалось с разной силой и различными темпами.

Каждый массив не сразу возник в тех границах, которые видимы сегодня. В одних случаях ясно, откуда и куда шло движение,— конечно, *Поповы* распространялись с Северной Двины на Урал и в Сибирь, а не в обратном направлении, *Кузнецовы* — тоже с запада на восток. Но об *Ивановых* или *Смирновых* трудно решить, где их очаг, а где периферия. В моих работах на топонимическом материале не раз показано, что частота не указывает на место возникновения, нередко даже обратное — там, где явление возникло, ему негде развиться, оно стеснено старшими конкурентами, а становится обильным там, где вырывается «на стратегический простор» [14]. Принесли ли псковитяне и новгородцы в Москву максимальную частоту своей самой частой фамилии или, напротив, им ее продиктовала Мо-

сква (например, историческими «разводами» — выселением «своеземцев» с заменой их московскими людьми), или ни то, ни другое, а самостоятельное развитие там и тут с последующим взаимообменом.

Когда возникли описанные общности? Фамилии существуют у русских только с XVI в., большинство их даже еще моложе. Но их ареалы возникли раньше самих фамилий. Это не парадокс. Они заданы исторически. Фамилии возникают из наличных на определенной территории в определенное время слов и формантов по определенным там и тогда закономерностям. Вот эти местные условия и задали географическое размещение фамилий еще до их появления. Ведь употребительность даже канонических имен, казалось бы, никак не региональных, территориально различна: например, в XVIII в. северней Москвы господствовало женское имя *Анна*, а южней — *Авдотья* (*Евдокия*) и т. д. [15, с. 49—50]. Четыре очерченных массива — это четыре историко-географических слагаемых России: земли суздальско-владимирские, псковско-новгородские, северные и вновь осваиваемые.

А почему именно *Смирновы*, *Поповы*?... В истории каждой науки обычно между открытием и объяснением протекает время, иногда — века. Не знаю, когда разгадают заданную загадку и разгадают ли.

Вне рассмотренной территории картина иная. Основное заселение русскими юго-востока европейской части страны продолжалось на всем протяжении XVII—XIX вв. и шло со всех ранее освоенных территорий. Поэтому там отразились и переплелись черты всех «старых» зон. На всем юго-востоке теперь часта фамилия *Попов*, хотя от основного ее массива расстояние огромно. В Старо-Юрьевском р-не Тамбовской обл., в Балашовском р-не Саратовской обл. и многих других она чаще всех, так и в городах Липецке, Тамбове, Волгограде, Астрахани (хотя и не с таким перевесом, как в Архангельске [2]). Во многих городах преобладает фамилия *Иванов* (Куйбышеве, Саратове, Ростове; как и во всех семи городах Сибири, по которым сделаны подсчеты), всюду на территориях позднего русского заселения часты *Кузнецовы*.

Фамилии-«чемпионки» взяты только как наиболее наглядный пример, доступный неспециалистам по антропонимике. В зонах, «представительницами» которых они здесь послужили, часты и другие фамилии, образующие своего рода территориальные содружества. На Севере по частоте за *Поповым* и *Кузнецовым* следуют *Шестаков*, *Некрасов*, *Семаков* (нередко *Симаков*); только на Севере бытовали *Анциферов*, *Трапезников* (теперь, конечно, их можно встретить всюду). На северо-западе *Иванову* сопутствуют *Васильев*, *Федоров*, *Петров*. В Северном Поволжье спутники *Смирнова* — *Волков*, *Соколов* и, как на Севере, *Некрасов*. С зоной преобладания *Кузнецова* связаны *Новиков*, *Гришин*. Разумеется, нельзя ожидать полного совпадения их ареалов, у каждой фамилии свои границы, образующие на карте пучки линий. Ведь и черты, слагающие диалект, размещены неодинаково.

Некоторые фамилии распространены «поперек» очерченных зон, например, *Морозов*, с наибольшей частотой от Иванова и Шуи до Москвы и реже — на юг к крупным «островам» этой фамилии, и, вероятно, занесенной туда старообрядцами, в Нижнем Заволжье, а *Соколовы* чаще в Поволжье, *Широбоковы* — в Сибири и т. д.

Много фамилий местных, узколокальных. В Кромском р-не Орловской обл. больше тысячи человек с фамилией *Лежепеков*, не встреченной больше нигде (кроме областного центра). На Вохме (сев.-вост. часть Костромской обл.) часта фамилия *Тюляндин*. Тысячи жителей в Хоботовском р-не Тамбовской обл. носят фамилию *Стрельников*. Таких примеров немало всюду. К ним можно добавить фамилии, образованные от топонимов, на

[2] У южных славян эта фамилия нередка, но даже у болгар не достигает той частоты, как в Архангельской обл. Лишь одно скопление ее носителей (где она самая частая) неожиданно обнаружили мои подсчеты: на самом юге славянства — в районе Гевгелия (Македония). Два максимума одной фамилии — на противоположных полюсах славянского мира.

каждой территории свои и в богатом наборе. На Севере многочисленны *Карельские* (фамилия не этнична, а территориальна — *карела* означало вообще «западная сторона»), *Едомские* (несколько селений *Едома* из нарицательного со значением «отдаленное место»), *Мехряковы*, *Военгские* (по речкам *Мехра*, *Военга*), *Онегины* (сотни лесорубов и сплавщиков на р. *Онеге*) и др. Но географичность этих фамилий лежит на ладони, да и не им принадлежит большинство.

Важней географии основ география форм, тут счет идет не на тысячи, а на миллионы.

Господствующие форманты русских фамилий не региональны, а повсеместны. Но даже и их частотность не всюду одинакова, например,— *-ин*. Кажется таким нейтральным формант *-ский*, а образованные им фамилии охватывали в Холмогорском уезде Архангельской губ. (1897 г.) 4,1% всех крестьян, а в Епифанском уезде Тульской губ. (1900 г.) — 0,5% — разница велика. В городах фамилии на *-ский* гораздо чаще, чем в сельских местностях,— в силу социально-исторических истоков этой формы фамилий [15, с. 206—209]. Во всей средней России стали реликтами фамилии в форме бессуффиксных прилагательных на *-ий*, *-ый*, *-ой*, некогда частые (*Толстой*, *Широкий*), которую удержали украинцы; у русских они сохранили свои позиции только на Севере, сберегшем много архаичных черт; носители этих фамилий составляли в Холмогорском и Шенкурском уездах почти 2% населения, в дальнем Мезенском — 2,5% (1897 г.): *Борзой*, *Нагой*, *Седьмой*, *Узкий*, *Черный* и др. На всех остальных русских территориях они единичны.

Есть форма фамилий региональная абсолютно: *-их*, *-ых* (отчество от именования семьи как целого) — *Долгих*, *Косых*, *Плохих*, *Черных*... Эти фамилии называют «сибирскими», но очаг их не в Сибири, они пришли туда из двух своих массивов: северного и черноземного. Ими изобилует еще перепись часовен Шенкурского уезда 1692 г. [16]. На семинарских занятиях Е. И. Рудных, тогда студентка Свердловского ун-та, нашла в «ревизских сказках» 1747 г. (переписи) максимальное скопление *-их* северо-западней Устюга — до 36—38% всех семей. Позже такие фамилии резко убыли. Оттуда они «заселили» черноземы окско-донского водораздела между Воронежем — Курском — Орлом — Тамбовом, в центре которого (юг Липецкой обл. и север Воронежской) их вес превысил 4—5% (вдвойне региональна там фамилия *Мухортых* — и основой, и формантом).

Сначала с Северной Двины, а затем и из черноземной полосы — фамилии с *-их*, *-ых* хлынули за Урал. Основная масса переселенцев в Сибирь в XVII—XVIII вв. пересекала Тобол на отрезке между устьем Тавды и Курганом, там и сосредоточены эти фамилии. Перепись 1897 г. показала в волостях Салтозерской, Могилевской, Плотниковской 5—8% жителей с фамилиями этой формы; в большинстве местностей на этом пути им принадлежит 2—3%. Восточней они широко рассеяны по Сибири. В Рыбинской волости Тарского уезда записаны *Козловских* и *Кирилловских* из Вятской губ., *Коротких* — из Пермской [6, № 95], в Пятковской волости Ялуторовского уезда *Сотских* и *Разенских* из Воронежской, *Смирных* — из Елецкого уезда (ныне Липецкая обл.), *Ананьевских* — из Новосильского уезда (ныне Орловская обл.) [6, №№ 221, 222], в Ларихинской волости Ишимского уезда *Плохих* — из Курской губернии [6, №№ 51, 52].

В Нижнем Заволжье на р. Иргиз густо гнездо фамилий этой формы: в с. Большая Глушица [7] — *Борзых*, *Пожилых*, *Седых*, *Черных*, в с. Ореховка (1905 г.) — *Боровских*, *Евдокимовских*, *Молодых*, *Ставровских*, *Тальских*. Но неизвестно — принесены ли они старообрядцами из ветлужских и керженецких скитов, бежавшими от церковных гонений (т. е. из северного ареала), или осели по пути шедших в Сибирь из Черноземья. Увы, ни куйбышевские, ни саратовские ученые даже не заметили этого скопления [3].

---

[3] На 4-й конференции по ономастике Поволжья (Саранск, 1973) О. И. Александрова оправдывала упущение тем, что теперь якобы эти фамилии утратили формант *-их*. Но участники конференции В. Д. Бондалетов и Л. И. Молодых (оба из тех мест) подтвердили, что фамилии неизменны и сегодня.

С русскими региональными фамилиями *-их*, *-ых* перекликаются фамилии той же модели у поляков Силезии, у чехов и хорватов.

Интересен факт, тоже еще не замеченный, что некоторые документы так именуют только женщин. В листах переписи 1897 г. нередки примеры: в д. Ананьинской Холмогорского уезда фамилия главы семьи — *Луговой*, а его жены и дочерей — *Луговых* [1, №№ 206—211], в д. Засульская Мезенского уезда — хозяину и сыновьям записана фамилия *Прелой*, а хозяйке и дочерям — *Прелых* [1, №№ 52—54], те же самые различия и в Зауралье.

В свете приведенного ясна наивность утверждения, будто в нередкой фамилии *Плохих* «формант *их* добавлен, чтобы смягчить отрицательный смысл основы» [17]. Никакой оценочной, качественной функции он никогда не нес — ни в фамилиях, ни вне их.

Кроме географии форм, образующих фамилии, важна география частотности форм, при помощи которых образованы их основы; они таят столько ценного для истории народа и языка, что упустить такой источник непростительно. Здесь можно в качестве примера привести лишь немногие из многих.

-итин(ов). Фамилии *Костромитин(ов)*, *Пермитин(ов)* и т. п. в своем истоке обозначали зачисленного на военную службу по такому-то уезду в котором зачисленный и получал землю, становясь помещиком. Для следующих поколений эти обозначения стали фамилиями. Перечень городов, от названий которых образованы эти фамилии, чрезвычайно четок: Белев, Болхов, Боровск, Венев, Верея, Вязьма, Коломна, Кострома, Луховицы, Можайск, Мосальск, Москва, Пермь, Псков, Ржев, Серпухов, Тверь, Чусовой. Положенные на карту, они очерчивают границы Московского государства на исходе XV в. и датируют расцвет форманта *-итин*.

-ичев. Суффикс *-ич* — один из старейших у славян. Он издавна вошел в славянскую ономастику, образуя патроним, именование по имени отца, очень рано расширил значения, образуя этнонимы (именования племен — *лютичи*, *радимичи*, *кривичи*, *вятичи* и др.), многочисленные топонимы. Из него возник сложный формант *-ов(-ев)* +*ич*. В обоих видах он получил огромную силу в ономастике всех славянских народов. В фамилиях суффикс *-ич* стал монопольным образующим средством у сербов и преобладающим у хорватов, вторым по частотности у поляков, частым и у других народов. У русских он давен в отчествах, но лишь у социальной верхушки (князья, богатыри) много столетий сохранял строго сословную принадлежность — в XVI в., отстаивая свое право на *-вич*, бояре шли в опалу, а то и на плаху; в XVIII в. он дозволен сначала только немногим высшим чинам, затем и пониже, а затем — всем дворянам. Даже на рубеже нашего столетия еще сохранялась социальная окраска его, хотя официального запрета не было. Теперь он стал всеобщей обязательной формой отчеств. В фамилии же *-ич* вошел не как формант, а как часть основы — в цепочке *Фома* — *Фомич* — *Фомичев*, т. е. в отчестве 2-й степени, образуемой из отчества же. Такие фамилии можно встретить всюду (местами — с редуцированным *-и-*, так как в русском языке заударный гласный очень ослаблен, вплоть до нуля — *Егорчев*). О них писал Б.-О. Унбегаун [18] (приведя больше сотни), но он не имел данных о размещении фамилий, а оно статистически чрезвычайно регионально. Максимально скопление их в Верхнем Поочье на стыке областей Тульской (особенно Белёвский, Чернский и смежные р-ны), Орловской, (Болховский, Мценский и соседние р-ны), Калужской (Хвастовичский и др. р-ны). Вероятно проникновение этой модели со стороны Белоруссии (может быть, при неоднократном переносе государственных границ в XVI—XVII вв.). Самые распространенные из них — *Ганичев*, *Демичев*, *Ильичев*, *Ларичев*, *Фомичев*... В Болховском и Белёвском р-нах фамилии с финальным *-ичев* достигли немалой частотности, близкой к 30 чел. на тысячу жителей. По мере удаления от центра своего скопления они резко редеют, и, например, на востоке Тульской обл. и юго-востоке Орловской их частотность едва достигает 1 чел. на тысячу. В среднерусской полосе есть территории с повышенной частотой этих фамилий, но нет крупных скоплений.

Работая над фондами в Вологодском архиве, посчастливилось неожиданно обнаружить их мощный ареал на Севере. Северней, северо-западней, северо-восточней Белого озера (в бывшем Шольском р-не и соседних с ним) фамилии на *-ичев* часты, как нигде,— в среднем 117 чел. на 1 тыс. жителей — почти каждый восьмой (1946 г.). В некоторых сельсоветах еще выше, например, в Городищенском — 160 чел. на 1 тыс. [8]. Удивительно, что из сотен фамилий этой модели повторены в Белозерье те же самые, как и в Верхоочье,— чаще всех *Ганичевы*, *Демичевы*, *Ильичевы*, *Ларичевы*, *Фомичевы*. На восток *-ичевы* лишь единичны, не проникают дальше Харовска и Вологды, а западней встречаем их в Новгородской области, хотя и не слишком часто. Г. В. Судаков рассказал мне, что по-местному преданию, население этих мест пришло «из Литвы». Эта «Литва» — либо Белоруссия, которая была под властью Польско-Литовского государства, либо смоленские земли, разделявшие иногда ту же участь. Переселения были неоднократны. Неясно, произошло ли переселение оттуда и в Верхоочье, и в Белозерье, или второе перемещение было уже внутренним.

-ичкин, *-очкин*. Центр сгущения (впервые его указала в устном сообщении М. Н. Морозова) почти совпадает с *-ичев*, максимальная частота в тех же районах Верхнего Поочья на стыке Калужской, Тульской и Орловской областей (1952—1958 гг.) — 31 чел. на 1 тыс. жителей [9], в окружающих районах частота гораздо ниже; размеры ареала скромней, чем у *-ичев*, в бывш. Мещовском уезде Калужской губ. 1924 г.— все же 17 чел. на 1 тыс. жителей [10], а к востоку, наоборот, обрываются круто. На других территориях они редки. По происхождению эти фамилии — отчества от иронично-ласкательных форм личных имен, чаще — от канонических (*Афоничкин*, *Борисочкин*, *Савочкин*, *Фомочкин*), реже от неканонических (*Звездочкин*, *Ниточкин*). Явно что именования в форме *Афоничка*, *Ниточка* на этой территории были излюбленными, но неизвестно — почему. Вероятно, они поздни, но датировка загадочна, как и причина.

-сков (*Земсков*, *Городсков*, *Донсков*, *Шатсков*, *Сотсков* и др.). Все они — от наличных именований на *-ский* (*-ской*). О них Б.-О. Унбегаун заметил: «нередки у донских казаков» [19], позже донские примеры собрал Л. М. Щетинин [20], на р. Урал их нашел Н. М. Малеча, ценные исследования которого еще ждут публикации. Эта модель характерна для пограничных линий, например, по «засечной черте» XVII в. Симбирск — Шацк — Белгород. Возможен прямой перенос с нее на Дон, на Яик,— Петр I в 1695 г. и 1708 г. переводил из-под Симбирска казаков в Азов и на Медведицу, формируя донское казачество [21]; фамилия *Гребенсков* указывает на гребенское казачество, которое в XIX в. шагнуло с Дона на Кубань и Терек.

-ицын. Всюду можно встретить фамилии *Лисицын*, *Курицын*, но сам суффикс *-ица*, некогда очень продуктивный, ныне архаичен. А на Севере фамилии от основ, образованных с его помощью, в 10 раз чаще, чем где-либо, так как мужские имена с этим формантом там нередки и в XVII в. От них — *Губницын*, *Доильницын*, *Дряхлицын*, *Коробицын*, *Наговицын*, *Репницын*, *Телицын*, *Чицын*, *Шипицын* и др. В Шенкурском уезде в 1897 г. зафиксированы 1556 носителей фамилий этой модели [1].

-утин. Фамилии этой модели «северны», как и *-ицын*: в 1897 г.— в Онежском уезде *Орютин*, *Панютин*, *Парутин*, *Торутин*, в Шенкурском уезде — *Кошутин*, *Малютин*, *Лешутин*, в Мезенском — *Личутин* (отсюда известный современный писатель). Имя *Лабута* у ненца привела Л. В. Хомич [22], но там оно изолированно; в документах XVI в. встречаем на Севере имена *Волдута*, *Кошута*, *Офута*; А. А. Шахматов указал на формы *Машута*, *Мишута*, *Федута* в двинских грамотах XV в. от канонических личных имен [23]. Высказанное мной предположение о приходе суффикса *-ут-* из польского языка (*малютка* и личное имя *Малюта*) [24] получило подтверждение, но там он не первичен, а, очевидно, заимствован из литовского. На Север *-утин* принесен не через Москву, а через Псков и Новгород.

Из многих других региональных моделей в основах фамилий: *-ихин*

в гор. Шишкееве (ныне село в Мордов. АССР) — *Волчихины*, *Глазихины*, *Гусихины*, *Мочалихины*, *Муравьихины*, *Шутихины*, а рядом в крупнейшем с. Гумны ни одного человека с фамилией *-ихин*; *-ачев* в с. Трофимово Орловской обл.— *Климачевы*, *Грудиничевы*, *Головачевы*. Фамилии изобилуют производными формами личных имен (*-агин*, *-ыгин*, *-илин*, *ухин*, *-ушин*, *-аков*, *-анов*, *-имов*, *-ищев* и мн. др.), многие — с ярко различной территоральной частотностью: богатейший источник по истории русского словообразования, полностью упущенный исследователями.

Естественна региональность проникновения форм иноязычного происхождения. Шире и дальше всех продвинут составной формант *-енков* из украинского *-енко* (ср. русск. *-ёнок*: *львёнок*, *утёнок*), господствующего во всей восточной половине Украины и в восточной половине Белоруссии. Его размещение превосходно показали картографически и статистически Ю. К. Редько по Украине [25] и Н. В. Бирилло по Белоруссии [26], но, работая без контакта, оба не заметили важнейшего единства этого ареала, белорусская и украинская части которого взаимопродолжают одна другую, межа идет не по границе современных языков, а как раз наоборот, пересекая ее перпендикулярно. Прямое продолжение этого — распространение фамилий *-енков* в РСФСР, дооформленных господствующим суффиксом русских фамилий (есть и немало *-енко*). В Псковской обл. этот поток шел с юга, поэтому в южных районах они чаще: в Куньинском (1930 г.) они охватывали 5% населения (*Власенков*, *Гавриленков*, *Павлюченков*, даже *Поварищенков* и *Шляхтенков*). Они сильны в Смоленской, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской обл., проникая даже в Орловскую. Широко разлились они на юго-восток — через Тамбовскую и Ростовскую области на Саратовскую, Волгоградскую и Краснодарский край. Характерны вибрации: в документах Идрицкого района Псковской обл. наряду с *-енков* обычны и *-енок* (*Борисенок*, *Егоренок*, *Сергиенок*, *Финанженок* и др.); в документах 1914 г. по Воронежской губ. заурядны записи: Евдокия *Репченко* покупает землю у Ивана *Репченкова* [11, № 85, л. 115], Михаил *Резниченков* у Павла *Резниченко* [11, № 101, л. 294].

Из иного источника проникла в Псковскую обл. модель *-айлов* (например, *Пошибайлов* в Дедовическом р-не) — из литов. (ср. *Гржимайло*). На Вятке и Каме нередки фамилии *-егов*, ряд примеров привели Г. А. Архипов [27] и А. С. Кривощекова-Гантман [28]. В них древен суффикс пермских языков (удмурт. *-ег*, коми *-ог*: *Гачегов* < *гачег* «бобр», *Мошегов* < *мош* «пчела», *Рочегов* < *роч* «русский», *Чечегов* < *чечег* «трясогузка» и мн. др.), относимый Б. А. Серебренниковым к общеуральскому суффиксу отглагольных имен [29]. Суффикс давно мертв и этимологии многих фамилий этой модели темны. В бассейнах Кубани и Терека обильны фамилии с исходом *-иев*, *-оев*, *-уев*, обусловленные преобладанием вокальных финалей в кавказских языках.

В телефонном справочнике Ярославля — *Огибалов*, *Отрепьев*, а Курска — *Агибалов*, *Атрепьев*, в Курске — *Акулов*, а в Архангельске — *Окулов*. Написания отразили местное произношение. Эти факты общеизвестны. Другие известны меньше: на Севере фамилия *Патракеев* — из северной формы *Патракей* (на других территориях *Патрикей*), фамилия *Труфанов* (из канонического мужского имени *Трифон*), *Самылов* (каноническое *Самуил*); смещению *ч* — *ц* там же обязаны фамилии *Цивилев* (диалектное *цивиль* «воробей») и *Чивилихин*. От Костромы до Вологды и Перми налична фамилия *Молоснов* — местное *молосной* «молочный», т. е. скоромный, не постный. Фамилии *Евтинов*, *Евтишев* выдают свое псковское происхождение: в силу псковской замены сочетания *ст* на *т* возникли производные *Евтин* и *Евтиш* из канонических *Евстигней* и *Евстафий*.

На Онеге записана фамилия *Басаргин*, в картотеке Архангельского пединститута *басарга* «трава, не годная на корм». В Ярославле документирована фамилия *Мизулин* и в ярославском диалектном словаре *мизуль* «изюм» [30], в трех опубликованных ярославских диалектных словарях встречено слово *куланда* и в Ярославле — фамилия *Куландин* В Костро-

ме встретилась фамилия *Строкин*, знакомая по архивам (в 1495 г. новгородский крестьянин Сенка *Строкин*, тогда же московский дьяк Иван *Строкин*,— очевидно, еще отчества; в 1610 г. воевода *Строкин* в Рославле), фамилия записана в Лужском уезде 1916 г., на Суре в Среднем Поволжье — в 1897 г., есть в Пермской области. В картотеке диалектных слов, собранных студенческими экспедициями Костромского педин-та, есть карточка, привезенная из Солигалича: *строки* — вредные насекомые, преследующие стада.

В Ашевском р-не Псковской обл. записана фамилия *Стрекавин*, в псковских говорах *стрекать* «жалить, обжигать». Фамилия *Ворохобин* очень редка, хотя ее истоки ранни, еще в 1606 г. зафиксирован в г. Торопец близ Твери *ворохоба дмитриев сын глазов* и его дети *ворохобины* [12], именно в тверских говорах живо слово *ворохба* «непостоянный, растрепанный, противный». Фамилия *Басалаев* записана в Вохме (сев.-вост. Костромской обл.), В. И. Даль привел *басалай* с пометой «Вохма», в значениях «шумливый, повеса, щеголь», наличие этой же фамилии в Томской обл. послужило В. В. Палагиной нитью в поиске истоков томского говора [31]. Глагол *загудать* «обветрить» приведен В. И. Далем как симбирский и пензенский, фамилия *Загудаевы* — в Симбирском уезде XVII в., *Загудалов* — в с. Камешкир на востоке Пензенской области (у границы с бывш. Симбирской губ.). Фамилия *Бурнашев* нередка в Рязанской обл. (например, в с. Азеево ее носит большинство жителей), ее основа *бурнаш* «беспокойный, задира» — диалектная, рязанская. Фамилии *Скрынников* и *Чепурнов* документированы в Дубовском р-не Ростовской обл., словарь донских говоров засвидетельствовал *скрыня* «сундук», *чепурной* «щеголеватый» [32]. В Курганском округе 1897 г. отмечена фамилия *Грешников*; напрасно видеть в ней мораль,— вероятно, она обязана обиходному там значению слова *грешник* «арестант». Диалектное забайкальское слово *шильник* «торговец мелочным товаром» [33], фамилия *Шильников* как раз обнаружена там — в станице Могайтуевской на исходе XIX в. [11, оп. 6, № 338].

На Севере неожиданна фамилия *Казаков*. Откуда она могла взяться? Казачества там никогда не было. В ответ на вопрос приведу северную поговорку: «Я тебе не казак, чтобы на тебя работать!» — совсем непонятно. А слово *казак* дошло туда со значением, кажущимся противоположным привычному: там оно обозначает наемного работника. На вопрос об этимологическом значении фамилии *Бураков* можно ответить только вопросом: «а где она возникла?» На Севере *бурак* — «плетеная корзина», а на всех других территориях — «свекла». Основа фамилии *Кокорин* — *кокора*, на Севере это «пень с корневищем», в вологодских говорах — «неуклюжий, неповоротливый», в пермских — «лентяй», в псковских и тверских — «скупой, жадный», в ярославских — «глупый», у русских в Прибалтике — «толстый блин».

В каждой области тысячи фамилий от местных слов, многие из которых исчезли навсегда. Особенно много их на Севере, где вообще обильны языковые реликты. Выборочный словарик их приложен к моей работе «Северные фамилии» [34]. Это ничтожно малая часть диалектных сокровищ, таимых фамилиями.

Но *Ковалева* встречаем и там, где никогда не звучало слово *коваль*, и *Кочетова* — там, где никогда *петуха* не называли *кочетом* (как и обратно): носители фамилии принесли ее с собой на территорию, где ее основу не знали, как *Астапов* (в телефонном справочнике густо окающей Костромы и *Остапов* в акающем Ельце). Во многих случаях, как с фамилией *Строкин*, трудно решать — распространена ли только фамилия или еще само слово, от которого она образована, а для истории языка нужно решение именно этой дилеммы. Зато не единичны и случаи, когда фамилия, содержащая региональные признаки, тут и возникла, а признаков этих в местном говоре нет, но фамилия убедительно доказывает, что они б ы ли. Исследователь фамилий владеет транспортом, какого не имела самая богатейшая диалектная экспедиция,— «машиной времени», переносящей в прошлое.

Характерна перекличка северных фамилий с новгородскими и псковскими словами; холмогорская фамилия *Шкулев* и псковское *шкуль* «запас», переносно «скупой», *Конечный* (200 чел. в Шенкурском уезде 1897 г., там же,— еще в 1655 г. упомянуты несколько крестьян с этой фамилией) [35] — эхо частейшего новгородского административно-территориального термина *конец*. В свою очередь северные фамилии повторены за Уралом — *Голдобин*, *Пластинин*, *Шадрин* и мн. др. Обе эти связи — прямая параллель связям диалектов, красноречивые следы миграций.

При столь тесных связях фамилий с диалектом удивительно, что их почти не привлекают к исследованию русских диалектов, хотя работы В. В. Палагиной и Г. Я. Симиной могли бы послужить хорошим примером. Совершенно правильно имена собственные исключены из программ диалектных словарей и атласов. Образуя автономную подсистему лексики, как и техническая терминология, они требуют специальных методов и знаний. Но неумеренные увлечения словарями и атласами оттеснили всё, не включенное в вопросники, а это нанесло немалый урон и самому изучению диалектов. Беда не в том, что фамилии не вошли в словари, а в том, что полностью игнорируют этот богатейший источник диалектной лексики. В Архангельской обл. множество носителей фамилий *Брутовы*, *Бурдины*, *Букреевы*, *Бурмагины* — несомненно, что там были ходовыми слова, от которых они образованы. А в недавно вышедшем томе архангельского областного словаря [36] этих слов нет. Их не упустили бы, если бы проявили хоть немного внимания к фамилиям, прямо указавшим точный адрес слова. Составители включили название луга *Бутаково*, но не поискали там слово *бутак*, а в Шенкурском р-не сотни *Бутаковых*; в поисках этимологии я в Архангельске, порасспросив шенкурцев, узнал значение глагола *бутить* «сдирать мох, преграждая путь пожару» (в словаре глагол приведен, но с иным значением). Фамилии драгоценны, указывая исчезнувшую форму слова: в том же словаре, конечно, есть *бобр*, но многие сотни носителей фамилии *Бобрецов* в бывш. Холмогорском и Мезенском уездах не оставляют сомнений, что производное слово *бобрец* имело свое значение. И нередкая в Сибири фамилия *Бубенщиков* (от бубна на спине каторжника) кричит о сибирском слове *бубенщик* «арестант», которое упущено сводным Словарем русских народных говоров [37]. Нет в нем и слова *кровопуск*, сохраненного фамилией *Кровопусков*.

Сегодня нет такой деревни, из которой не было бы студентов в областном городе. Исследователи диалектов, не тратя немалых средств на экспедиции, могут по готовым фамилиям расспросить или поручить узнать в ближайшую поездку на каникулы — живо ли еще то слово, которое там стало основой фамилии или, может быть, его еще помнят старожилы. Едва ли диалектная экспедиция, даже попав в с. Лопаткино (Вадинский р-н Пензенской обл.), нападёт самотеком на слова *буровка* и *шустан*, а на них наводят местные фамилии *Буровкин* и *Шустанов*. Студенту из Аристовки (Городищенский р-н в противоположной части области), возможно, еще удастся найти следы слов, оставивших там память в фамилиях *Васорин*, *Жижикин*, *Скурлыгин*. Диалектные экспедиции необходимо заранее вооружать перечнем интересующих фамилий, выбранных из списка, который нетрудно получить в сельсовете и правлении колхоза. Многое потеряно безвозвратно, но много еще можно спасти для науки, если не откладывать на завтра. Пренебрегать фамилиями для сбора диалектных материалов непростительно и безрассудно.

Изучение диалектов получит от фамилий едва ли меньше, чем изучение фамилий — от диалектологии. Обе науки во многом взаимосвязаны.

В большинстве фамилии внедиалектны. Можно сказать, у них — свои диалекты, независимые от диалектов речевых вне фамилий. Фамилии *Волков* или *Морозов* региональны, но их ареалы не зависят от распространения нарицательных *волк*, *мороз*; не копирует никакого из известных диалектов ареал фамилий в форме *-их*, *-ых*. Совпадение возможно, ему радуются, но лучше радоваться несовпадению: совпадение подкрепляет найденное наукой-смежницей, а несовпадение открывает новое, недоступ-

ное другой науке. Изучение фамилий — не иллюстрация к изучению диалектов, как и обратно.

Фамилии позволяют выявлять междиалектные отношения, прослеживать маршруты миграций, вскрывать генетические связи. Показав на примерах фамилий *Легостаев*, *Невоструев* и мн. др., какие сокровища скрыты в русских фамилиях, О. Н. Трубачев указал, что они не только выводят из небытия исчезшие навсегда русские слова, а и ведут за пределы русского языка: «Лингвистический материал, объединяемый фамилиями России, содержит много интересного для этимологии и выяснения географических сфер взаимовлияния широкого круга языков» [38].

При всей силе региональных различий несомненна объединительная тенденция, проявляемая в разных формах. Возрастающая связь всех частей страны сокращает статистические перепады между ними. К сожалению, нет достаточных сводов фамилий одной и той же местности по различным датам. Недостаточные источники по Устюгу Великому за 1763 г. и 1973 г. позволяют лишь весьма приблизительно выявить основные черты сдвигов: за два столетия преобладающий формант *-ов* (*-ев*) еще усилил свои позиции: ему принадлежало больше половины (в подсчете не фамилии, а их носители), а теперь почти $^2/_3$, несколько сократились фамилии на *-ин*, заметно участились *-ский*, вдесятеро убавились *-их* (*-ых*), упав до 1%, но появились, хотя и в минимальном количестве, прочие формы, которых там не было в 1763 г. Налицо явный процесс выравнивания: усиление общерусских показателей и «вымывание» локальных.

Процесс интеграции начат давно. Замена *-их*(*-ых*) видна на Севере еще в документах начала XVIII в.: ряд фамилий с *-их*, известных в XVII в., оформлен иначе (*Лысов* вместо *Лысых*, *Заборский* вместо *Заборских*). В разных концах Пензенской области (Тарханы, Троицкое, Летево, Камышлей) есть *Каштановы*; на Пензенской земле каштаны не росли,— откуда же взялась фамилия? Пензенское слово *коштан* (с двумя противоположными значениями: «ходатай по делам общины», но и «мироед») [39]. Победа литературного языка модернизовала фамилию. Государственное закрепление фамилий притормозило, но не прекратило изменений. А высокая мобильность (подвижность) населения всюду заметно выравнивает состав фамилий даже и без изменений, сглаживает региональные различия в результате миграций, хотя темпы интеграции нарастают, но процесс этот очень длителен.

ИСТОЧНИКИ

1. Архив Архангельской области. Всероссийская перепись 1897 г., ф. 6, оп. 18 и 19.
2. Архив Орловской области, 1954 г., ф. 2526, 2638, 2540, 2541, 2543, 2552, 2555.
3. Архив Брянской области, 1956 г., ф. 1924, 2444.
4. Архив Псковской области, 1957 г., ф. 983, 1988, 1990, 1991, 2090.
5. Архив Новгородской области, 1896 г., ф. 333, сп. 1, № 10.
6. Тобольский филиал архива Тюменской области, 1897 г., ф. 417.
7. Архив Куйбышевской области, 1896 г., ф. 171, оп. 1, № 125.
8. Архив Вологодской области, 1946 г., ф. 861—Р, № 359.
9. Архив Орловской области, 1951—1954 гг., ф. 3037, 3038, 3048, 3348, 3358.
10. Архив Калужской области, 1924 г., ф. Р—79, оп. 1, № 98.
11. Центральный исторический архив, Л.; ф. 1290, оп. 7.
12. ЦГАДА, 1606 г., ф. 210, № 60.

ЛИТЕРАТУРА

13. *Селищев А. М.* Полог. София, 1931, с. 228—229.
14. *Nikonov V.* Paradoxes toponymiques.— Revue Internationale d'Onomastique, 1959, № 3.
15. *Никонов В. А.* Имя и общество. М., 1974.
16. Русская историческая библиотека, 1912, т. 25, с. 549—741.
17. *Денисевич Г. В.* Собственные имена как материал для диалектологии.— В кн.: Научно-практические очерки по русскому языку. Вып. 6. Курск, 1972, с. 143.
18. *Унбегаун Б.* Отчества на *-ич* и их отношение к русским фамилиям.— В кн.: Исследования по славянскому языкознанию. М., 1971.
19. *Unbegaun B.-O.* Structure des noms de famille russe.— IIIe Congrès international de Toponymie et d'anthroponymie. II. Louvain, 1951, p. 436.

20. *Щетитин Л. М.* Имена и названия. Ростов, 1968, с. 149.
21. *Никонов В. А.* География фамилий Поволжья.— В кн.: Ономастика Поволжья. 4. Саранск, 1976, с. 140.
22. *Хомич А. В.* Проблемы этногенеза и этнической истории ненцев. Л., 1976, с. 119.
23. *Шахматов А. А.* Исследование о двинских грамотах XV в. СПб., 1903, с. 120.
24. *Никонов В. А.* Поиски системы.— Этимология. 1962. М., 1963, с. 226.
25. *Редько Ю. К.* Сучасні українські прізвища. Київ, 1966.
26. *Бирилло Н. В.* Белорусская антропонимия. Автореф. дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Минск, 1969.
27. *Архипов Г. А.* Фамилии, образованные от удмуртских слов.— Вопросы финно-угроведения. Вып. 6. Саранск, 1975.
28. *Кривощекова-Гантман А. С.* Фамилии как источник истории языка и его носителей.— В кн.: Актуальные проблемы лексикологии и лексикографии. Пермь, 1972, с. 250.
29. *Серебренников Б. А.* Историческая морфология пермских языков. М., 1963, с. 154, 167.
30. *Мельниченко Г. Г.* Краткий ярославский областной словарь. Ярославль, 1961, с. 111.
31. *Палагина В. В.* Русские антропонимы XVII в. как источник информации о диалектном составе населения.— В кн.: Вопросы изучения лексики русских народных говоров. Л., 1972.
32. Словарь донских говоров. Т. 3. Ростов, 1976, с. 126, 190.
33. *Элиасов Л. Е.* Словарь русских говоров Забайкалья. М., 1980, с. 463.
34. *Никонов В. А.* Северные фамилии.— Этимология. 1978. М., 1980, с. 143—152.
35. Археографический ежегодник за 1976 г. М., 1977, с. 83.
36. Архангельский областной словарь. Вып. 2. М., 1982.
37. Словарь русских народных говоров. Вып. 3. Л., 1968.
38. *Трубачев О. Н.* Из материалов для этимологического словаря фамилий России.— Этимология. 1966. М., 1968, с. 6.
39. Словарь русских народных говоров. Вып. 15. Л., 1980.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1983

ВИНОКУРОВ А. М.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ В ПЕРИФЕРИЙНЫХ СЛОЯХ ЛЕКСИКИ СОВРЕМЕННОГО АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Светлой памяти Г. С. Щура

Язык не бывает абсолютно единым, он имеет не только территориальные различия, но и варьируется в социальном плане. Наряду с тенденцией к нормализации языковых явлений существует тенденция к дифференциации и специализации речевых форм, стимулирующая развитие субъязыков внутри языковых коллективов, что, в свою очередь, является отражением социальной дифференциации общества. Территориальная и социально-профессиональная дифференциация языка наиболее полно проявляется в варьировании лексических норм.

В настоящее время в английском языке наблюдается ослабление действия нормы в направлении от центра к периферии (особенно в просторечии), в связи с чем словарный состав социально различных слоев лексики отличается значительной проницаемостью [1].

В теории лингвистики в настоящее время уделяется значительное внимание исследованию социально-профессиональных вариантов (диалектов) и их взаимодействию с литературным стандартом [2—7; 9—13].

Изучение просторечной сферы во многом осложняется отсутствием адекватного определения собственно английского просторечия [14, 15]. Заслугой отечественной англистики является разработка критериев выделения просторечной лексики как нормы второго уровня [16, 11, 17], отличающейся своей социальной и функционально-стилистической сниженностью [17]. К дифференциальным признакам просторечия относят также ненормативность и общераспространенность его единиц [15], отсутствие общеупотребительности, пейоративную или вульгарную экспрессию и эзотерическую маркированность [18].

С одной стороны, в понятие «просторечие» включается собственно просторечие [19] и «общий сленг» (социально-профессиональное просторечие не рассматривается из-за «ограниченности его употребления») [15]. С другой — под родовой термин «просторечие» подводятся два видовых — лексическое экспрессивное просторечие («низкие» коллоквиализмы, общие сленгизмы, вульгаризмы) и социально-профессиональное просторечие (кентизмы и профессиональные жаргонизмы). В свою очередь, эти виды просторечия противопоставляются внелитературному просторечию (фонетическим и грамматическим неправильностям) [17]. В классификации А. А. Миллера нелитературный пласт лексического состава английского языка (substandard, по терминологии Л. Блумфилда, Дж. Кеньона и Л. Соудека) состоит из грубо-просторечной лексики, общих сленгизмов, жаргонизмов, арготизмов, вульгаризмов, а также территориальных диалектизмов.

В понятие просторечия мы будем включать грубовато-коллоквиальную лексику, общие и социально-профессиональные сленгизмы и вульгарную лексику (вульгаризмы).

В качестве объекта исследования был выбран американский вариант современного английского языка, периферийные слои лексики которого (и особенно просторечное суффиксальное словообразование) изучены значительно меньше британского варианта. Несмотря на то, что в советской англистике многие черты языкового варианта английского языка США неоднократно становились предметом изучения, например, его звуковая

система, грамматика, лексико-семантическая сфера [А. Д. Швейцер, Г. С. Щур и др.], словообразованию, особенно просторечному, до сих пор уделялось мало внимания.

Немногочисленные исследователи просторечного суффиксального словообразования отмечали, что большинство просторечных дериватов суффиксального типа производится с помощью стандартных словообразовательных средств. Указывая на специфическое использование некоторых «сленговых» суффиксов, не представленных в литературном стандарте, они считали, что удельный вес таких суффиксов в системе средств просторечного суффиксального словообразования невелик, а «просторечность» основы создается в результате нарушения законов морфологической и семантической сочетаемости словообразующих морфем [17, 18, 20, 21, 22].

Языковой материал исследования составили просторечные суффиксальные основы, выявленные в наиболее полных словарях американского сленга и просторечной лексики (всего использовано 15 словарей) методом сплошной выборки, что дало близкий к исчерпывающему список просторечных суффиксальных дериватов. В результате полной инвентаризации было получено 4000 производных. Однако этот список был затем пересмотрен и из него были исключены просторечные дериваты, образованные посредством суффиксов литературного стандарта, например, *-er* в *bewitcher* «привлекательная молодая женщина», *-ee* в *brokee* «тот, у кого не осталось ни гроша», *-ed* в *churched* «обвенчанный», *-ify* в *boozify* «пьянствовать». Кроме того, из рассмотрения исключались дериваты, образованные с помощью суффиксальных последовательностей типа *-ification* в *boozification* «сильное опьянение» и комбинирующихся форм, например, *-ology* в *boobology* «тупость».

Оставшиеся в результате подобной дифференциации просторечные дериваты (1100 единиц), образованные с помощью суффиксальных элементов, не представленных в литературном языке, подверглись дальнейшему языковому анализу, в ходе которого было выявлено, что в просторечном суффиксальном словообразовании английского языка США только субстантивное суффиксальное словообразование обладает развитым набором специфических словообразовательных средств, не представленных в словообразовательном арсенале литературного стандарта. По своим формально-функциональным особенностям такие дериваты могут быть отнесены к просторечию.

Последующий анализ показал, что отобранные таким способом единицы соответствуют принятому в работе определению просторечия. Подтверждением этого служат случаи употребления данных слов в американской художественной литературе в качестве сниженной лексики (всего исследовано 20 произведений).

Рассмотрение специфики просторечного суффиксального словообразования с помощью просторечных суффиксов, не представленных в литературном стандарте, в сопоставлении с суффиксацией последнего требует решения следующих основных задач: 1) исследования лингвистического своеобразия американского английского при учете социально-этнической неоднородности языковых коллективов в США; анализа культурно-языковой ассимиляции и языковых контактов таких коллективов; 2) изучения экстралингвистических факторов (например, нарочито пренебрежительного отношения определенных кругов, связанных со словотворчеством, к культурно-классическому наследию прошлого), непосредственно способствовавших своеобразному «словообразовательному взрыву», который повлек за собой появление целого ряда новых деривационных суффиксальных элементов; 3) установления элементного состава, определения морфемного статуса выделенных единиц и их объединения в подсистему просторечных суффиксов; 4) выявления основных формально-морфологических, дистрибутивных и функциональных закономерностей просторечной суффиксальной подсистемы.

Принятый для решения поставленных в работе задач формально-функциональный метод исследования позволил определить морфемный суффиксальный инвентарь американского просторечия, типы функциональ-

ной связи между морфами-компонентами просторечной суффиксальной основы и особые морфонологические отношения, складывающиеся между компонентами под действием просторечной суффиксации, а также специфику словообразующей функции просторечных суффиксов.

Лингвистическое своеобразие американского варианта английского языка можно представить, употребляя образное выражение американского лингвиста А. Марквардта, как «linguistic melting-pot in miniature», что находит отражение в социально-этнической неоднородности языковых коллективов в США.

В 40-х и 70—80-х гг. прошлого столетия происходила интенсивая иммиграция в США, куда, волна за волной, прибывали переселенцы из Европы и Южной Америки. Результатом этого явилось возникновение так называемых «культурных меньшинств» со всем их резко выраженным своеобразием. Иногда оно проявлялось в том, что отдельные этнические группы иммигрантов сохраняли в Новом Свете родной язык, как, например, испанцы Юго-Запада, французы Луизианы, немцы Пенсильвании (по данным национальной переписи 1960 г., в США проживало около 330 тыс. американцев французского, 770 тыс. испанского, 1 млн. 280 тыс. немецкого и 1 млн. 230 тыс. итальянского происхождения; кроме того, в США зарегистрировано 504 тыс. американцев, говоривших на языке идиш) [23, с. 252].

Приспособление переселенцев к новым условиям жизни в Америке происходило разными путями. Степень их культурно-языковой ассимиляции в немалой степени зависела и от специфического «культурного багажа», который приносила с собой каждая группа. Вследствие языковых контактов постоянно происходил живой процесс взаимообогащения народов, говоривших на разных языках.

Так, например, почти вся терминология фермерского скотоводства состоит из испанизмов. Ср.: *rancho* «ранчо, скотоводческое хозяйство», *cinch* «подпруга», *corral* «загон для скота», *bronco* «полудикая лошадь», *mustang*, *buckaroo* «ковбой». Последнее слово представляет особый интерес. *Buckaroo* (*buckeroo*), образованное по аналогии с испанским заимствованием *vaquero* «пастух», явилось прототипом для выделения суффиксального элемента *-eroo* < *-ero* со значением лица [см. 17, 23—28], давшего жизнь целому словообразовательному ряду. Например, *deckaroo* «палубный матрос», *boozeroo* (от *booze* «выпивка») «пьяница».

Другим примером испано-американских языковых контактов является заимствование мексикано-испанского слова *cafeteria*, послужившего образцом для вычленения из его состава суффикса *-(t)eria* со значением «место торговли чем-либо (с самообслуживанием либо без него) или место обслуживания». Первое употребление слова *cafeteria* в значении «место с самообслуживанием» датируется 1893 г. (на Международной выставке в Чикаго). Первые образования с суффиксом *-(t)eria* появились только в 20-х гг. XX столетия.

Суффикс *-o* также является продуктом выделения и переинтерпретации элемента *-o* в заимствованиях из мексиканского варианта испанского языка типа *dago* (искаженное *Diego*), *gringo* «иностранец, не говорящий по-испански», *loco* «сумасшедший», где *-o* является окончанием им. падежа существительных муж. рода.

Из речи американцев итальянского происхождения в просторечие в 1920 г. проникло слово *bambino* «верзила», в котором суффиксальный элемент *-ino* уже с самого начала не придавал оттенка уменьшительности, отличаясь от аналогичного итальянского суффикса *-ino*(*-ina*). Распространенность итало-испано-американских фамилий также способствовала бо́льшей популяризации суффикса *-ino*. По мнению Г. Менкена, иммигранты-итальянцы сначала изменяли свои фамилии, однако по мере их натурализации в США этот процесс был приостановлен. Итальянские фамилии, не представлявшие трудностей для произношения, сохранялись целиком, например, *Papini*, *Valentino* [23]. Первоначально, очевидно, суффикс *-ino* мог присоединяться и к производным основам суффиксального типа на *-er*, например, *dinger* + *-ino* → *dingerino* «замечательный чело-

век». Несколько позднее, как нам представляется, в результате переосмысления морфной структуры заимствованного элемента, последний, по аналогии со словами типа *dingerino*, стал выделяться как *-(er)ino*, например, *cincherino* от *cinch* «нечто надежное, верное, предрешенное» (форма **cincher* словарями не засвидетельствована).

Влияние диалектов итальянского языка на речь американцев итальянского происхождения сказалось в известной мере и на выделении суффиксального элемента *-ola* [29].

К этой категории суффиксов относятся также суффиксы *-scape* и *-nik*. Остановимся подробнее на истории происхождения, развития и становления суффикса *-nik*.

Своим происхождением, популярностью и быстрым распространением суффикс *-nik* обязан следующим обстоятельствам.

Запуск первого советского искусственного спутника Земли явился событием, которое произвело глубокое впечатление на широкие слои американской общественности. Как отмечает А. Минтон, слово *sputnik* намного быстрее других иноязычных слов прочно вошло в речевой обиход американцев. Так, уже через два месяца после запуска первого искусственного спутника известный американский лексикограф К. Барнхарт включил его в изданный в 1958 г. словарь «Thorndike-Barnhart comprehensive desk dictionary» с дефиницией «an earth satellite» («искусственный спутник Земли»). Об огромной популярности слова *sputnik* в США говорят и такие факты. Например, в одном периодическом издании наша страна была названа *Sputnik Land* «родина спутника». Мысль о наступлении новой эры в истории человечества («the Sputnik age») отражена в образованиях типа *pre-Sputnik* и *post-Sputnik*. Сообщалось, что одно из заседаний Конгресса США получило название «Sputnik Congress» [30].

В конце 1957 г. и немного позднее появляются слова типа *bitchnik* «второй советский искусственный спутник Земли с собакой Лайка на борту» (ноябрь 1957 г.), *muttnik* (с тем же значением от *mutt* «собака, дворняжка»). Успехи советской космонавтики отражены также в следующих новообразованиях: *lunik* «лунник» (январь 1959 г.), *marsnik* «марсник» (межпланетная станция Марс-1, запущенная в СССР 2 ноября 1962 года) и др. Неудача при запуске американского спутника, неофициально названного *Yanknik*, в декабре 1957 г. явилась причиной появления целого ряда слов (всего 26 примеров) типа *dudnik* «невзлетевшая американская ракета», *flopnik* «спутник, который не удалось вывести на орбиту» и др. По свидетельству У. Уайта, заимствование слова *sputnik* в английский язык США явилось для американской прессы знаменательным днем, с которым связано образование многих неологизмов на *-nik* («neologistic field day») [31, с. 153].

Другим фактором, обусловившим популяризацию суффикса *-nik*, было появление так называемого «beat generation» («разочарованного поколения») и вместе с ним слова *beatnik*, привлекших к себе пристальное внимание общественности и породивших немало самых различных и порой противоречивых толкований [см. об этом, например, 32, с. 322—346; 33, с. 399; 34, с. 294—299]. Первый элемент в слове *beatnik* до сих пор не получил адекватной интерпретации. Авторы словаря Вебстера полагают, что *beat* происходит от прилагательного *beat* («exhausted, beaten») «разбитый, усталый». М. Пеи приводит целых три гипотезы, согласно которым *beat*, соответственно, может происходить от a) *beat generation*, b) *beatific* «блаженный» — слова, возрожденного апологетом разочарованного поколения поэтом Дж. Керуаком, и c) *beat of music* в смысле джазового ритма [26, с. 41; ср. также 35].

Более убедительной, на наш взгляд, представляется концепция Г. Менкена и Р. Рекса, согласно которой слово *beatnik* впервые было создано (или, по крайней мере, пущено в обиход) одним из журналистов из Сан-Франциско в популярном разделе газеты «San Francisco Chronicle» за 2 апреля 1958 г. на основе слова *beat* в значении «апатичный, безразличный, вялый».

Второй элемент слова *beatnik* частично навеян пейоративным *-nik* в

nudnik, частично *-nik* в *sputnik*. Во всяком случае, по данным наиболее авторитетных словарей, продуктивность словообразовательной модели с *-nik* в 60—70-е гг. XX в. обязана влиянию и популярности слова *beatnik*.

Наибольшее количество образований с *-nik* приходится на 60-е гг. [см., например, 37, с. 380]. Он приобретает значение «приверженец к.-л. течения, увлечения; лицо, следующее тому или иному образу жизни». Существует мнение, согласно которому распространению суффикса *-nik* в американском английском могли способствовать некоторые причины внутреннего характера, такие, например, как существование греко-латинского суффикса *-ic* в словах *ethnic*, *volcanic*, в которых могло иметь место «ложное» членение и выделение *-nic* (*-nik*), а не *-ic*, а также наличие уменьшительно-ласкательной формы *Nick* от *Nicholas* [38, с. 118].

Особое место в английском языке США занимает суффикс французского происхождения *-ville*, который использовался в литературном стандарте и метрополии, и Америки в топонимах и антропонимах, например, в *Jacksonville* «г. Джэксонвилл, шт. Флорида», *Melville* (Г. Мелвилл, американский писатель, автор романа «Моби Дик», 1819—1891). Считается, что элемент *-ville* чаще встречался в топонимах США, чем Великобритании, вследствие франко-американских контактов времен войны за Независимость колоний (1775—1783 гг.). Одной из причин популярности суффикса называют укоренившееся в народном сознании представление о том, что он может легко соединяться с любыми названиями [39, с. 197]. Ср.: *Dollarville* «г. Долларвилл, шт. Мичиган», *Bugville* «г. Багвилл, шт. Миссури», *Pleasantville* «г. Плезентвилл, шт. Нью-Джерси» и мн. др.

В просторечии суффикс *-ville* сначала употреблялся при обозначении а) провинциального городка, например, в *hickville*, *mudville* «захолустный городишко», б) шутливого прозвища города, например, в *Stirville* «г. Оссиннинг, шт. Нью-Йорк» [местонахождение тюрьмы Синг-Синг: *stir* (сленг) «тюрьма»]; *Derbyville*, *Sluggerville* «г. Луисвилл, шт. Кентукки» [является местом проведения ежегодных скачек «Kentucky Derby», а также центром по изготовлению бейсбольных бит (*slugger* в сленге «бейсболист, обладающий сильным ударом»)].

Начиная примерно с 1955 г. суффикс *-ville* приобрел широкую известность в музыкальных кругах исполнителей «холодного джаза» («cool jazz») и бопа («bop»). Одновременно происходит увеличение семантического объема суффикса до значения «место или состояние, в котором кто-либо или что-либо находится». В первых новообразованиях этого периода еще чувствуется связь с прежним значением *-ville* «место», на что указывает иногда и написание производного с прописной буквы, например, *Squaresville* «город, населенный обывателями; мирок обывателей» (ср. еще: *Dullsville*, *nowhereville*, *sleepyville*). В настоящее время этот суффикс употребляется «посвященными»: джазменами, фельетонистами при описании мира тинэйджеров, а также театральными критиками. Суффикс *-ville* используется также с устаревшими или избитыми сленгизмами, придавая им более современный характер: ср. *Cornville* вместо *corny*; *endville* «лучший; самый большой» вместо *the end* (с тем же значением) [25, 35, 17].

Еще одним источником пополнения просторечного суффиксального инвентаря служит практика своеобразной интерпретации «ученых» слов иноязычного происхождения (так называемое «ложное» членение заимствований). Суть данного явления заключается в том, что ранее неделимое (непроизводное) слово начинает восприниматься как бы состоящим из «нечто» + какое-то характерное окончание. Выделенный таким образом конечный фрагмент слова обретает способность соединяться с другими словами, первоначально его не имевшими. Ср.: *hamburg-er* > *ham-burger*, но *beef-burger*, *catfish-burger*; *cheese-burger*, *double-burger*, *sausage-burger*, *chicken-burger* и др.

Явление, в результате которого определенный звуковой сегмент субморфемного уровня в слове с первоначально простой структурой приобретает морфологическую значимость, получило в лингвистике название морфологизации [40], «иррадиации» [41] или «секреции» [42, 43]. Научно-

техническая революция и приобщение широких масс к грамотности и образованию в XX в. имели и отрицательные последствия. Это выразилось в пренебрежительном отношении к культурному классическому наследию прошлого. По образному замечанию Г. Галинского, такое наследие часто служит в качестве своеобразного карьера, из которого добывается строительный материал для словотворчества в полуклассическом стиле [44, с. 74].

Словотворчество попадает в руки случайных людей: политиканов, технических дизайнеров, коммерсантов, рекламодателей, представителей шоу-бизнеса, газетчиков и т. п. Следствием подобной практики является выделение значительного количества морфологизованных словообразовательных элементов суффиксального типа из слов греко-латинского происхождения, которые получают широкое распространение и начинают образовывать протяженные словообразовательные ряды, отличающиеся регулярностью.

Так, например, морфологизованные просторечные суффиксы *-(o)cracy* и *-(o)crat*, происхождение которых связано с обособлением конечной части регулярного ряда слов типа *aristocracy*, *democracy*, *plutocracy* и, соответственно, *aristocrat*, *democrat*, *plutocrat*, используются в сфере американской политической жизни с некоторым пейоративным оттенком насмешки и издевки. Производные с этими суффиксами могут означать: 1) класс, находящийся у власти или стремящийся к ней (и, соответственно, представителя такого класса), например, *acreocracy* «землевладельцы», *acreocrat* «землевладелец»; 2) определенную форму правления или какую-либо систему (соответственно, сторонника такой формы правления и т. п.), например, *biocracy* «биократия», *biocrat* «биократ»; 3) мир, среду людей одной профессии, общих интересов, занятий (соответственно, должностное лицо), например, *flapperocracy* «мир молодых женщин свободной морали» и *dictocrat* «чиновник, злоупотребляющий бюрократическим жаргоном».

Просторечные суффиксальные производные отличаются некоторыми графико-орфографическими особенностями, что объясняется не только нарочито бесцеремонным обращением «случайных» людей, принимающих участие в словотворчестве, игнорированием этимологической структуры греко-латинских прототипов, но и элементарным незнанием ими закономерностей родного (английского) языка. Наблюдается тенденция параллельного функционирования одной и той же основы как в слитном (нормативная орфография), так и в дефисном написании (нарушение нормативной орфографии). Это касается части дериватов на *-eroo*, *-nik*, *-o*, *-(o)cracy*, *-rama*, *-(t)eria*. Ср. следующие пары: *aceroo* = *ace-eroo*, *holdupnik* = *hold-up-nik*, *crumbo* = *crumb-o*, *shopocracy* = *shop-ocracy*, *shoparama* = *shop-a-rama*, *hatateria* = *hat-a-teria*.

Имена собственные в составе субстандартных суффиксальных производных сохраняют написание с прописной буквы, как, например, в *Bronxnik* (от *Bronx* «Бронкс» — один из пяти районов Нью-Йорка) «крышка смотрового колодца в Нью-Йорк Сити». У аббревиатур от имен собственных, состоящих из трех-четырех прописных букв, на письме сохраняется только первая, например, *Gop-nik* (*GOP* = *Grand Old Party* «член Республиканской партии», *Waacaroo* (*WAAC* = *Women's Army Auxiliary Corps*) «военнослужащая». Присоединяющийся суффикс пишется с темой как слитно, так и через дефис, например, *SFnik*, *OOB-nik*.

Двойственная природа орфографии просторечного словообразования проявляется также и в явлении графического усечения. По правилам нормативной орфографии немая *e* подвергается усечению перед суффиксом с вокальным началом, например, в *infinit(e)-o-rama*, *chocolat(e)eria*, *smok-(e)atorium* (в круглые скобки заключен усекающийся элемент). В целом ряде основ немая *e* не усекается, например, в *state-o*, *slaveocracy* и др. Иногда при этом наблюдается сосуществование двух параллельных форм — как с усечением немой *e*, так и без усечения перед вокальным началом суффикса, например, *spacorama* — *spaceorama*. Одновременно происходит нарушение диакритической функции немой *e*, поскольку изменяется произношение исхода темы с мягкого на твердое *c*, т. е. [s] переходит в [k].

Нормативная орфография требует, чтобы немая *e* сохранялась перед суффиксом с консонантным началом во избежание изменения качества темы, как, например, в *housescape*, *danceteria*, *completenik*. У части дериватов, однако, происходит усечение *e* в позиции перед консонантным началом суффикса, например, в *disput(e)nik*, *cultur-erudit(e)nik*.

Для некоторых основ с суффиксами *-eroo*, *-nik*, *-o*, *-o(o)cracy*, *-ola*, *-orium*, *-rama*, *-ville* характерно только дефисное написание, что совершенно не свойственно суффиксальным производным литературного стандарта.

К другим явлениям, присущим некоторым субстандартным дериватам на *-eroo* и *-o*, относится нарушение правил диакритического удвоения согласных, т. е. удвоения конечных согласных консонантного исхода темы перед суффиксом с вокальным началом для сохранения краткого качества гласных. Ср.: *juggaroo* — *jugaroo*, *hammeroo* — *hameroo*, *grappo* — *grapo*, *whammo* — *whamo* и др.

Графическим своеобразием отмечены некоторые основы типа *rhino* (от *rind*) «деньги, звонкая монета», где *-h-* — графическая вставка, не влияющая на фонетическую структуру слова. В *double-o* (т. е. два *o* в словах *once over*) «быстрый, но внимательный взгляд» имеет место передача с помощью графики сходства двух широко раскрытых глаз (следующие друг за другом две буквы *o*).

Подведем некоторые итоги. В результате проведенного исследования из общей системы словообразовательных элементов современного американского английского была выделена подсистема просторечных суффиксов, т. е. частное относительно автономное множество элементов системы [45, 46]. Подобно системе, любая из частных подсистем обладает интегрирующим ее элементным составом. Морфемный словарь элементов просторечной суффиксальной подсистемы современного английского в США базировался на выделении и объединении в подсистему суффиксов, возникших в результате: а) переосмысления морфемной и семантической организации (структуры) заимствованных элементов, функционировавших в языке-источнике в качестве словообразовательных морфем суффиксального типа: *-(er)ino*, *-eroo*, *-nik*, *-o*, *-ola*, *-scape*, *-(t)eria*; в) морфологизации конечной части греко-латинских прототипов вследствие «ложного» членения последних: *-(o)cracy*, *-(o)crat*, *-orium*, *-rama*; с) приобретения новых формально-функциональных характеристик непродуктивным в литературном стандарте суффиксом: *-ville*.

Ряд достаточно эксплицитно выраженных формально-функциональных особенностей просторечных суффиксов дает основания для системной интерпретации наблюдаемых здесь явлений морфонологического, дистрибутивного и функционального характера в сопоставлении с системой суффиксов литературного стандарта.

1. Формальная специфика элементов такой подсистемы выражена в относительно небольшой вариативности их фонематического(два-четыре алломорфа) состава за счет сегментных субморфов (до семи фонем, например, в *-nocracy*). Состав сложных полиморфных субстандартных суффиксов характеризуется наличием супрасегментного субморфа (сильного ударения), имеющего прототипическое происхождение [*-(t)eria*, *-(er)ino*, *-eroo*, *-ola*, *-(e)cracy*, *-oholic*, *-orium*, *-rama*].

2. Просторечные суффиксы создают особые морфонологические отношения между компонентами, конституирующими субстандартные дериваты. Следствием этого является качественная перестройка фонемного состава корневых морфов основы (усечение), например, в *scrambola* < *scramble* + *-ola* «драпанье». Вместе с тем наложение конечной фонемы темы и инициальной фонемы суффикса на морфемном шве — явление малохарактерное. Важной субсистемной чертой просторечной суффиксации, в отличие от стандартной, следует признать полное отсутствие чередований консонантного исхода темы на стыке корневого и суффиксального морфов.

3. Высокая степень членимости просторечной основы, широкие комбинаторные возможности сочетания с различными классами морфем — элементов подсистемы связаны с преобладанием свободных швов между морфами-компонентами.

4. Многоморфность просторечных дериватов может создаваться только за счет удлинения корневой последовательности до двух-трех морфов, как, например, в *keyholerama* «зрелище, которое открывается человеку, подглядывающему сквозь замочную скважину», *hatchecknik* «гардеробщик». Предельная суффиксальная последовательность в просторечных дериватах не превышает двух морфов, как, например, в *sleepyville* «сонное царство».

5. Важной субсистемной чертой просторечной суффиксации является почти полная неспособность просторечных основ к дальнейшей деривации. Следовательно, суффиксальные последовательности в таких дериватах, являясь смешанными (типа «стандартный суффикс + просторечный суффикс»), представляют собой образец межсистемных словообразовательных связей (синтагматика).

6. В парадигматике межсистемные словообразовательные связи проявляются в возникновении интерсистемных стандартно-просторечных парадигм. Подобные деривационные парадигмы состоят из субституирующихся суффиксальных морфем. При этом под действием просторечной суффиксации может иметь место изменение морфемного статуса корневого морфа: зависимый уникальный в литературном стандарте морф (в основах с примарными суффиксами), сочетаясь с просторечным суффиксом, переходит в категорию зависимого неуникального, т. е. происходит субституция одного суффиксального морфа другим после данного корневого морфа. Например, *millin:ery — millin/teria.*

7. Функциональная специфика просторечной суффиксации выражается, во-первых, в индикации субстантивности основы всеми просторечными суффиксами. Все суффиксы (кроме *-(er)ino*) являются смешанными (эндоэкзоцентрическими). Следует отметить, что при существующей возможности словопроизводства от различных частей речи (в этом смысле уникальным является суффикс *-nik*, который может производить основы от восьми лексико-грамматических разрядов: существительных, прилагательных, глаголов, наречий, местоимений, предлогов, союзов, междометий) просторечные суффиксы наиболее продуктивны при производстве от субстантивных тем, что накладывает известные ограничения на смысловую структуру производных.

8. Доминирующая моносемия семантической функции типично просторечных суффиксов, заключающаяся в выражении значения лица или предметности, небольшая степень или полное отсутствие абстрагированности отличает их от большинства суффиксов литературного стандарта, достигших высокой степени абстрактности. Для некоторых из исследованных суффиксов характерной чертой является преобладание коннотативного компонента семантической функции над денотативным. Так, например, некоторые дериваты получают фамильярно-пейоративную окраску, которая привносится суффиксом *-ville*, например, в *flatsville* «женщины с неразвитой фигурой». В качестве интенсификатора могут употребляться, например, *-(er)ino* в *peacherino* (от *peach*) «нечто замечательное», *-eroo* в *muffaroo* (от *muff*) «промах, неудача» и некот. др.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дополнение к Большому англо-русскому словарю. Под ред. Гальперина И. Р. М., 1980, с. 9.
2. *Винокуров А. М.* Субстандартная суффиксация в английском языке США: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Калинин, 1980.
3. *Филин Ф. П.* О просторечном и разговорном в литературном языке.— ФН, 1979, № 2.
4. *Филин Ф. П.* О так называемом «диалектном» языке.— ВЯ, 1981, № 2.
5. *Домашнев А. И.* Некоторые вопросы немецкого сленга и особенности его ареальных вариантов.— В кн.: Теория и практика лингвистического описания разговорной речи. Горький, 1968.
6. *Домашнев А. И.* Некоторые проблемы социолингвистической типологии и функциональная стратификация современного немецкого языка.— В кн.: Теория языка и инженерная лингвистика. Л., 1973.
7. *Швейцер А. Д.* Литературный английский язык в США и Англии. М., 1971.

8. *Швейцер А. Д.* Вариантность языковой нормы в территориальном и социальном аспектах.— SaS, 1975, XXXVI.
9. *Швейцер А. Д., Никольский Л. Б.* Введение в социолингвистику. М., 1978.
10. *Бондалетов В. Д.* Социальные диалекты и их классификация.— В кн.: Всесоюзная научная конференция по теоретическим вопросам языкознания. М., 1974.
11. *Маковский М. М.* Взаимодействие ареальных вариантов «слэнга» и их соотношение с языковым «стандартом».— ВЯ, 1963, № 5.
12. *Маковский М. М.* Пути реконструкции социальных диалектов древности.— ВЯ, 1972, № 5.
13. *Маковский М. М.* Английская диалектология. Современные английские территориальные диалекты Великобритании. М., 1980.
14. *Хомяков В. А.* Введение в изучение слэнга — основного компонента английского просторечия. Вологда, 1971.
15. *Медвидь О. С.* Просторечие английского языка: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Киев, 1975.
16. *Маковский М. М.* Английские социальные диалекты. М., 1982.
17. *Хомяков В. А.* Структурно-семантические и социально-стилистические особенности английского экспрессивного просторечия. Вологда, 1974.
18. *Миллер А. А.* Стилистически сниженная лексика и ее отражение в двуязычных словарях: Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Алма-Ата, 1972.
19. Русский язык: Энциклопедия. М., 1978, *s. v.*
20. *Soudek L.* Structure of substandard words in British and American English. Bratislava, 1967.
21. *Wächtler K.* Zur substantivischen Wortbildung mittels Lehnsuffix in amerikanischen English.— In: Worbildung, Syntax und Morphologie. The Hague, 1969.
22. *Овденко А. В.* Специфика полисемии и омонимии разностилевых слов (на материале американского сленга XX века): Дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Калинин, 1973.
23. *Mencken H. L.* The American language. New York, 1977.
24. *Wentworth H.* The neo-pseudo-suffix *-eroo*.— American speech, 1942, v. 17, № 1.
25. *Wentworth H., Flexner S. B.* A dictionary of American slang. London, 1963.
26. *Pei M.* Words in sheep's clothing. New York, 1969.
27. *Cassidy F. G.* Another look at buckaroo.— American speech, 1978, v. 53, № 1.
28. *Hill A. A. Buckaroo* once more.— American speech, 1979, v. 54, № 2.
29. *Randle W. Payola.*— American speech, 1961, v. 36, № 2.
30. *Minton A.* Sputnik and some of Its offshootniks.— Names, 1958, v. 6.
31. *White W.* Sputnik and its satellites.— American speech, 1958, v. 33, № 1—2.
32. *Митрохин Л. Н.* Американские миражи. М., 1965.
33. БСЭ. 3-е изд., 1970, т. 3.
34. *Teffler A.* Future shock. New York, 1971.
35. *Schönfelder K.-H., Wirzberger K.-H.* Literatur der USA im Überblick. Leipzig, 1977.
36. *Rex R.* The origin of *beatnik*.— American speech, 1975, v. 50, № 3—4.
37. *Laird Ch.* Language in America. Englewood Cliffs (New Jersey), 1972.
38. *Kiparsky V.* Les aventures d'un suffixe.— RÉSl, 1964, v. 40.
39. *Stewart G. R.* Names on the land. A historical account of place-naming in the United States. New York, 1945.
40. *Ахманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
41. *Pichon Ed.* L'enrichissement lexical dans le français d'aujourd'hui. Les principes de la suffixation en français. Paris, 1942.
42. *Jespersen O.* Language. Its nature, development and origin. London, 1949.
43. *Marchand H.* The categories and types of present-day English word-formation. Birmingham (Alabama), 1966.
44. *Galinsky H.* Amerikanisches und britisches English. München, 1975.
45. *Зятковская Р. Г.* Установление морфемных подсистем: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Киев, 1972.
46. *Кубрякова Е. С. Мельников Г. П.* О понятиях языковой системы и структуры языка.— В кн.: Общее языкознание. Внутренняя структура языка. М., 1972.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1983

ЧИНЕНОВА Л. А.

ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОЙ ИДИОМАТИКИ

Совокупность процессов, регулярно осуществляющихся во фразеологических единицах современного английского языка, можно назвать рецессивными. Необходимость в таком термине вызывается тем, что обычно фразеологическая единица (а в особенности идиоматическая фразеологическая единица) рассматривается как нечто абсолютно устойчивое, фиксированное, как единица, вошедшая в язык и функционирующая в речи как некое незыблемое «глобальное» целое, которое, несмотря на свою раздельнооформленность, имеет одно, общее значение, полностью подчиняющее себе значения составляющих его раздельнооформленных единиц.

Однако, как показали многочисленные исследования, фразеологические единицы не только не остаются неизменными, раз и навсегда данными, но постоянно меняются и развиваются. Поэтому задача научного исследования в этой области состоит в том, чтобы, изучив общие направления непрерывно осуществляющихся процессов изменения языка, постараться понять специфику и «направленность» тех изменений, которые определяют существование и диалектическое развитие идиоматической фразеологии.

Прежде, чем приступить к решению этой задачи, необходимо раскрыть диалектическое единство одновременного (синхронического) и разновременного (диахронического) в составе фразеологических единиц. Дело в том, что фразеологическая единица, которая онтологически является раздельнооформленным изолированным словосочетанием, несет в себе диалектическое противоречие между формальной раздельнооформленностью компонентов и семантической глобальностью целого. Постоянное взаимодействие этих аспектов фразеологической единицы как специфического языкового явления не может не оказать влияния на характер ее развития и порождает силы, ориентированные как бы в двух разных направлениях. С одной стороны, в составе фразеологической единицы развиваются процессы, направленные на семантическое слияние компонентов, подавление их частных значений и образование единого семантически неделимого целого. С другой стороны, предельные компоненты фразеологической единицы, оставаясь потенциально словами, обнаруживают тенденцию вычленяться из состава фразеологической единицы уже не как потенциальные, но вполне реальные лексические единицы.

А. И. Смирницкий ввел термин «потенциальное слово» для обозначения производных или сложных слов, которые, не являясь собственно единицами языка, представляют собой образования, целиком состоящие из более элементарных языковых единиц [1, с. 18]. Такие слова создаются в речи и обусловливаются всем составом и закономерностями языка как системы. В настоящей работе термин «потенциальное слово» употребляется в том его значении, в котором он был применен О. С. Ахмановой для обозначения компонентов фразеологической единицы, способных в определенной речевой ситуации актуализироваться, выделиться [2—4]. Выпадая из состава фразеологической единицы, потенциальное слово реализует значение, обусловленное не семантикой исходного слова, но общим значением соответствующей фразеологемы. Так, употребление английского слова *moon* «луна» в следующих контекстах может служить примером «выпадения» или «секреции» (по терминологии О. Есперсена) потенциального слова из состава фразеологической единицы *to cry for the moon* «же-

лать невозможного»: «And yet there was the moon and he could not forget how Fleur had always wanted it» (J. Galsworthy, Swan Song); «— But if you want to have or to know anything particular, Fleur, I'd like to be told» — «Only the moon, my dear» (J. Galsworthy, Swan Song). В этом коротком отрывке слово *moon* употребляется не в своем основном значении «Луна, небесное тело». Совершенно новое его значение «птичье молоко» как бы извлечено из общей семантики фразеологической единицы *to cry for the moon*. Понятно, что сходство с этой русской фраземой самое поверхностное, потому что коннотации, возникающие при реализации слова *moon* в данной речевой ситуации, оказываются совершенно иными. Сходство в том, что в обоих случаях имеется в виду что-то недостижимое, а потому обладающее особой притягательной силой.

Семантическое переразложение (семантический метанализ) [2, с. 319], которому подвергается фразеологическая единица *to cry for the moon*, в отличие от морфонологического переразложения состоит в том, что сохраняя формальные границы между словами, оно приводит к возникновению по существу совершенно новой лексической единицы. Выделившись из состава фразеологической единицы, слово *moon*, если оно «привьется» будет повторяться в этом значении, войдет в язык как своеобразный стилистический омоним (или как особое метафорическое значение) по отношению к *moon* как названию спутника Земли.

Пример со словом *moon* интересен тем, что сама фразеологическая единица в данном контексте вообще не представлена и присутствует лишь имплицитно, поскольку предполагается, что она хорошо известна всем говорящим на английском языке. Такое обособленное употребление компонента фразеологической единицы, т. е. явление «секреции» потенциального слова, когда оно приобретает способность отдельного воспроизведения вне всякой связи с генетически родственной фразеологической единицей, следует отличать от тех случаев, в которых актуализация потенциального слова происходит в результате устойчивой деформации соответствующей фраземы. Так, например, фразеологическая единица *the skeleton in the cupboard* (американский вариант *the skeleton in the closet*) «семейная тайна неприятного или постыдного характера, которую следует оберегать от разглашения», легко и устойчиво деформируется в английском языке: «Michael, it will be seen, had remained quite ignorant of the skeleton in Soames' cupboard» (J. Galsworthy, Swan Song); «It was the skeleton in his house and the family walked by it in terror and silence» (W. Thackeray, Vanity Fair).

Об устойчивости и распространенности этого явления свидетельствует также тот факт, что деформированный вариант данной фразеологической единицы дается в новейших фразеологических словарях: «I learned yesterday that their eldest son has been twice sent to prison. I wonder how many other skeletons they've got in their cupboard» [5].

Но можно ли и здесь говорить о вычленении, «секреции» потенциального слова *skeleton* со значением «неприятная, постыдная для кого-либо тайна», можно ли полагаться на материалы словарей, согласно которым слово *skeleton* в данном значении является частью современного английского словоупотребления? Так, например, толковый словарь Лонгмена наиболее адекватно отражающий состояние современного английского языка, регистрирует данное значение как одно из значений исходного слова и иллюстрирует его следующей фразой: *It is time to bring the family skeleton out of the cupboard* [6]. Хотя материалы подобного рода свидетельствуют о весьма интересных тенденциях в развитии данной фразеологической единицы в современном английском языке, представляется преждевременным давать фразеологически обусловленное значение *skeleton* наряду с основным значением слова. Это невозможно потому, что данное значение слова *skeleton* реализуется только до тех пор, пока последнее остается частью соответствующей фразеологической единицы.

К сожалению, в английских словарях не проводится достаточно четкая грань между так называемой «иллюстративной фразеологией» (т. е. словосочетаниями или предложениями, которые создает сам лексикограф

для иллюстрации использования соответствующего слова или одного из его значений) и «филологической фразеологией» (т. е. материалом, который лексикограф заимствует из произведений художественной или естественно-технической литературы). Смешение этих двух типов фразеологии состоит в том, что на основании некоего конкретного употребления делается вывод о наличии у определенного слова соответствующего значения, которое, в свою очередь, иллюстрируется тем же самым примером, который явился для лексикографа основанием для его выводов. Безусловно, между филологической и иллюстративной фразеологией существует очень тесная связь, но говорить о том, что значение слова является частью языка (langue), можно только тогда, когда сам лексикограф может создать иллюстративную фразу, т. е. когда он сам на основании обширного материала может показать, как это слово должно быть употреблено. Поэтому надо продолжать исследовать факты, внимательно следя за «зарождением» новой монолексемной лексической единицы. Пока мы располагаем лишь несколькими случаями отдельного, обособленного воспроизведения потенциального слова *skeleton*. Приведем один из них: «Oh! I don't think I'm denying the importance of the biographical element in literary appreciation. I know very well how much a full knowledge of a writer's life... adds to the interpretation of his work. But I am more and more disinclined to expose *skeletons* that have been so carefully buried» (A. Wilson, The Wrong Set). Совершенно очевидно, что в данном случае речь идет не о каких-то «скелетах» в техническом смысле слова, но о тайнах личной жизни поэта, в частности, как это следует из более широкого контекста, о тайне рождения сына известного английского поэта-романтика П. Б. Шелли, которые герой рассказа — профессор Оксфордского университета, занимающийся изучением его творчества, не склонен обнародовать.

В связи со сказанным следует заметить, что семантическое переразложение фразеологической единицы, выделение в результате такого переразложения ее отдельных компонентов с новым значением, которое в конденсированной форме выражает семантику всей фразеологической единицы, не представляет собой уникального, специфически английского явления. Подобные процессы, как показали специальные исследования, обнаруживаются в русском, французском, немецком и во многих других языках, что свидетельствует об определенной объективной закономерности развития идиоматической фразеологии в разных группах языков [7—9].

Поэтому необходимо еще раз подчеркнуть, что исследование идиоматической фразеологии различных языков должно строиться с учетом диалектического характера двух противоположно ориентированных процессов, с одной стороны, «изоляции» (превращения определенной последовательности элементов в глобальную, семантически неделимую единицу), а с другой стороны, «вторичного» ее разделения, семантического «раздробления» и появления по существу новых лексем, омонимичных по отношению к тем, которые явились основой сложной многоэлементной идиомы. Своеобразие «вторичного» или, как было обозначено в самом начале статьи, «рецессивного» процесса состоит в том, что слова, которые перестали быть полноценными словами и превратились в слова потенциальные, вновь как бы «оживают», но уже в другой плоскости, приобретая новое значение, не свойственное первоначальной семантике слова. Создаваясь как некое новообразование, как произведение автора данной речи, потенциальное слово может быть подхвачено и воспроизведено другими членами данного языкового коллектива, а также независимо создано в других актах человеческого общения и в конце концов может стать реальной единицей словарного состава данного языка.

Понятно, что динамику процессов, осуществляющихся в составе фразеологической единицы, можно изучать только на основе диалектического единства языка и речи, принципа первичности языковой материи — речи. Речевой или функциональный аспект изучения идиоматической фразеологии оказывается чрезвычайно важным, поскольку именно в речи первона-

чально намечаются и осуществляются те процессы, которые приводят не только к возникновению фразеологической единицы как отдельной единицы словаря, но и к ее распаду и образованию новых единиц на ее основе. Действительно, как отмечали многие исследователи лексики, в частности, В. В. Виноградов, которого интересовали прежде всего вопросы функциональной фразеологии, первый шаг в «рецессивном» развитии фразеологической единицы состоит в том, что она начинает подвергаться разнообразным преобразованиям в речи. Как известно, деформация фразеологических единиц как лингвостилистическое средство усиления эмоционально-экспрессивной стороны высказывания — явление речи. Стремление говорящего избежать употребления разного рода «окаменелых метафор», банальных и избитых фраз и клише побуждает его подвергать фразеологические единицы разнообразным преобразованиям и деформации.

В зависимости от конечных результатов деформации обычно выделяются два основных процесса.

Первый — это такой вид деформации, когда актуализируется потенциальное слово в новом значении, которое оно приобрело в составе фразеологической единицы. Этот вид деформации известен как метаметафора: «All his decisions were formed of a cream which he skimmed off the family mind, and through that family off the minds of other families of similar fibre» (J. Galsworthy, The Man of Property). В данном примере обыгрывается фразеологически обусловленное значение слова *cream* как компонента фразеологической единицы *to skim the cream off* «снимать сливки». Метаметафора, когда образ, закрепленный в идиоматической системе языка, развертывается дальше и обыгрывается, является довольно распространенным видом деформации, затрагивающим как структурное, так и семантическое единство идиомы. Так, фраза *time was flying, his bird in the bush no nearer the hand*, созданная Д. Голсуорси на основе известного фразеологического оборота *a bird in the hand is worth two in the bush* (буквально он означает «пойманная птица стоит двух непойманных»), находится в сложных семантических отношениях с исходной единицей.

Второе направление — это оживление исконного, первоначального значения компонентов фразеологической единицы, когда они вновь наполняются утраченным ими конкретно-лексическим значением. Так, именно на обыгрывании буквального и фразеологически обусловленного значений компонента *hat* «шляпа, головной убор» фразеологической единицы *I'll eat my hat* «будь я не я, даю голову на отсечение» основан юмор следующего высказывания: «„Yes, sir, if that was the language of love, I'll eat my hat",— said the blood relation, alluding, I took it, to the beastly straw oontraption in which she does her gardening» (P. G. Wodehouse, All about Jeeves).

Оба вида деформации порождаются диалектическим противоречием формы и содержания, лежащим в основе данного языкового явления, и сопровождаются различными изменениями в просодическом оформлении соответствующей фразеологической единицы, нарушением последовательности ее компонентов, их состава и т. д.

В последнее время наметилось новое направление в изучении явления деформации фразеологических единиц, их окказионального преобразования в речи. В работах этого направления, представленного многочисленными исследованиями, способность фразеологизмов к разного рода окказиональным преобразованиям в речи рассматривается как специфическая функциональная особенность данной разновидности единиц языка, обусловливаемая ее онтологией как раздельнооформленной единицы, и дается исчерпывающий анализ разного типа деформаций [10—13].

В контексте настоящей работы деформация фразеологических единиц рассматривается не как обусловленный особенностями функционирования данных единиц лингвостилистический прием увеличения выразительности речи, но как определенный этап в развитии фразеологической единицы, как первый шаг на пути ее «рецессивного» движения, веду-

щего, в конечном итоге, к деидиоматизации и семантическому переразложению фразеологической единицы. Поэтому таким важным оказывается вопрос о том, когда и почему фразеологическая единица начинает подвергаться деформации, каковы те социолингвистические предпосылки, которые способствуют или задерживают развитие идиоматического фонда языка.

Одним из недостатков современной идиоматической фразеологии как науки является то, что до сих пор остается неясным, каким образом и для каких целей вообще используются идиоматические единицы. Сколь часто и разнообразно прибегают к данному типу лингвистических единиц, например, говорящие на русском языке? Обусловливается ли частотность употребления идиом в речи говорящего его идиосинкратическими свойствами или это явление чисто историческое, и можно говорить о различном отношении к идиоматической фразеологии со стороны сменяющих друг друга поколений. Наблюдения показывают, что речь представителей старшего поколения богаче идиомами, чем речь современной молодежи. Чтобы ответить на этот вопрос, позволим себе небольшой экскурс в область социолингвистики английской идиоматической фразеологии.

Изучение движения и развития фразеологического фонда английского языка в диалектическом единстве его разновременного и одновременного состояний вскрыло эволюцию отношения языкового коллектива к той разновидности фразеологических единиц, которые известны как собственно «идиомы», а также к пословицам [1, с. 225].

Специфическая диалектика деформированной и недеформированной, узуальной и окказиональной форм идиом, обнаруженная в современном английском языке, свидетельствует о том, что оценка той или иной «собственно идиомы» с точки зрения речевой нормы, частотность ее воспроизведения и особенности ее функционирования обусловливаются своеобразием развития языка на определенном историческом этапе. Речевой нормой в современном английском языке является деформированная идиома, в то время как употребление ее в узуальной словарной форме вызывает отрицательное отношение со стороны образованных англичан, говорящих на английском языке на уровне абсолютного им владения. Так, в тексте рассказа Э. Вильсона «Mother's sense of fun» мы находим интересное подтверждение высказанного положения. Герой рассказа, преподаватель английской литературы в Оксфорде и, следовательно, человек образованный, с хорошо развитым чувством языка, возвратившись домой после долгого отсутствия, находит речь своей матери,— женщины малообразованной, но с претензиями на культуру,— вульгарной. Неодобрение героя вызывает привычка его матери насыщать свою речь фразеологическими единицами, которые давно уже утратили свежесть и оригинальность и повторять которые, по мнению образованного англичанина, есть проявление лености ума и нетворческого отношения к языку. «The words she employed too, were surely specially designed to rob the English language of any pretensions to beauty it might possess... It always „rained cats and dogs", that is if the rain did not look like holding off; Alice Stockfield „was a bit down in the mouth", but then she let things „get on top of her"; Roger Grant was „certainly no Adonis", but she had „an awfully soft spot for him"» (A. Wilson, The Wrong Set).

Изучение произведений отдельных современных писателей, в частности, творчества С. Моэма, показало, что использование идиоматической фразеологии служит для автора средством речевой характеристики персонажа. Так, заставляя Китти, героиню романа «The Painted Veil», пользоваться единицами типа *to rain cats and dogs* «лить как из ведра (о дожде)», С. Моэм подчеркивает ограниченность героини, свойственную той мелкобуржуазной среде, в которой она выросла: «If it was raining and she said: „It's raining cats and dogs", she would have liked him to say: „Yes, isn't it". He remained silent».

Функционирование пословиц в современном английском языке характеризуется теми же особенностями: и здесь обнаруживается тенденция к введению пословиц в речь в деформированном виде. Объяснение этого

явления следует искать не столько в стремлении говорящего усилить выразительность свой речи, сколько в принципиальном изменении отношения современных англичан к пословицам вообще [14]. В противоположность этому литература XIX в. отражает положительное отношение англичан к пословицам, введение которых в речь часто сопровождалось одобрительными высказываниями типа *the truth of the adage*, *the wisdom of the saying*, *there is a true saying* и т. д. Из этого следует, что в XIX в. пословица рассматривалась как некое мудрое изречение, основанное на народном опыте, причем воспроизведение единиц такого рода вполне соответствовало языковой норме того времени. В литературе же XX в. преобладают отрицательные оценки пословицы как банального, стереотипного клише. Пословица, воспроизводимая в ее недеформированной, узуальной форме, как правило, включается в контекст, содержащий ее отрицательную оценку: например, «And for no reason at all the stupid proverb of my school-days ran through my mind, time and tide wait for no man» (D. de Maurier, Rebecca); «You forget that you cannot teach an old dog new tricks. And now look what you've done, you've made me use an ugly vulgar proverb» (A. Wilson, The Wrong Set). Деформированная пословица, напротив, вызывает положительную оценку у англичан, как необходимое условие живости и изящества речи: «He... admired the smartness of the sign — a fill in time saves getting stuck — gas today 31 cents» (S. Lewis, Babbit). Ср.: *A stitch in time saves nine.*

Таким образом, социолингвистический аспект изучения идиоматической фразеологии оказывается чрезвычайно важным, ибо только такой подход позволяет вскрыть особенности функционирования данных единиц в речи, объяснить причины столь широкого распространения явления деформации фразеологических единиц. Социолингвистическое направление в изучении идиоматической фразеологии позволяет решать целый ряд проблем прагмалингвистического характера, а именно, установить соотношение идиоматической фразеологии с различными регистрами речи, раскрыть особенности употребления данных единиц представителям различных поколений и социальных слоев англичан [1].

Возвращаясь к проблеме деформации фразеологических единиц как началу «рецессивного» семантического процесса, необходимо подчеркнуть, что рецессивное развитие той или иной фразеологической единицы, ее семантическая перестройка возникает лишь тогда, когда эта единица достаточно прочно утвердилась в языке, известна большинству говорящих на нем. Этот процесс может быть ускорен или замедлен теми специфическими особенностями, которые характеризуют язык в тот или иной период его развития.

Выше мы подробно останавливались на двух весьма типичных случаях развития фразеологических единиц *to cry for the moon* и *the skeleton in the cupboard*, которые представляют собой как бы два этапа рецессии во фразеологической единице. Если в случае со словом *moon* мы констатировали появление новой, возникшей в результате полного переразложения соответствующей фраземы единицы в словарном составе современного английского языка, то относительно слова *skeleton* еще нет достаточного основания утверждать, что рецессивный процесс здесь достиг своего завершения. Для того чтобы более наглядно показать сложнейшую диалектику двух противоборствующих тенденций в развитии фразеологических единиц и тот конечный результат, к которому эти процессы могут привести, рассмотрим еще две фразеологические единицы. Фразеологическая единица *to be born with the silver spoon in one's mouth* «родиться в сорочке» была зафиксирована впервые в словарях в середине XVIII в. и некоторое время сосуществовала с уже имевшейся в то время фразеологической единицей того же значения *to be born with a penny in one's mouth.* Они конкурировали до конца XVIII столетия, когда первая вытеснила последнюю и стала единственной фразеологической единицей с подобным

[1] Идиомы представляют особую проблему в преподавании иностранного языка и лексико-фразеологическом моделировании научного текста в учебных целях [15].

значением. Это подтверждается данными словарей и письменными документами того времени. Но уже в XIX в. появляются первые деформированные варианты этой фразы, а в литературе XX в. она встречается, как правило, только в деформированном виде. Примером обыгрывания этой фразы могут послужить следующие случаи: «Yet on the whole the silver spoon stayed in his mouth without spoiling it...» (J. Galsworthy, In Chancery); «He was staring at a silver spoon. He himself had put it in her mouth at birth» (J. Galsworthy, The Silver Spoon).

Столь же устойчивую тенденцию к деформации проявляет и фразеологическая единица *every cloud has a silver lining*, прошедшая долгий путь развития от индивидуального авторского оборота (он восходит к Дж. Мильтону) до фразеологизма: «I don't say they aren't silver linings in their limited way, but take a look at the cloud that lower elsewhere» (P. G. Wodehouse, The Mating Season); «But to all that moving experience there had been a shadow (a dark lining to the silver cloud), insistent, and plain, which disconcerted her» (S. Maugham, The Painted Veil); «There was a silver lining even to this little sordid cloud» (R. Aldington, The Colonel's Daughter).

Приведенный материал свидетельствует о том, что деформация соответствующих фразеологических единиц уже не может рассматриваться лишь как своеобразное свойство данных речевых произведений, как результат творчества говорящего. Он постепенно приобретает ту «всеобщность», которая свойственна фактам языка. Разнообразные обыгрывания этих единиц основаны на том, что англичане отчетливо осознают потенциальные значения составляющих их компонентов, т. е. тех значений, которые они приобрели в составе данных фразем. Возникающий в процессе устойчивой деформации распад рассматриваемых фразеологических единиц приводит к вычленению компонентов *silver spoon* и *silver lining*, которые постепенно включаются в язык со значениями, которые, разумеется, лишь приблизительно можно перевести на русский язык следующим образом: *silver spoon* «нечто неправомерное, данное человеку от рождения», *silver lining* «нечто, благоприятствующее человеку; надежда на лучшее, удача».

В заключение необходимо подчеркнуть, что до тех пор, пока человеческий язык остается основным средством общения, он будет развиваться и изменяться. Развитие языка определяется теми потенциальными возможностями, которые характерны для него самого и реализуются в ходе его исторического развития. Диалектический метод, составляющий основу марксистского языкознания, открывает новые перспективы для дальнейшего научного изучения идиоматической фразеологии как одного из наиболее интересных аспектов естественного человеческого языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Смирницкий А. И.* Лексикология английского языка. М., 1956.
2. *Ахманова О. С.* Словарь лингвистических терминов. М., 1966.
3. *Ахманова О. С.* Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957.
4. *Тер-Минасова С. Г.* Словосочетание в научно-лингвистическом и дидактическом аспектах. М., 1981.
5. Longman dictionary of English idioms. London, 1980, p. 301.
6. Longman dictionary of contemporary English. London, 1978, p. 1046.
7. *Мокиенко В. М.* Славянская фразеология. М., 1980.
8. *Назарян А. Г.* История развития французской фразеологии. М., 1981.
9. *Чернышева И. И.* Фразеология современного немецкого языка. М., 1970.
10. *Бабкин А. М.* Русская фразеология, ее развитие и источники. Л., 1970.
11. *Кунин А. В.* Английская фразеология. М., 1970.
12. *Бершадская Ф. М.* Формы употребления фразеологических единиц в речи: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Ташкент, 1971.
13. *Павлова З. А.* Структурно-семантические преобразования фразеологических единиц в речи: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. Л., 1975.
14. *Вяльцева С. И.* Речевое использование английских пословиц: Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1977.
15. *Барейките З.* Устойчивость словосочетаний в научной речи (к вопросу об оптимизации научного текста): Автореф. дис. на соискание уч. ст. канд. филол. наук. М., 1982.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1983

ШУЛЬГА М. В.

УНИФИКАЦИЯ РУССКОГО СУБСТАНТИВНОГО СКЛОНЕНИЯ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СТРУКТУРЫ РОДОВЫХ И ЧИСЛОВЫХ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЙ

История именного склонения в существенных своих чертах представляет собой историю устранения (точнее: ограничения, сокращения) синонимии падежных флексий. Унификация синонимических морфологических средств — это один из путей реализации более общей тенденции языкового развития, «тенденции к однозначной соотнесенности грамматических значений и способов их выражения» [1, с. 157].

Ограничение синонимии падежных флексий в истории русского языка связано в основном с выражением грамматических значений рода и числа. В ходе развития русского языка устанавливается более тесная связь между грамматическим значением и его выражением в падежных формах. Участие грамматического рода в унификации древнерусских типов склонения является традиционным аспектом историко-лингвистических исследований. В отношении к грамматическому числу такой подход сформулирован и разворачивается в недавних работах В. М. Маркова, К. В. Горшковой и Г. А. Хабургаева [2, 3, 1]; он подготовлен многочисленными работами по истории числовых противопоставлений и унификации типов склонения во множественном числе.

Как это характерно для языков синтетическо-флективного строя, значения рода, числа и падежа в русском языке выражаются синкретически. Каждая флексия является членом нескольких оппозиций: по роду, числу и падежу. Многофункциональность флексии предопределяет теснейшую взаимосвязь и взаимообусловленность многих морфологических процессов, отражающихся во флексации. Изменения в выражении, например, родовых грамматических значений так или иначе отражаются на системе числовых и падежных противопоставлений. В связи с этим направление причинно-следственных связей в грамматическом развитии тесно спаянных языковых категорий часто бывает неясным. Этим оправдана настоящая попытка очертить и разграничить сферу действия категорий рода и числа в области устранения синонимии падежных флексий.

О морфологическом выражении какой-то грамматической категории можно говорить тогда, когда в системе языка разным категориальным грамматическим значениям соответствуют разные морфемы. Последовательное выражение грамматической категории исключает морфологическую омонимию. С этой точки зрения обращает на себя внимание тот факт, что омонимия средств морфологического выражения категорий рода и числа преодолевается не в одних и тех же звеньях системы. Другими словами, родовые и числовые противопоставления на морфологическом уровне организованы по-разному.

Остановимся на структурной организации родовых противопоставлений.

Ни в одной отдельно взятой падежной форме (так сказать, в горизонтальном ряду) родовые значения последовательно не дифференцированы. В каждой из форм наблюдается омонимия флексий по отношению к роду, по крайней мере, частичная. Например, в форме И. ед. в древнерусском языке по флексии не различаются слова муж. и жен. рода типа *гость* и *кость*, или *земля* и *уноша*, или *камы/камень* и *цьркы/цьркъвь*. Примером полной омонимии может служить форма М. ед., где каждая из флексий

(*-ѣ*, *-и* и *-е*) употребляется и в муж., и в жен., и в ср. роде (*плодѣ*, *странѣ*, *селѣ*; *кони*, *гости*, *земли*, *кости*, *поли*; *камене*, *матере*, *цьркъве*, *словесе*, *имене*). На этом основании во многих работах делается вывод о непоследовательном, необязательном, факультативном выражении грамматического рода на морфологическом уровне.

По-видимому, дело обстоит несколько иначе. Морфологически значения грамматического рода выражаются не в горизонтальном ряду, а в вертикальном, т. е. не в каждой отдельно взятой падежной словоформе, а во всей совокупности падежно-числовых форм существительного, в его парадигме.

В этом отношении по-разному охарактеризованы существительные, у которых род семантически не мотивирован (например, *плодъ*, *страна*, *село*), и существительные, у которых род отражает семантику пола (*отьць*, *воевода*). Для первых морфологическое выражение грамматического рода обязательно уже в исходной системе древнерусского языка. Системы падежно-числовых форм любых двух таких слов разного грамматического рода непременно различаются (минимально — двумя членами парадигм, как парадигма типа *путь* — *кость*: Т. ед. *путьмь*, но *костию*, И. мн. *путие*, но *кости*, при общности всех остальных форм). Омонимии парадигм в отношении к роду здесь не наблюдается.

Естественно, что род как грамматическое (в частности, морфологическое) явление формируют существительные с семантически немотивированным значением рода. Именно они составляют трехчленное противопоставление (муж., жен. и ср. род), тогда как слова, у которых род отражает семантику пола, образуют лишь двучленное противопоставление (муж. и жен. род). В морфологическом плане специфика последних состоит в том, что последовательно (в парадигме) у них оформлено лишь значение жен. рода (*жена*, *мати*, *свькры*/*свькрьвь*). Значение мужского грамматического рода на морфологическом уровне, т. е. в системе падежных флексий, может быть выражено (*отьць*), но может и не выражаться, в этом случае названия лиц мужского пола оформляются по женскому морфологическому роду (*воевода*, *кърмъчии*, как *сестра*, *кънягыни*).

Следовательно, в системе падежно-числовых форм выражение рода факультативно лишь для существительных, у которых род отражает семантику пола. Здесь можно, по-видимому, предполагать проявление принципа дополнительности: то, что обозначено на лексическом уровне, на морфологическом может и не обозначаться. Существительные с номинативным значением рода сохраняют своеобразие морфологического оформления на протяжении всей истории русского языка. Но для морфологической структуры рода они представляют собой в общем-то периферийное явление.

Грамматические значения категории числа морфологически организованы иначе, чем родовые. Противопоставление по числу обнаруживается в горизонтальном ряду: каждая отдельно взятая падежная словоформа морфологически однозначно обозначает то или иное числовое значение. Каждая флексия является одновременно и падежным, и числовым (следовательно, падежно-числовым) показателем. Ср.: И. п. *столъ* — ед. ч., *стола* — дв. ч., *столи* — мн. ч. Морфологическим показателям числа не свойственна омонимия.

Если верны эти наблюдения над структурной организацией родовых и числовых противопоставлений как противопоставлений вертикального и горизонтального рядов, то с их позиций по-разному предстает и сфера морфологической синонимии категорий рода и числа. Родовая синонимия — это множество падежно-числовых парадигм существительных одного грамматического рода, например, в мужском роде парадигм *плодъ*, *конь*, *медъ*, *староста*, *судии*, *уноша*, *гость*, *камы*/*камень*, *дьнь*. Ее преодоление должно выражаться в объединении всех этих парадигм в одну парадигму.

Числовая синонимия создается набором флексий, соответствующих одному числовому значению в конкретной (и в каждой) падежной форме. Например, во мн. числе для И. падежа это синонимия флексий *-и*, *-ы*, *-ѣ*, *-е*, *-ове*, *-а*. Ее преодоление состоит в устранении этого многообразия флек-

сий, в обобщении какой-то одной флексии в качестве морфологического показателя И. мн.

В ходе реализации тенденции к однозначной соотнесенности грамматических значений и способов их выражения «взаимные интересы» обеих категорий пересекутся и наложатся в области устранения синонимии родовых парадигм. Действительно, установление однозначной связи между родом и парадигмой одновременно сокращает и упорядочивает синонимию числовых флексий. Если бы во мн. числе вместо десяти парадигм, функционировавших в древнерусском языке старшей поры, стало три (соответственно родовым значениям), это означало бы устранение синонимии родовых парадигм и — одновременно — сокращение синонимичных падежно-числовых форм. Ведь при этом каждому падежно-числовому значению соответствовало бы не более трех форм (муж., жен. и ср. рода), в отношении к значению числа синонимичных. Но дальнейшее устранение синонимии падежно-числовых форм могло бы осуществляться только за счет устранения родовых морфологических различий.

Устранение же родовой синонимии не предполагает устранения числовых противопоставлений. Числовые противопоставления включены в родовую парадигму, их последовательное морфологическое выражение увеличивает силу оппозиции родовых парадигм. Так, парадигма ср. рода типа *село* в ед. числе противопоставлена парадигме муж. рода типа *плодъ* (И.-В. *село*, но *плодъ*) менее выразительно, чем в совокупности форм всех трех чисел (ср.: И. мн. *села*, но *плоди*; В. мн. *села*, но *плоды*; И.-В. дв. *селѣ*, но *плода*).

Другими словами, устранение родовой синонимии не вступает в противоречие с выражением числовых значений и способствует сокращению синонимии падежно-числовых флексий. Последовательное же устранение числовой синонимии предполагает устранение (поглощение) родовых различий.

В этой ситуации наиболее ранних и последовательных преобразований следует ожидать в области унификации родовых парадигм, где сфера деятельности категорий рода и числа совпадает.

Именно так обстоит дело в древнерусском языке старшего периода. На этом этапе развитие субстантивного склонения предопределяется родовой классификацией существительных. Сокращение родовой синонимии осуществляется как взаимодействие, объединение парадигм существительных одного грамматического рода: парадигм муж. рода типа *плодъ* и *медъ*, *гость* и *камень*, а после установления фонологической корреляции твердых и мягких согласных — также *конь* и *гость*; ср. рода *село* и *слово*, жен. рода *кость* и *кръвь*. В ряду этих процессов следует рассматривать также объединение форм твердой и мягкой разновидностей, устранявшее различия между парадигмами, не связанные с грамматическим родом, и тем самым увеличивающее участие рода в классификации субстантивных парадигм. В результате всех этих преобразований происходит сокращение словоизменительных моделей каждого грамматического рода, при этом, вплоть до конца древнерусского периода, параллельно в ед., дв. и мн. числе.

Как вытекает из наблюдений над языком памятников XI—XIV вв. [4, п. 3], ограничение родовой синонимии осуществляется именно как унификация парадигм, а не отдельных падежных форм: взаимодействие любых двух словоизменительных моделей наблюдается во всех различающихся в этих моделях падежно-числовых формах. Это соответствует структурной организации родовых противопоставлений как противопоставлений вертикального ряда. Все эти процессы приводят к ограничению синонимии и родовых, и падежно-числовых показателей.

Преобразования такого рода сохраняют актуальность на протяжении всей истории русского языка и находят развитие в современных говорах, однако с конца древнерусского периода ограничиваются формами ед. числа.

Приблизительно с XIII в. тенденция к однозначной соотнесенности грамматических числовых значений и способов их выражения вступает

во второй этап развития — когда унификация падежно-числовых флексий осуществляется за счет устранения различий между родовыми парадигмами. Этот этап развития числовой синонимии связан исключительно с формами мн. числа.

Существеннейшие изменения в морфологической структуре категории числа вызваны изменениями в его грамматической семантике.

Грамматические значения форм числа — наименее разработанная область грамматической семантики, особенно в историческом аспекте. Однако как для современного русского языка, так и для древнерусского старшей поры представляется бесспорным, что отношения между формами числа не ограничиваются сферой выражения количественных значений. Количественные значения, представленные в формах ед., дв. и мн. числа конкретных считаемых существительных — типа *плодъ*, *дъва плода*, *плоди*,— являются лишь частным случаем в выражении инвариантных значений нерасчлененности/расчлененности. Значения нерасчлененности/расчлененности составляют двучленное противопоставление: ед. число, выражающее значение нерасчлененности, противопоставлено дв. и мн. числам, связанным со значением расчлененности. В значительной массе имен существительных значение расчлененности могло быть выраженным лишь в форме мн. числа (без двойственного). У существительных, лексическая семантика которых допускала идею счета, формы дв. и мн. числа по отношению к значению расчлененности были синонимичными.

По-видимому, утрату форм дв. числа в древнерусском языке можно рассматривать как унификацию форм дв. и мн. числа, синонимичных по отношению к грамматическому значению расчлененности. Значение расчлененности в грамматической семантике категории числа актуализируется, выдвигается на первый план. Как более общее по сравнению со значениями двойственности и множественности, оно покрывает их, растворяет в себе.

Как развернутый морфологический процесс замещение форм дв. числа формами мн. числа отражается в письменности с XIII в. В ходе его развития категория рода утрачивает свои морфологические позиции в формах дв. числа. От XIII в. берут свое начало также некоторые важнейшие морфологические процессы, ведущие к сокращению позиций рода во мн. числе — ограничению синонимии флексий мн. числа за счет утраты родовых различий. В частности, обобщение форманта -а- в качестве показателя множественности в Д. и М. падежах [1], устранявшее родовые различия в этих формах: Д. *селамъ*, *дворянамъ* вместо *селомъ*, *дворяномъ*; М. *селахъ*, *дворянахъ* вместо *селѣхъ*, *дворяньхъ* и *дворянѣхъ*; ср. исконные формы *странамъ*, *странахъ*. А также объединение И. и В. падежей по форме В. падежа у слов муж. рода [2]: в результате распространения в И. п. форм типа *плоды*, *меды*, *гости*, *камени* вместо прежних *столи*, *медове*, *гостие*, *камене* в этой позиции устранялись различия между муж. и жен. родом; ср. исконные формы И.-В. мн.: *страны*, *кости*, *матери*.

Следует заметить, что в некоторых исследованиях эти преобразования рассматриваются как результат реализации тенденции к устранению родовых различий во мн. числе. Однако вряд ли может быть удовлетворительно объяснено возникновение такой тенденции — диаметрально противоположной тенденции к морфологическому выражению родовых значений, которая определяет развитие субстантивного склонения на протяжении древнерусского периода и позднее — развитие форм ед. числа. С другой стороны, развитие морфологического строя русского языка убеждает в том, что сложившиеся в системе языка отношения не изме-

---

[1] Такая интерпретация данного явления восходит к И. В. Ягичу [5]. Подробную аргументацию и развитие данной точки зрения дает В. М. Марков [6; 7; 2, с. 97 и далее].

[2] Объединение И. и В. падежей — древняя и глубокая тенденция в истории славянских языков (ср. объединение И. и В. ед. в парадигмах типа *камы*, *цьркы*, широко документированное уже письменностью XI в.). Ее реализации во мн. числе могло препятствовать в древнерусском языке старшей поры участие специфических форм И. мн. в маркировании мужского морфологического рода. Существеннейшие изменения в системе грамматических значений и форм числа нейтрализовали «сопротивление» категории рода в отношении объединения И. и В. мн. муж. рода (подробнее см. [4]).

няются беспричинно, они разрушаются лишь тогда, когда препятствуют реализации каких-то других актуализирующихся тенденций. В названных процессах устранение родовых различий во мн. числе оказывается «побочным» результатом в развитии категорий числа и падежа.

С этой точки зрения получает объяснение и одновременное осуществление в языке процессов, приводящих к противоположным результатам в отношении морфологического развития категории рода во мн. числе, как это наблюдается, по крайней мере, на протяжении XIII и XIV вв.[3].

Дальнейшая унификация синонимичных флексий во мн. числе приводит к утрате родовых различий и формированию специфического показателя множественности *-а-* в формах Д., Т. и М., а также отчасти И. (или И.-В.) падежей: *леса*, *лесам*, *лесами*, *лесах*. Формы мн. числа структурно организуются как особая по отношению к системе форм ед. числа парадигма, т. е. грамматические значения, связанные с формами мн. числа, получают выражение в парадигме, подобно родовым значениям в формах ед. числа.

Этим создаются предпосылки для формирования лексических различий между формами ед. и мн. числа, как в случаях типа *медъ* и *меды*, и расширяются условия для развития классов слов, обладающих лишь одной числовой парадигмой (singularia tantum и pluralia tantum).

В результате преобразований в системе форм мн. числа родовая парадигма, представлявшая собой в древнерусском языке систему падежно-числовых форм (т. е. систему падежных форм ед., дв. и мн. числа), сокращается («укорачивается») до системы форм ед. числа. С этим связана утрата категорией рода характера обязательной грамматической категории. В древнерусском языке старшей поры вне рода не было существительных. Сравнивая с современным состоянием, особо следует подчеркнуть, что в этом отношении не составляли исключения и pluralia tantum — род у них находил регулярное выражение и на морфологическом, и на синтаксическом уровне (ср. *ти людие*, *ты сани*, *та ворота*, как *ти гостие*, *ты кости*, *та села*). В дальнейшей истории русского языка отдельные грамматические классы существительных оказываются неохарактеризованными по роду.

С учетом структуры родовых и числовых противопоставлений данное направление изменений в морфологическом выражении категорий числа и рода получает объяснение как результат реализации тенденции к однозначной соотнесенности грамматических значений и способов их выражения за счет устранения синонимии последних. При этом устранение синонимии средств родовых и числовых противопоставлений предстает как параллельный, непрерывный в своем развитии процесс.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Горшкова К. В.*, *Хабургаев Г. А.* Историческая грамматика русского языка. М., 1981.
2. *Марков В. М.* Историческая грамматика русского языка. Именное склонение. М., 1974.
3. *Горшкова К. В.* История славянских числовых парадигм как сложное взаимодействие словоизменения и словообразования. М., 1978.
4. *Иорданиди С. И.*, *Шульга М. В.* Морфологическое выражение категории рода в истории русского языка.— В кн.: Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования. 1981. М., 1983.
5. *Ягич И. В.* Критические заметки по истории русского языка. СПб., 1889, с. 116.
6. *Марков В. М.* Формы имен в языке Судебников XV—XVI веков.— Уч. зап. Казанского гос. ун-та, 1956, т. 116, кн. 11.
7. *Марков В. М.* Язык «Расходной книги» Волоколамского монастыря.— Уч. зап. Казанского гос. ун-та, 1959, т. 119, кн. 5 (Казань, 1961).

---

[3] Имеются в виду, с одной стороны, унификация парадигм одного грамматического рода, в ходе осуществления которой между родом и флексией устанавливается более тесная связь (или даже однозначная, как при обобщении флексии Р. мн. *-овъ* на раннем этапе — только в кругу существительных муж. рода), с другой стороны — частичная нейтрализация родовых различий в формах И. мн. и Д., М. мн.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1983

КУЗЬМЕНКОВ Е. А.

О ПРИНЦИПАХ КЛАССИФИКАЦИИ ГЛАГОЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В МОНГОЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ

Классификация лексических единиц обычно основывается на грамматических или семантических признаках. Так, выделяемые в большинстве языков качественные и относительные прилагательные различаются чаще всего по способности образовывать степени сравнения. Однако далеко не во всех языках существуют компаративные формы прилагательных, которые могут разделить их на морфологические классы. В таких случаях прибегают к семантическому основанию классификации: вполне очевидно, что одни признаки, например, выражаемые словами со значениями «хороший», «красивый», могут принадлежать предмету в большей или меньшей степени, и, таким образом, один предмет может быть «лучше» или «красивее» другого, в то время как другие признаки, например, выражаемые словами со значениями «деревянный», «медный», могут либо принадлежать предмету, либо не принадлежать ему, т. е. не может быть предмета, который был бы «деревяннее» или «меднее» другого.

Легко, однако, видеть, что существует и универсальный собственно грамматический признак выделения такого рода подклассов лексических единиц, каковыми являются качественные и относительные прилагательные. Этот признак — синтаксический: и в языках, где имеются сравнительные формы прилагательных (например, в русском), и в языках, где такие формы отсутствуют (например, в монгольском), качественные прилагательные участвуют в особых сравнительных конструкциях. В русском языке это — обороты с союзом «чем», в монгольском — конструкции, в которых один из сравниваемых (обладающий данным качеством в меньшей степени) предметов выражается именем в исходном падеже. Ср.: монг. *энэ цаас тэр цааснаас* (исх. п.) *сайн* и русск. «эта бумага лучше, чем та».

Таким образом, если семантические различия не отражаются в морфологии, целесообразно искать их соответствия в области синтаксиса. При этом можно предположить, что различия в значениях, которые являются более абстрактными (к таковым, несомненно, относятся значения подклассов типа «качественный», «относительный», взятые выше в качестве примера), соответствуют и более ярким различиям в употреблении слов, чем противопоставленность по конкретным значениям. Последняя может сказываться на сочетаемости слов как таковых, а не на их участии в тех или иных синтаксических конструкциях. Таковы отношения, например, между словами, выражающими значения «круглый» и «квадратный», которые обнаруживают разную лексическую сочетаемость, но участвуют в идентичных конструкциях.

Чем разнообразнее синтаксические функции какого-либо слова, тем больше семантико-синтаксических корреляций обнаруживается в противопоставлениях отдельных лексем, их групп и целых классов. Наибольшие различия в сочетаемости мы наблюдаем у глаголов, которые в любом языке обладают богатым спектром различных моделей управления, большим разнообразием конструкций с участием различных глагольных форм (при развитом формообразовании). Наиболее существенным оказывается з а в и с и м о е окружение глагола, которое непосредственно позволяет разделить глаголы на классы и подклассы, что можно видеть хотя бы из практически универсального распределения глаголов на под-

классы переходных и непереходных, основывающегося на синтаксическом признаке наличия/отсутствия в окружении глагола прямого дополнения.

Попытки чисто семантически определить различие между переходными и непереходными глаголами вряд ли перспективны. В самом деле, сравним два таких глагола, как, например, *напевать* (переходный) и *подпевать* (непереходный). Мы видим, что они не просто близки по семантике, но и отражают примерно одну и ту же ситуацию, если, разумеется, не считать наличия дополнительного участника для «подпевания», который выражается адресатным дополнением «подпевать кому-л.». Если считать переходностью наличие в ситуации объекта и считать объектом «то, что поется», то с семантической точки зрения оба глагола выражают ситуацию с участием объекта, только в одном случае объект не требует (точнее — не допускает) самостоятельного выражения (*подпевать*), а в другом — обязательно отражается в синтаксисе (*напевать*), т. е. у глагола имеется валентность на прямое дополнение.

Вместе с тем, семантика глагольной лексемы и ее валентность определенным образом связаны. Последняя отражается в оптимальном окружении глагола. Согласно А. А. Холодовичу, оптимальное окружение — это такое «окружение, которое содержит минимальное число членов с неналоженными ограничениями» [1, 234]. В большинстве случаев такое окружение определяется интуитивно: при наличии оптимального окружения для понимания предложения нет «необходимости ни в знании определенной ситуации, ни в знании определенного контекста» [1, 234].

Опираясь на валентность как на классифицирующий признак, мы проделали опыт синтаксической классификации глаголов в монгольском языке и попытались пронаблюдать связь такой синтаксической классификации глаголов с их семантикой.

Членами окружения глагола могут быть такие синтаксические актанты: подлежащее, прямое дополнение, адресатное дополнение, инструментальное дополнение, аблативное дополнение и т. д. Указанные актанты, в том числе и подлежащее, могут оформляться в монгольском языке соответствующими маркерами: суффиксами падежей, послелогами, суффиксами притяжения, показателями темы. Поэтому определение синтаксических актантов носит чисто формальный характер.

Синтаксические актанты находятся в иерархических отношениях между собой. Приведенный список отражает эту иерархию (ср. с общеизвестной иерархией актантов Л. Теньера). Участие в конструкциях первых актантов (подлежащего и прямого дополнения) представляется особо существенным для описания валентностей. Ниже этому вопросу будет уделено особое внимание.

Первая задача, которую следует решить при подходе к классификации глаголов, такова: если считать, что лексическое значение глагола отражается в его валентности, то валентность глагольных форм должна оставаться неизменной для любых словоформ данной лексемы и любых позиций этих словоформ. Верно ли это?

Для монгольской глагольной лексемы, представленной тремя типами форм: финитные формы, деепричастия и причастия, этот вопрос решается положительно. Валентность глаголов в основном сохраняется у всех словоформ. Лишь в зависимых позициях могут происходить изменения валентности, которые несложно учесть. Эти изменения валентности обусловлены прежде всего трансформациями, в которых участвуют глагольные формы, по правилам, единообразным для всех глаголов. Ср.: *аав цай уув* «отец выпил чай» — здесь финитная форма глагола *уух* «пить» занимает место сказуемого, валентность глагола реализуется в виде двух актантов — подлежащего и прямого дополнения. При переходе к определительной конструкции с участием другой глагольной формы — причастия — глагол может терять одну из своих валентностей: *цай уусан аав* «отец, выпивший чай», *аавын уусан цай* «чай, выпитый отцом» [букв. синтаксический перевод: «отца (род. п.) пивший чай»]. В последнем случае валентность меняется не только количественно, но и качественно: субъект

в так называемом неразвернутом придаточном определительном выражен именем существительным в род. падеже — *аавын* «отца» [1].

Качественное, но не количественное изменение валентности глагола может происходить во временных придаточных, ср.: *биднийг гэртээ ирэхэд гурван цаг болжээ* «когда мы пришли домой, было три часа» — здесь *ирэхэд* — причастие настоящего-будущего времени глагола *ирэх* «приходить» в дат. падеже — обозначает одновременность данного действия с действием, выраженным конечным сказуемым; субъект действия в придаточном выражен местоимением в вин. падеже — *биднийг* «нас» вм. *бид* «мы», как это было бы в независимом предложении, ср.: *бид гэртээ гурван цагт ирлээ* «мы пришли домой в три часа».

Качественные изменения валентности наблюдаются лишь при актантах-лицах, а неличные актанты выражаются одинаково при любой форме глагола и в любой позиции. Ср.: *хөндийд дэрс, цахилдаг ургасан* «в долине выросли ковыль и ирис», *дэрс, цахилдаг ургасан хөндий* «долина, поросшая ковылем и ирисом». Здесь в определительном придаточном предложении подлежащее (неодушевленное) не требует особых оформителей так же, как и в независимом предложении [2].

Как уже было сказано, синтаксически обусловленные изменения валентности подчиняются общим правилам, независимым от конкретного лексического значения глагола. Поэтому, чтобы не усложнять процедуру классификации, целесообразно, по-видимому, ограничиться рассмотрением независимых позиций, глаголов, т. е. тех, в которых они выполняют функцию сказуемого. В этой позиции, которую мы, вслед за Е. Куриловичем [5], считаем «первичной», глагольные формы всегда сохраняют свою валентность.

Из того, что члены одной и той же глагольной лексемы имеют одинаковую валентность, не следует, естественно, что глаголы с одинаковой валентностью имеют одно и то же значение. Но, как правило, глаголы одной и той же валентности обнаруживают некоторую семантическую общность.

Как известно, чем сложнее конструкции, образуемые глаголами, и чем больше характеристик в таких конструкциях совпадает, тем ближе между собой значения глаголов, вплоть до почти полной идентичности. Так, трехвалентные переходные глаголы составляют подкласс довольно разнообразных по значению лексем, например, *өгөх* «давать», *аврах* «спасать», *нэрлэх* «называть», *үзүүрлэх* «заострять», *цохих* «бить» и др. Если выделить среди них глаголы, образующие конструкции с третьим актантом — инструментальным дополнением, то их общее значение можно приблизительно описать как «воздействие на что-л. посредством чего-л.». Из приведенного списка это — глаголы *үзүүрлэх* «заострять» и *цохих* «бить». Если мы введем в качестве ограничения еще одну характеристику — возможность чередования прямого дополнения с директивным при локализации воздействия на объект, то останется группа глаголов типа *цохих* «бить», к которой также относятся глаголы *өшиглөх* «пинать», *чичих* «тыкать» и т. п., обнаруживающие вполне определенную семантическую общность. Внутри этого подкласса глаголов с довольно узким значением семантические различия носят еще более специфический характер, которые также сказываются на окружении глагола в виде лексической соче-

---

[1] Вопрос о статусе придаточного предложения до сих пор обсуждается в монголистике. Наиболее подробно и последовательно эта проблема рассмотрена в работах [2, 3]. В настоящей работе за основу принята концепция З. К. Касьяненко (см. [4, с. 80]), согласно которой придаточное и главное предложения соотносятся с разными субъектами, в противном случае конструкция характеризуется как оборот.

[2] Изменения валентности, обусловленные синтаксическими причинами, принципиально отличны от изменения валентности при деривации, т. е. при переходе от одной лексемы к другой. Ср.: *байшингийн барилга* «строительство дома» — здесь определение *байшингийн* «до́ма» оформлено род. падежом как определение при отглагольном существительном *барилга* «строительство» (от глагола *барих* «строить»), оно выражает объект, который при глагольной форме оформляется вин. падежом: *байшинг барьсан* «дом построили». Всегда имеется возможность отличить изменение валентности, обусловленное синтаксисом, от изменения валентности, обусловленного деривацией, имеющей результатом противопоставление различных лексем.

таемости, например, *пнуть* можно *ногой*, но не *кнутом* и т. п., т. е. существуют ограничения на выбор слова, выражающего дополнение.

Более детальная классификация может быть проведена, если учитывать не только вид конструкции, которую образует данный глагол, т. е. его валентность, но и то, какие семантические роли (семантические актанты) представлены членами окружения глагола (синтаксическими актантами). Соотношение семантических и синтаксических актантов является существенным для характеристики валентности глагола, связано с его семантикой и, таким образом, релевантно для классификации. Это соотношение, называемое диатезой [1, с. 280], и его роль для классификации глаголов можно проиллюстрировать на паре глаголов, связанных между собой отношением каузативной деривации [3]: *арчих* «вытирать» и *арчуулах* «заставить вытирать» (суф. *-уул* образует каузативные дериваты, присоединяясь к первичной основе глаголов). Эти глаголы имеют формально идентичные окружения — подлежащее, прямое дополнение и инструментальное дополнение (см. ниже), но значения глаголов не идентичны, хотя и имеют общий элемент. Различие в значении сказывается прежде всего в том, что в конструкциях, образованных этими глаголами, синтаксическим актантам — подлежащему и инструментальному дополнению — соответствуют разные семантические актанты. Для *арчих* «вытирать» это — субъект и инструмент, соответственно, а для *арчуулах* «заставить вытирать» это — каузатор и субъект каузируемого действия. Ср.: *би алчуураар цонхыг арчив* «я вытер окно тряпкой»; *ээж надаар цонхыг арчуулав* «мама попросила (заставила) меня вытереть окно» (букв.: «мама мною окно вытерла»). На употребление инструментального дополнения *алчуураар* «тряпкой» во втором предложении накладываются примерно те же ограничения, по которым затруднительно выразить в одном и том же русском пассивном предложении субъект и второй объект, которым соответствуют словоформы с одним и тем же твор. падежом, например, **стол накрыт мною скатертью.*

В каузативном предложении (с глаголом *арчуулах*) инструментальное дополнение, выражающее субъект каузируемого действия, «вытесняет» инструментальное дополнение — инструмент. В этом можно усмотреть проявление иерархии семантических актантов, которая сказывается в предпочтении одного актанта другому при идентичном оформлении соответствующих словоформ.

Роль противопоставления диатез в классификации глаголов можно проследить и на других примерах. Формально идентичные конструкции образуют глаголы типа *итгэх* «верить» и пассивные дериваты переходных глаголов, которые мы трактуем как самостоятельные лексемы. И те, и другие имеют в своем окружении подлежащее и адресатное дополнение, но эти члены предложения выражают разные семантические актанты. Для окружения глагола *итгэх* «верить» диатеза будет следующей: подлежащее — субъект, адресатное дополнение — объект, например, *би ... гэдэгт* (дат. п.) *итгэнэ* «я верю, что...». Для пассивных глаголов характерна такая диатеза: подлежащее — объект, адресатное дополнение — субъект, например, *хонь чононд идэгдсэн* «овца съедена волком» (*идэгдэх* — пассивный дериват от глагола *идэх* «есть, съесть»).

Таким образом, характеристика глагола по его валентности должна включать указание не только на его оптимальное окружение, но также и на соответствующую ему диатезу.

Следующим существенным моментом для классификации глаголов является «дополнительная» семантическая характеристика присущих данному глаголу синтаксических актантов — их принадлежность к определенному семантическому типу, например, личный/неличный, одушевленный/неодушевленный. Хорошо известно, что такого рода семантические различия часто коррелируют со значением глагола и с его синтаксическим подклассом. Существуют глаголы, сочетающиеся только с подле-

---

[3] Каузативные глаголы монгольского языка мы считаем отдельными (производными) лексемами, а не формами соответствующих глаголов.

жащим — лицом, например, *бодох* «думать» или только с предикативным прямым дополнением, например, *болих* «прекращать». Глагол *тохиолдох* «сталкиваться, встречаться» имеет различное окружение в зависимости от семантического типа второго участника ситуации (первый участник — субъект, выраженный подлежащим): если этот второй участник одушевленный, то глагол проявляет валентность на комитативное дополнение, оформляемое совместным падежом, а если — неодушевленный, то он присутствует в окружении глагола в виде местного дополнения (дательно-местный падеж). Ср.: *ойгоор хамаагүй хол явбал араатантай* (совм. п.) *тохиолдох байх юм* «если забрести слишком далеко в лес, то можно повстречаться с диким зверем»; *хүний амьдралд* (дат.-м. п.) *янз бүрийн юм тохиолдох л юм даа* «в жизни человека встречается всякое».

Для классификации глагольных лексем в монгольском языке мы использовали следующие семантические характеристики актантов, тем или иным образом коррелирующие с синтаксической структурой и значениями глаголов: одушевленные: лица/нелица, неодушевленные: стихии/части тела/предметы/ситуации.

Взяв за основу характер окружения, присущего глаголу, мы можем произвести первичную классификацию, устанавливая для каждого класса две основные характеристики: синтаксическую — типичную для данных глаголов конструкцию, и семантическую — типовое значение, свойственное этим глаголам. Дальнейшая классификация учитывает диатезы и семантические типы актантов.

Процесс классификации включает следующие фазы:

1. Выделение переходных и непереходных глаголов.

Необходимость употребления прямого дополнения является различительным признаком переходных глаголов. Этот, второй в иерархии, актант не только является важным конструктивным показателем, но и свидетельствует о наличии определенных семантических элементов в значениях глаголов, что сказывается, в частности, на возможностях морфологической деривации. Так, переходные глаголы образуют пассив, а непереходные, как правило, нет; различны модели каузативных дериваций тех и других и т. п.

Для монгольского языка нетипичны глаголы, образующие и транзитивные и интранзитивные конструкции, такие, как, например, англ. *boil* «кипеть» и «кипятить». Лишь очень немногие глаголы могут проявлять такую двойственность. Существует глагол төрөх «рожать» и «рождаться»; переходно-непереходными можно считать некоторые глаголы со значением «действие над собственным телом», например, *сарвайх* «растопырить» и фазовые *эхлэх* «начинать», «начинаться», *дуусах* «кончать», «кончаться»: *заводын ажил эхэлсэн* «работа завода началась», *завод ажлаа эхэлсэн* «завод начал свою работу». Основная масса глаголов вполне определенно может быть разделена на переходные и непереходные.

2. Следующая операция — распределение глаголов на подклассы по мощности окружения. Непереходные глаголы, в основном, одно- и двухвалентны [4]. Трехвалентных непереходных глаголов очень немного. Это — некоторые глаголы движения, например, *шилжих* «перемещаться откуда-л. куда-л.».

Одновалентные глаголы составляют подкласс, который можно назвать, ориентируясь на их общее типовое значение, глаголами состояния. С ними сходны по своей семантике двухвалентные глаголы со вторым актантом, выраженным адресатным или аблативным дополнением, типа *гомдох* «быть обиженным на что-, кого-л.» и *айх* «бояться чего-, кого-л.».

---

[4] Подлежащее может находиться при любом монгольском глаголе. Нуль-валентных глаголов, наподобие русск. *светать*, в монгольском языке нет. Приводимый в некоторых работах глагол *зунших* «становиться по-летнему» не является исключением, ср.: *улирал зуншиж байна* «дело идет к лету» (букв.: «сезон становится летним») — здесь *зунших* проявляет себя как обычный одновалентный глагол состояния (погоды, времени года). Таким образом, подлежащее (точнее — факт его наличия) нерелевантно для классификации само по себе. Лишь в отдельных случаях необходимо рассматривать его семантический тип, но всегда следует учитывать его семантическую роль, т. е. представляемый им семантический актант.

Последние могут быть названы «глаголами каузированного состояния». Это наименование кажется вполне оправданным, если учесть, что в соответствующих каузативных конструкциях второму актанту некаузативных (адресатному и аблативному дополнениям) отвечает подлежащее — каузатор. Ср.: *би түүнд гомдов* «я на него обиделся», *тэр намайг гомдоов* «он меня обидел», *би түүнээс айна* «я его боюсь», *тэр намайг айлгана* «он меня пугает» (*гомдоох* и *айлгах* — каузативы от *гомдох* «обижаться» и *айх* «бояться»).

Переходные глаголы бывают двух- и трехвалентные. Отдельные четырехвалентные глаголы могут быть объединены с близкими по семантике трехвалентными. Например, глагол *орчуулах* «переводить что-л. с какого-л. языка на какой-л. язык» может быть включен в подкласс трехвалентных глаголов локализации объекта, таких, как *тавих* «ставить, помещать что-л. куда-л.» и др.

3. Дальнейшая классификация производится по типу актанта, следующего по иерархии за прямым дополнением, т. е. это — второй актант для двухвалентных непереходных глаголов и третий — для трехвалентных переходных. И в той, и в другой группе это разделение может рассматриваться как «классификация по косвенному дополнению». При этом обнаруживается соответствие между рядом подклассов непереходных глаголов и рядом подклассов переходных. Это лексическое соответствие наподобие *салах* «отделяться»/*чөлөөлөх* «освобождать» или *орших* «находиться, обитать»/*тавих* «помещать, ставить» и т. п. носит характер противопоставления некаузативных и каузативных глаголов, что отражается также в морфологическом каузативе (суффиксы каузативного значения) — *салах* «отделяться»/*салгах* «отделять», *орших* «находиться»/*оршуулах* «заставить находиться, помещать; хоронить» — и в так называемом коррелятивном каузативе [5].

4. Следующим этапом классификации является разделение глаголов в зависимости от семантических ролей актантов, выраженных членами окружения. Например, двухвалентные непереходные глаголы, окружение которых состоит из подлежащего и аблативного дополнения, разделяются на глаголы типа *айх* «бояться», при которых аблативное дополнение выражает причину, источник состояния, и глаголы типа *салах* «отделяться», при которых аблативное дополнение выражает семантическую роль «место», «пункт отделения» (как в прямом физическом, так и в переносном смысле). Ср.: *түүнээс айна* «боится этого», *түүнээс салахыг оролдоно* «старается отделаться от этого».

Обычно различие в семантических ролях актантов, т. е. различие в диатезах, связано с выделением существенно различных по семантике подклассов, ср., например, противопоставление глаголов фактитивного значения и глаголов, обозначающих ситуации, в которых присутствует несколько объектов или объект и инструмент (см. выше пример с глаголами *арчих* «вытирать» и *арчуулах* «заставить вытирать»). Однако различные семантические роли иногда бывают у актантов, входящих в окружения глаголов, достаточно близких по значению. Так, глаголы типа *өгөх* «давать» и каузативы пермиссивного значения наподобие *үзүүлэх* «показывать» (от *үзэх* «смотреть, видеть»), хотя и имеют разные диатезы при однотипной конструкции, но семантика их близка благодаря наличию и у тех, и у других бенефактивного значения. Ср.: *би түүнд ном өгөв* «я дал ему книгу», *би түүнд ном үзүүлэв* «я показал ему книгу». Здесь в первом предложении *би* «я» обозначает субъект, *түүнд* «ему» — адресат, во втором предложении *би* «я» каузатор, *түүнд* «ему» — субъект каузируемого действия. В обоих предложениях *түүнд* «ему» выражает бенефициент, кореферентный в первом случае — адресату, во втором — субъекту.

5. Учет семантического типа актантов позволяет произвести дальнейшее разделение глаголов на подклассы. Так, глаголы состояния (одновалент-

[5] Коррелятивный каузатив представлен парами глаголов, образованных чередующимися суффиксами *-л* и *-р*. Эти глаголы противопоставлены как каузативные и некаузативные, например, *таслах* «отрывать»/*тасрах* «отрываться» (ср. русск. *белеть*/*белить*).

ные непереходные глаголы) разделяются на две группы: 1) глаголы, которые могут сочетаться с одушевленным подлежащим, например, *унтах* «спать», *санхайх* «стоять, торчать в виде отдельных предметов» (также и о людях), 2) глаголы, сочетающиеся только с неодушевленным подлежащим, например, *нунтаграх* «быть, становиться порошкообразным». Эти подгруппы обнаруживают и коррелятивные различия деривационного характера: образование социатива (дериват с суф. *-лц*, передающим значение совместного действия) возможно лишь от глаголов первой подгруппы, например, *санхайлцах* «стоять вместе с кем-л. отдельными группами»; кроме того, каузативы глаголов этих подгрупп относятся к разным подклассам, выделяемым по синтаксическим признакам: глаголы 1-й подгруппы образуют каузативы, которые входят в подкласс глаголов типа *алах* «убивать», а каузативы глаголов 2-й подгруппы относятся к подклассам «каузация существования» (глаголы типа *барих* «строить») и «каузация состояния» (глаголы типа *засах* «исправлять»).

6. Более детальному разбиению глаголов на подклассы может служить такой признак, как наличие дизъюнктивной валентности. При этом возможны два вида смены окружения при одном и том же глаголе. Выше описывался случай, когда валентность глагола менялась в зависимости от того, какой семантический тип актанта принимает участие в ситуации (пример с глаголом *тохиолдох* «встречаться, сталкиваться»). Такой тип дизъюнктивного окружения свидетельствует о наличии полисемии, возможно, на грани с омонимией. В зависимости от выбранных критериев для различения полисемии и омонимии мы можем выделить глаголы типа *тохиолдох* в отдельную группу глаголов дизъюнктивного управления либо, установив омонимию, отнести омонимы в соответствующие подклассы, и, тем самым, снять проблему дизъюнктивной валентности такого типа.

Другой вид дизъюнктивной валентности заключается в том, что идентичные актанты могут по-разному оформляться в зависимости от различных ролей, которые они выполняют в данной ситуации. Например, в группе глаголов с общим типовым значением «обрабатывать», к которой относится и упоминавшийся выше глагол *арчих* «вытирать», выделяется подгруппа глаголов, в окружении которых один и тот же актант может обозначаться и как местное, и как инструментальное дополнение. Ср.: *хормойдоо гараа арчив* «вытерла руки о подол», *нүдээ хормойгоор арчив* — «вытерла глаза подолом» — в первом предложении актант *хормойдоо* «о подол» мыслится как «место» по своей семантической роли, во втором предложении актант *хормойгоор* «подолом» интерпретируется как «инструмент».

Аналогичную дизъюнктивную валентность проявляют глаголы подкласса «соединение объектов», ср. две конструкции, образованные глаголом *ороох* «обертывать»: *гараа даавуугаар ороов* «обмотал руку тряпкой», *даавууг гартаа ороов* «намотал тряпку на руку». Здесь различное оформление актантов связано с актуальным членением, а семантические роли актантов, по-видимому, идентичны.

Разбиение глаголов на подклассы, внутри которых классификационные признаки образуют набор свойств, присущих всем глаголам данного подкласса, позволяет построить грамматический словарь, в котором достаточно указать номер подкласса, чтобы дать представление о его основных синтаксических, семантических и, возможно, морфологических свойствах. Последнее достижимо, если описание подкласса будет включать сведения о деривационных свойствах глаголов (каузатив, пассив и проч.), которые, как правило, коррелируют с синтаксическим и семантическими признаками. Словарная статья, таким образом, будет включать лексикографическое толкование глагола, основанное на элементах значения, выражающих типовые значения глагольных подклассов, и номер синтаксического подкласса. Например, группа глаголов восприятия, характеризующаяся предикатным прямым дополнением, включает глагол *гайхах*, который в современных словарях интерпретируется как «удивляться» [6]. В проектируемом словаре ему будет приписана более верная, на наш

взгляд, интерпретация «воспринимать что-л. как удивительное», потому что русский эквивалент «удивляться» отражает конструкцию («удивляться чему-л.»), не совпадающую с монгольской переходной конструкцией. Указание же на подкласс, к которому принадлежит глагол *гайхах*, дает такую информацию: 1) данный глагол — двухвалентный, переходный, 2) для него типичен предикатный актант, выражаемый причастием в вин. падеже либо финитной формой глагола с союзом *гэж* «что», 3) глагол характеризуется отсутствием бенефактивного значения, 4) глагол образует каузативный дериват пермиссивного типа. Кроме того, следует сделать пометку о том, что данный глагол, в отличие от других глаголов, образующих конструкции с предикатными актантами, редко образует пассив.

В результате более или менее полной характеристики данной лексемы в словаре остается привести данные о его лексической сочетаемости (если они окажутся необходимы).

Создание такого словаря не только послужило бы изучению семантико-синтаксических закономерностей в монгольском языке, но имело бы и практическое значение для любой работы, связанной с анализом и синтезом монгольского текста.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Холодович А. А.* Проблемы грамматической теории. Л., 1979.
2. *Бертагаев Т. А., Цыдендамбаев Ц. Б.* Грамматика бурятского языка. Синтаксис. М., 1962.
3. *Пюрбеев Г. Ц.* Типы сложных предложений в монгольских языках. М., 1979.
4. *Касьяненко З. К.* Современный монгольский язык. Л., 1968.
5. *Kuryłowicz J.* Dérivation lexicale et dérivation syntaxique. Contribution à la théorie des parties du discours.— In: Esquisses linguistique. Wrocław — Krakow, 1960, p. 41—43.
6. Монгольско-русский словарь. М., 1957.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1983

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

Petr J. **Filozofie jazyka v díle K. Marxe a B. Engelse.**—Praha: Academia, 1980. 175 s.

Монография Я. Петра «Философия языка в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса» представляет собой естественное продолжение и обобщение двух предыдущих работ того же автора («Славистические интересы К. Маркса и Ф. Энгельса» и «Классики марксизма-ленинизма о языке» [1, 2], а также некоторых его статей [3—5]).

Книга состоит из «Введения», девяти глав небольшого объема, посвященных философским проблемам языкознания, которыми занимались К. Маркс и Ф. Энгельс, краткого дополнения «Вклад Ленина в марксистскую философию языка», резюме на чешском, русском и французском языках и справочного аппарата.

На основе анализа работ и личной переписки К. Маркса и Ф. Энгельса в книге всесторонне освещается их концепция природы и сущности языка, убедительно показывается, что вклад классиков марксизма в решение философских проблем языкознания имеет непреходящее значение.

В первой главе «Истоки философии языка Маркса и Энгельса» (с. 10—20) автор показывает, что философские взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на сущность языка сложились на основе достижений предшествующей философии (особенно трудов Г. Гегеля и Л. Фейербаха) и совершенного знания современного им языкознания и многих иностранных языков. Но если большинство предшествующих философов занималось вопросами языка прежде всего в рамках теории познания, классики марксизма решали философские проблемы языкознания, исходя из более широкого социального контекста. Автор формулирует исходные принципы марксистской концепции языка: 1) Существует материальное единство мира. 2) Природа и общественное бытие первичны по отношению к языку и мышлению (сознанию). 3) Язык является средством материального воплощения сознания, и в первую очередь мышления. Он представляет собой органическое единство материальных и нематериальных (мыслительных) компонентов. Материальным компонентом языка, его формой, являются звуковая (первичная) и графическая (вторичная) реализации. 4) Язык — это объективно существующее общественное явление, служащее для передачи знаний из поколения в поколение. В обществе он выполняет функцию наиболее важного (но не единственного) средства общения. При помощи языка фиксируются и объективируются результаты познавательной деятельности человеческого мышления, направленной на объективную действительность. 5) Материальная жизнь общества и общественно организованный труд обусловили возникновение языка. Язык является спонтанным продуктом трудовой деятельности людей и одновременно фактором, который вместе с трудом решающим образом способствовал выделению человека из мира животных.

Здесь же дается понимание автором существа философских проблем языкознания, исследуется отношение языкознания к другим общественным наукам, прежде всего к историческому материализму.

Во второй главе «К источникам философии языка Маркса и Энгельса» (с. 21—50), самой большой по объему и имеющей самостоятельное значение, Я. Петр исследует, в каком отношении находятся лингвистические воззрения классиков марксизма к революционным аспектам философии Г. Гегеля и Л. Фейербаха. Представляется убедительным вывод автора о том, что взгляды К. Маркса и Ф. Энгельса на сущность языка лишь отчасти восходят к соответствующим положениям немецкой классической философии. В целом же основоположники марксизма разработали оригинальную концепцию в области философских проблем языкознания. Отвергая идеалистические представления Г. Гегеля о языке, они в работе «Немецкая идеология» сформулировали свое понимание языка, определили его роль материальной стороны и связанной с ней идеальной стороны, указали на диалектическое соотношение языка и сознания, языка и мышления, языка и общества. В противоположность Г. Гегелю они указали на общественный характер языка, исследовали проблему отношения языка к общественному бытию и сознанию и сформулировали тезис о социальной обусловленности языка. Как справедливо отмечал Я. Петр, взгляды Л. Фейербаха на природу языка могли оказать влияние на философию языка К. Маркса и Ф. Энгельса лишь в частностях (например, на положения о том, что язык есть коллективное творение людей, посредством которого индивид выражает мысли и чувства и сообщает их другому человеку, что он имеет материальную основу и связан только с человеком). Вслед за Л. Фейербахом К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркивали также обобщающий характер слова и языка в целом. В отличие от Л. Фейербаха классики марксизма исчерпывающим образом охарактеризовали отношение языка к бытию, к обще-

ственной производственной практике и к человеку как субъекту практической чувственной деятельности, а не субъекту пассивного чувственного созерцания. Они указывали на исключительную роль языка в развитии человеческого общества, производственной деятельности человека и в процессе отражения объективной действительности сознанием, отмечали активную роль языка в процессе познания, что в дальнейшем последовательно разработал В. И. Ленин.

В книге дается цельное представление о философии языка в творчестве Г. Гегеля и Л. Фейербаха: исследуется соотношение языка и мышления, языка и памяти, языка и речи, трудовой деятельности и познания, философских категорий тождества и различия, понятие знака в философии Г. Гегеля, проводится сравнение взглядов по философским проблемам языкознания Г. Гегеля и Л. Фейербаха и концепции классиков марксизма по этим вопросам.

Третья глава «К материалистическому пониманию языка» (с. 51—57) и пятая глава «Язык — сознание — мышление» (с. 70—87) посвящены центральному аспекту философских проблем языкознания в трактовке К. Маркса и Ф. Энгельса — взаимоотношению языка и мышления, языка и сознания. Классики марксизма придавали большое значение исследованию языка, считая его основным условием общественного бытия. В соответствии с монистическим принципом диалектического материализма они определяли язык как общественно организованную материю. Отражение является общим свойством материи (следовательно, и человека). Отражение человеком бытия осуществляется мышлением, опосредствуемым языком. Акт коммуникации и представляет собой акт отражения действительности, которая включает природные, общественные и психические явления. Язык как средство коммуникации имеет материальную и идеальную стороны. Идеальная сторона языка манифестируется в звуках речи (точнее, во всех единицах речи и в знаках письма).

Здесь уместно заметить, что, излагая взгляды классиков марксизма по этому вопросу, автор без каких-либо оговорок употребляет современную лингвистическую терминологию (фонема, морфема и т. п.), что может привести к нарушению исторической перспективы.

В отличие от предшествующих философов К. Маркс и Ф. Энгельс не отождествляли язык и мышление, рассматривая их как два разных диалектически связанных между собой общественных явления. Язык как принадлежность человеческого общества всегда есть средство взаимопонимания и мышления. Классики марксизма, разграничивая мышление и сознание, не сводили первое из них к молекулярным и химическим процессам, протекающим в мозгу человека. Они трактовали мышление как способность отражать объективную действительность посредством понятий и суждений. Мышление идеально, хотя и зависит от своего материального носителя — мозга.

Выявляя диалектическую связь мышления и языка, К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что не только мышление оказывает воздействие на развитие языка, но и язык оказывает известное обратное воздействие на мышление и познавательную деятельность человека. При этом типологические различия между языками не могут настолько повлиять на мышление носителей этих языков, чтобы можно было говорить о различных типах мышления, сформировавшихся под влиянием типологических особенностей структуры соответствующих языков. Как видно, борьба с идеологическими течениями в наши дни столь же злободневна, как и сто с лишним лет назад, до появления гипотезы Сепира-Уорфа и других неопозитивистских учений о языке, что, между прочим, говорит о своевременности появления книги Я. Петра. Следует заметить, что глубоко гуманистическую основу функциональной равноценности всех языков классики марксизма отстаивали в период, когда в Европе и во всем мире складывались нации и их представители боролись против иностранного господства за социальные права и национальное равноправие. Не менее сложные социальные процессы происходят и в нашу эпоху.

По отношению к мышлению язык выполняет две важных функции: делает возможным специфически человеческое, т. е. абстрактное, обобщенное мышление и, следовательно, познание и позволяет фиксировать результаты познания предшествующих поколений и передавать их будущим поколениям.

Автор затрагивает и другие аспекты учения классиков марксизма-ленинизма о языке: соотношение сознания и мышления, общественного и индивидуального сознания, законы человеческого мышления, в частности, мышления как индивидуального и общественного явления, соотношение абстрактного и конкретного в процессе мышления и роль абстракции в формировании мышления и языка.

В книге также рассматриваются взаимосвязи языка и мышления, соотношение понятия и слова, общего и частного в понимании В. И. Ленина.

В четвертой главе «Происхождение и начало человеческой речи» (с. 58—69) излагаются взгляды классиков марксизма на проблему глоттогенеза. Марксистская постановка данной проблемы, вероятно, является реакцией на трудовую теорию Л. Нуаре, который связывал происхождение языка с трудовой деятельностью человека, но не смог увидеть связи между происхождением языка и происхождением мышления, общественного сознания и человеческого общества. К. Маркс и Ф. Энгельс включили вопрос о происхождении языка (речи) в свое материалистическое учение об общественном развитии, считая труд основным фактором в выделении человека из животного мира. Возникновение языка (речи) в понимании классиков марксизма предполагает наличие следующих основных предпосылок: 1) человеческих индивидов; 2) общественного трудового процесса, в ходе которого происходило формирование речи; 3) ячеек человеческого

общества, послуживших социальной базой образования разных языков. Труд, речь и мышление — вот те факторы, которые отличают человека от животного. Несколько ранее Ч. Дарвина, выступившего с идеей развития в природе, на определенном уровне которого происходит становление человека, классики марксизма распространили эволюционную точку зрения не только на природу, но также и на общество и мышление.

К. Маркс и Ф. Энгельс большое внимание уделяли проблеме слова (глава VI «Слово и его значение»), особенно его содержательной стороне, отражающей природные и общественные явления и проявления психической жизни человека. Рассматривая значение слова, К. Маркс и Ф. Энгельс показали, что оно выражает коллективный опыт предшествующих поколений и современных носителей языка, их общественную практику.

Особо следует отметить принцип исследования Я. Петра по «отрицательному модусу». Он рассматривает ряд проблем, поставленных в современном языкознании и непосредственно не получивших освещения в трудах классиков марксизма: дихотомию языка и речи (с. 82) и др. Такой принцип исследования полезен с научной точки зрения, но сопряжен с известным риском приписать классикам марксизма взгляды, которых у них не было. Особенно осторожным следует быть при анализе проблемы языкового знака, тем более что в лингвистической литературе нет единого определения этого понятия. Автор учитывает, что классики марксизма нигде не говорили о знаковом характере языка, но видит в их терминологии «содержание, сходное с нашим пониманием знака» (с. 91). Но здесь нельзя не учитывать того, что К. Маркс и Ф. Энгельс занимались лишь неязыковыми знаками в связи с их интересом к естественным наукам.

В седьмой главе «Язык как общественно-историческое явление» (с. 96—106) автор показывает, что классики марксизма последовательно применяли к языку социально-историческую точку зрения. Они определяли язык как общественное явление sui generis и изучали его в отношении с другими общественными явлениями и объективной действительностью, которую язык описывает при помощи своих выразительных средств, обеспечивая взаимопонимание между отдельными лицами и обществом. Такая характеристика языка отличалась от взглядов большинства ученых, определявших язык как индивидуальное, психическое, надприродное или природное, биологическое явление. Характеризуя язык, они выделяли как основные его мыслительную и коммуникативную функции в их диалектическом взаимоотношении, хотя и не ограничивали ими функциональную характеристику языка. При этом, по их мнению, связь языка и общественного сознания, языка и общественной практики образует основу для осуществления языковых функций в обществе.

Классики марксизма уделяли много внимания проблемам, которые в наше время входят в компетенцию социальной лингвистики: зависимости языка от социальной структуры общества, социальной дифференциации языка в классовом обществе и социальному развитию языка, его истории как общественного явления. К. Маркс и Ф. Энгельс считали язык неклассовым общественным явлением, происхождение, существование и развитие которого диалектически связано с происхождением, существованием и развитием всего человеческого общества, они не отождествляли закономерности развития языка с закономерностями развития общественно-экономических формаций. В трудах классиков марксизма есть важные высказывания относительно связи языка и культуры.

Восьмая глава «Роль языка в развитии общества» (с. 107—121) и девятая глава «Национальный вопрос и его языковой компонент» (с. 122—136) посвящены проблеме связи языка и общества в трудах классиков марксизма. К. Маркс и Ф. Энгельс отводили языку важную роль в развитии общества; они установили некоторые общие законы его развития от первобытного общества до капитализма, иногда предсказывая судьбы языков при социализме. Они исследовали различные противоположные тенденции в развитии языков (процессы конвергенции и дивергенции и т. д.), стремясь выяснить отношение языка к законам общественного развития. Применив положения исторического материализма к взаимоотношению языка и общества, они заложили основы материалистического подхода к исследованию истории языка в целом и истории национальных языков. Автор последовательно излагает взгляды основоположников марксизма на историю языка в основных общественно-экономических формациях (первобытном, рабовладельческом, феодальном и капиталистическом обществе) и на развитие основных языковых объединений — рода, племени, народности, национальности, нации. Освещая роль общественных функций языка в капиталистическом обществе, они подчеркивали, что как в развитии этой общественно-экономической формации, так и в языковом развитии в рамках национального общества преобладают конвергентные тенденции. С ними классики марксизма связывали образование литературных языков общенационального значения и уменьшение роли местных диалектов в каждодневной речевой практике. Рассматривая национальный вопрос, они писали о развитии языков в эпоху пролетарской революции, диктатуры пролетариата и в социалистическом обществе. Они были убеждены, что только установление диктатуры пролетариата вызовет невиданный до сих пор расцвет национальных языков и культур. К. Маркс и Ф. Энгельс не разработали подробно теорию национального вопроса, но, считая национальный вопрос одной из важных сторон жизни каждого общества, они уделяли большое внимание национальным и национально-освободительным движениям политически зависимых народов мира. Они считали важным для решения национального вопроса признание неотъемлемого права на

политическую самостоятельность и независимость угнетенных народов, неотъемлемого права каждого народа на собственное урегулирование внутриполитических отношений в стране. При оценке отношений колоний и колониальных стран они исходили из принципа, что борьба колоний против колониальных стран является справедливой и международный рабочий класс должен всемерно поддерживать эту борьбу. Автор указывает на гибкость позиции классиков марксизма в национальном вопросе, учитывающей, что цели и задачи национальных движений могут со временем меняться (в качестве примера приводится их отношение к чешскому национальному движению середины XIX в.).

В заключительной главе «Вклад Ленина в марксистскую философию языка» (с. 137—149) автор отмечает, что новые социально-исторические условия (подготовка и осуществление пролетарской революции, разработка теоретических основ строительства первого в мире социалистического общества) потребовали нового подхода к решению языковых вопросов. В центре философских проблем языкознания у В. И. Ленина находится материалистическая теория познания и определение роли, которую язык играет в процессе познания. Ленинская теория отражения углубляет и развивает дальше марксистское учение о связи языка и мышления и их отношении к объективной действительности, имеет огромное эвристическое значение для общественных наук современности. В. И. Ленин определил также принципы языковой политики в период строительства социалистического общества в многонациональном государстве. Имя В. И. Ленина связано с марксистским решением национального вопроса, в рамках которого В. И. Ленин очень важное место отводил языку. Он сформулировал основные принципы развития культуры, которые стали осуществляться после Великой Октябрьской социалистической революции.

Таков неполный перечень проблем, освещаемых в монографии Я. Петра. Поскольку классики марксизма-ленинизма не оставили систематически изложенного учения по философским проблемам языкознания, автор решал довольно сложную задачу и справился с ней успешно. Оценивая работу Я. Петра в целом, мы полагаем, что его книги [1, 2], а также рецензируемая монография окажут неоценимую услугу лингвистам всех специальностей как в научных исследованиях, так и в идеологической борьбе с различными идеалистическими и вульгарно-материалистическими течениями в современном языкознании.

Панфилов В. З., Юдакин А. П.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Petr J.* Slavistické zájmy K. Marxe a B. Engelse. Praha, 1976.
2. *Petr J.* Klasikové marxismu-leninismu o jazyce. Praha, 1977.
3. *Petr J.* K zdrojům Marxovy a Engelsovy filozofie jazyka.— SaS, 1978, t. 39.
4. *Petr J.* Místo K. Marxe a B. Engelse v dějinách jazykovědy.— In: O marxistickú jazykovedu v ČSSR. Bratislava, 1974.
5. *Petr J.* Teze klasiků marxismu-leninismu o jazyce.— SaS, 1978, t. 39.

Денисов П. Н. **Лексика русского языка и принципы ее описания.**— М.: Русский язык, 1980. 254 с.

Одним из главных достижений практики преподавания русского языка иностранцам является то, что она вызвала к активной разработке многие важные направления в теории языка, в особенности в области лексикологической теории. В книге П. Н. Денисова в систематизированном виде излагаются эти достижения; приводится обширная библиография работ, относящихся к данной теме.

Книга начинается с характеристики принципов, лежащих в основе преподавания русского языка как иностранного (гл. I), которые можно рассматривать в качестве причин, вызвавших активную разработку некоторых направлений в теории лексикологии и теории языка вообще.

Первый принцип назван П. Н. Денисовым принципом «компрессии и минимизации языка» (с. 23). В методике преподавания этот принцип требует отбора наиболее употребительной лексики, наиболее употребительных форм и конструкций, в теории — повел к обсуждению вопроса о ядре и периферии языка, о том, почему человек, не владеющий всей гигантской совокупностью слов, способен, тем не менее, владеть языком, понимать или быть близким к тому, чтобы понять бесконечное множество текстов. Надо заметить, что эта проблема ставилась и вне связи с преподаванием языка, но кажется, что только здесь она выходит из области умозрительных рассуждений в область конкретных исследований.

Анализируя (в гл. II) частотные словари и лексические минимумы в преподавании русского языка иностранцам, П. Н. Денисов пишет, что максимальная лексическая система в сознании говорящих «свертывается» до индивидуальной лексической системы. Это «свертывание» происходит благодаря тому, что говорящие овладевают прежде всего наиболее частотными словами. Полсотни таких слов покрывают треть текста. Среди этих слов находятся предлоги, союзы, местоимения, частицы, вспомогательные глаголы и другие строевые слова, которые

вместе с 200—300 наиболее употребительных слов создают лексико-грамматическую структуру текста, обеспечивая понимание последнего, каким бы длинным он ни оказался. Хотя малочастотных слов в тексте и много, они покрывают лишь незначительную его часть и практически не затрудняют, если даже они и не понятны, понимания и построения текста. П. Н. Денисов объясняет это тем, что редкие слова «не обладают большой многозначностью или обобщенностью значения; для них легко находятся синонимы из среднечастотной и высокочастотной зоны; они легко передаются другими словами. Редкие слова свободно переводятся в расчлененные наименования (описательные выражения), в чем выявляется действие метаязыковой способности лексического ядра» (с. 64).

Второй принцип преподавания русского языка как иностранного, вызвавший и соответствующие исследования в области теории языка, назван П. Н. Денисовым принципом «организации лексико-грамматического материала на синтаксической основе» (с. 24). Это означает, что при описании словарного состава языка необходимо ориентироваться не на изолированное слово, «а на лексические особенности словосочетаний и предложений» (с. 24).

То, что слово надо изучать не изолированно, а в системе, утверждалось давно. Известны описания слов на основе понятия тематического (семантического) «поля», с использованием компонентного анализа и т. д. Но во всех этих описаниях сочетаемость слов учитывается не вполне. Можно даже сказать, что лексическая парадигматика в этих описаниях отрывается от лексической синтагматики, от использования слова в речи, вследствие чего эта парадигматика и не является ею, представляя собой обыкновенную классификацию с учетом самых различных признаков, часто совсем не связанных с языком и с сочетаемостью слов.

В связи с практикой преподавания русского языка иностранцам в русском языкознании появились словари нового типа — словари сочетаемости слов, среди которых наиболее крупным является «Учебный словарь сочетаемости слов русского языка» под ред. П. Н. Денисова и В. В. Морковкина (М., 1978). Хотя этот словарь и назван «учебным», но его значение выходит далеко за учебные рамки. Это — первый в научной практике словарь, в котором парадигматические группы (классы) лексем формулируются с учетом их синтагматических свойств. В одну парадигму объединяются лексемы, характеризующиеся одинаковой лексической сочетаемостью. Например, слова *курильщик*, *грибник*, *рыболов* и т. п. образуют одну парадигму, так как каждая из этих лексем сочетается с одними и теми же словами, например, со словом *заядлый* (с. 124). Сочетаемость слов выражается в словаре посредством указания на парадигматические классы, которые задаются путем перечисления слов, входящих в эти классы. Например, сочетаемость слова *курить* в словаре выражается посредством парадигматических классов: 1) что — *табак*, *папиросу*, *сигарету*, *трубку*... 2) где — в *комнате*, *в кухне*, *в коридоре*.... и т. д.

Следующий принцип в обучении русскому языку — принцип «функционально-стилистический» — заключается в том, что «обучают не абстрактной русской речи, а разговорной, научной, публицистической, деловой и пр.» (с. 25). П. Н. Денисов показывает (гл. IV), какую огромную роль сыграла практика преподавания русского языка иностранцам в исследовании русской разговорной речи. Этот вид речи, тесно связанный с ситуацией общения и имеющий большое значение при обучении языку, описывается сравнительно мало. В настоящее время при прямом или косвенном воздействии практики преподавания русского языка иностранцам появился целый ряд работ, посвященных этому стилю русского языка (см. библиографию к гл. IV).

Не без воздействия со стороны той же практики активно исследуется в настоящее время и научный стиль русского языка, тоже почти не находивший описания в качестве функциональной разновидности русского языка, хотя, как теперь обнаруживается, представляющий собой не менее разветвленную область, чем художественная речь, которой всегда уделяли основное, почти единственное внимание, несмотря на то, что художественная речь, по-видимому, никакого особого стиля и не представляет. Во всяком случае, она не является обязательной сферой использования языка для каждого говорящего.

Лексические минимумы, применяющиеся в практике преподавания, свидетельствуют о тесной связи и взаимодействии разговорного и научного стилей речи. П. Н. Денисов пишет, что эти стили «соответствуют двум основным сферам реальной жизни: обиходу, досугу и трудовой деятельности» (с. 69). Овладеть языком — это овладеть разговорной речью, а также одним из «подъязыков» профессионального (научного) языка.

Кроме названных принципов обучения, П. Н. Денисов называет еще следующие: принцип «различения обучения говорению и письму, с одной стороны, и аудированию и чтению — с другой» (с. 24); принцип «учета родного языка учащихся» (с. 25); принцип «синхронности» учебных пособий (с. 28). Специальных глав, посвященных этим принципам, в книге нет. Однако об этих принципах тоже надо сказать, что и они находятся в тесной связи с соответствующими теоретическими направлениями. Так, говорение и письмо, аудирование и чтение тесно связаны с теорией синтезирующих и анализирующих моделей языка; интерференция, требующая в преподавании учета родного языка, активизирует сопоставительные исследования языков, синхронный характер учебных пособий; адресованных иностранным учащимся, подтверждает известное теоретическое положение о противопоставленности синхронии и диахронии.

В книге не сформулирован в качестве специального еще один принцип (хотя

ему и посвящается целый раздел), который тоже, как и вышеназванные, относится к числу основополагающих принципов преподавания языка и который тоже оказал определенное воздействие на разработку некоторых теоретических положений лингвистики. Речь идет о принципе, касающемся метаязыка описания, формы представления лингвистической информации в учебных пособиях. П. Н. Денисов пишет (в последней главе), что лингвистическое описание должно отвечать требованиям стандартности (одинаковые явления должны описываться единообразно), экономности, простоты, полноты, эффективности; что применение описания обязательно должно приводить к распознаванию или порождению правильной речи (с. 215). П. Н. Денисов считает, что лингвистическое описание должно быть ориентированным на адресата, что оно должно предполагать в читателе (ученике) определенный объем знаний; что описание не обязательно должно иметь один вариант; что необходимо соблюдение традиций в описании и т. д. (с. 214).

На примерах из лексикографии автор дает типологию лингвистических описаний, классифицируя последние в зависимости от объекта описания, от психологических особенностей адресата (носители языка, иностранцы, ЭВМ), от метаязыка описания, от социологических факторов (от данной культуры, исторической обстановки) и проч. (с. 210—211).

В связи с принципами описания затрагивается в книге и вопрос о формализации. Формализация — это описание, которое строится без опоры на интуицию, на языковое чутье. П. Н. Денисов утверждает, что полная формализация невозможна (с. 214), что применение искусственного языка, скажем, для описания всей лексической семантики — утопия (с. 238). Можно добавить: если лингвистическое описание адресовано человеку, а не машине, то полная формализация и не нужна. Дело в том, что как носитель языка, так и иностранец владеют языковым чутьем: до многого в усвоении и употреблении языка они «доходят» сами, не прибегая к материалу, который предлагает им формализация. Но если описание адресуется машине, то в нем грамматика и словарь должны быть полностью формализованы. И такая формализация возможна применительно к значительным фрагментам языка. Добавим, что формализация — не цель, а средство, и степень ее присутствия в лингвистическом описании зависит от того, кому адресуется описание. Формализация в минимальной степени имеет место в описании, адресованном носителю языка; она максимальна в описании для машины; ее должно быть очень много в учебной литературе, предназначенной для иностранцев. Изложенные в рассматриваемой книге требования к лингвистическому описанию есть не что иное, как требования достижения определенного уровня формализации в учебной литературе.

Итак, практика преподавания русского языка как иностранного значительно стимулировала разработку многих теоретических проблем языкознания и лексикологии; она явилась и наиболее благоприятной базой их приложения. В рассмотренной книге П. Н. Денисова это показано, на наш взгляд, ясно и убедительно. Книгу можно рекомендовать не только преподавателям русского языка как иностранного, как об этом сказано в аннотации, но и лингвистам-теоретикам.

Федосов В. А.

Кубрякова Е. С. **Типы языковых значений производного слова.** М.: Наука, 1981. 200 с.

Рецензируемая монография состоит из Введения и одиннадцати разделов. Каждый раздел в отдельности освещает одну из граней изучаемой темы, а все в совокупности дают полную картину семантики и, добавим от себя, прагматики производного слова.

Остановимся на некоторых положениях монографии. В первом разделе «Отличительные черты смысловой структуры производных слов» говорится о двойной референции, свойственной производному слову, а именно о «референции к миру действительности, типичной для класса слов вообще, и референции к миру слов, типичной для вторичных единиц номинации» (с. 10). Так, область референции номинации «*черника*» может быть представлена рисунком этой ягоды или описанием ее вкусовых качеств (первая референция), но она может быть определена и отсылкой к мотивирующему слову «*черный*» (вторая референция).

Второй раздел «Особенности формирования семантики производного слова в словообразовательных процессах разного типа» содержит классификацию производных слов в зависимости от способов их образования. Автором выделяются три типа словообразовательных процессов, а именно: аналогический, корреляционный и дефиниционный (с. 25). Механизмом первых двух являются ассоциативные связи, при образовании по аналогии ассоциации возникают между формантными частями, ср.: ... «Безвыходность горя, безгласность, безбрежность. Холодная высь, уходящие дали... Глубокая тишь, безглагольность покоя» (Бальмонт, Безглагольность). При образовании по корреляции ассоциация возникает между мотивирующими частями, ср.: «Шалая моя! Пошелевали досыта с тобой» [М. Цветаева, Молодость (II)]. Механизмом дефиниционного процесса являются логические операции, непосредственно связанные с преобразованием развернутого суждения о предмете в его обозна-

чение, например, «лицо у Зики было ничего, круглое, свеженькое, всегда слегка улыбающееся, в белокурых кудряшках. Простоватое личико» (Ю. Трифонов, Другая жизнь). Нам кажется, что поскольку первые два процесса выделяются по одному критерию, а третий — по другому, рассмотрение их в одном ряду неоправданно.

В следующем разделе книги «Методика семантического анализа производных слов» производное слово рассматривается в сопоставлении с заменяющим его развернутым *словосочетанием*. При этом устанавливается корреляция между внутрисловными компонентами деривата и автономными частями его дефиниции. В четвертом разделе основной акцент делается на скрытых компонентах (семах) производного слова, которые выявляются и эксплицитно выражаются в дефиниции этого слова. Очень интересно и плодотворно для дальнейших исследований положение автора о том, что основное отличие сложного слова от мотивирующего его суждения состоит «в ином способе отражения предикативности и переводе актуальной предикации в латентную» (с. 67).

Пятый раздел посвящен истории изучения словообразовательного значения. В нем утверждается, что значение аффикса и словообразовательное значение — далеко не одно и то же (с. 91). Об этом же более подробно автор говорит в восьмом разделе «Деривационные форманты и их роль в формировании словообразовательного значения», где отмечается, что в разных типах производных аффиксы могут выполнять три различных семантических роли, а именно: а) оформителя ономасиологического базиса, б) оформителя ономасиологического признака и в) оформителя определенного типа отношений между ними. В первом случае, согласно утверждению автора, словообразовательные форманты выступают как категоризаторы или классификаторы, во втором — как модификаторы и в третьем — как реляторы, при этом подчеркивается, что ни в одном из этих случаев деривационный формант не равен словообразовательному значению в целом, которое как по форме, так и по содержанию сложнее структурировано, чем значение деривационного форманта.

В шестом разделе «Определение словообразовательного значения» хочется положительно отметить понимание словообразовательного значения одновременно и как элемента смысла и как отношения между основными понятийными категориями предметности, признаковости и процессуальности. Седьмой раздел посвящен классификации и исчислению словообразовательных значений. Автор совершенно правильно считает, что «для классификации словообразовательных значений надо изучить механизм соотнесения разных категориальных значений, которые представлены в языке и которые отражают л и н г в и с т и ч е с к о е в и́ д е н и е (разрядка наша.— *В. З.*) и лингвистическую классификацию предметов и явлений внешнего мира, включая осмысление и классификацию типов связей. За словообразовательными значениями стоит тысячелетний опыт человека и его умения обобщать факты, абстрагировать наблюдаемое и познаваемое, в частности и его умение классифицировать типы отношений и связей» (с. 107).

В разделе «Роль мотивирующего слова в формировании значения мотивированного слова» автор объясняет наличие скрытых сем в структуре деривата возможностями лексической и синтаксической сочетаемости мотивирующего слова, а также кругом связанных с ним (мотивирующим словом) ассоциаций. Автор совершенно справедливо указывает на зависимость семантики производного слова от места и функции мотивирующего его слова в исходной пропозиции и подчеркивает влияние на формирование значения деривата трех факторов: а) конкретных лексико-грамматических значений мотивирующего слова, б) его собственной пропозитивной функции, в) контекстных значений мотивирующего слова. Учет в качестве одного из факторов, влияющих на формирование значения производного слова, ассоциативных связей мотивирующего слова представляется интересным в аспекте словообразовательной и психологической проблематики. Новые понятия, формируясь, включаются в сетку существующих связей и отношений.

Наиболее перспективными для дальнейшего развития дериватологии нам представляются два последних раздела монографии, в которых обсуждаются вопросы функционирования и роли производных слов в организации связного текста. Употребление производных слов, как убедительно показывает автор, способствует достижению синтаксической компактности текста, компрессии текста, его рациональному построению. Использование производного слова позволяет обойтись без сложных описательных оборотов. Употребление производных слов может сопровождаться переходом рематических компонентов высказывания в тематические. Автор это наглядно показывает на примере простых суждений, таких, как *Дети играют*, *Гора высокая*, *Ребенок болеет*, которые легко распадаются на тематическую часть сообщаемого и приписываемые им признаки, представляющие собой действия (*играют*), качества или свойства (*высокая*) или состояния (*болеет*). При продолжении текста и номинализации указанных признаков происходит превращение рематического элемента в тематический, например: *Игра продолжалась до вечера*, *Высота горы поразила нас*, *Болезнь ребенка оказалась неопасной* (рематические компоненты *играют*, *высокая* и *болеет* становятся тематическими последующего высказывания, соответственно *игра*, *высота* и *болезнь*).

Использование производных способствует, во-первых, синтаксической компактности высказываний, во-вторых, соотнесению рематического компонента предшествующего высказывания с тематическим компонентом последующего. Емкость, лаконичность, информативность производного слова связаны с его принципиальной многозначностью (с. 187), совмещением нескольких значе-

ний. Производное слово вводится в текст как широкий по своей семантике знак, в котором обобщенно отражаются типы отношений и типы ситуаций. Использование производного слова создает возможность свернуть, вынести за пределы текста избыточные детали описания, которые легко «домысливаются». Следовательно, производные слова могут осуществлять в тексте функции маркирования возможных синтаксических ролей данного обозначения, семантической компрессии, моделирования подразумеваемых скрытых компонентов смысла и связывания отдельных отрезков текста, соотнесения между собой разных его частей.

По некоторым положениям монографии нам хотелось бы поспорить с автором. Так, из области терминологии нам кажется неоправданным введение термина «отсылочная часть» (с. 16) при уже имеющейся синонимии терминов «производящая основа» и «мотивирующая основа».

На с. 57 автор разграничивает случаи невыраженности значения (типа *школьник*) и случаи невыводимости значения (типа *подберезовик*). Первые автор называет лексикализованными, вторые — фразеологизированными. Нам же представляется, что в обоих случаях значение производного невыводимо, его надо заранее знать, а не выводить. Вывести можно только общую формулу модели с той степенью детализации, с какой задан инвентарь словообразовательных значений. И в этом смысле разницы между производными словами *школьник* и *подберезовик* нет. Если говорящий не знает из своего прошлого языкового опыта значения слова *школьник*, то он, во-первых, никогда не сможет вывести, что это название лица, а не предмета: в принципе словом *школьник* мог быть назван любой предмет, имеющий отношение к школе, например, мел, которым пишут в школе, стол-парта, за которой сидят в школе, большой зал в школе и т. п. (любое такое обозначение не противоречило бы законам номинации), и, во-вторых, даже если бы говорящий знал, что слово *школьник* обозначает лицо, то он не смог бы вывести предиката, показывающего отношение лица к школе, конкретную деятельность этого лица в школе: ведь речь может идти и об обозначении того, кто учит в школе, заведует школой или, наконец, учится в школе.

Разница между *школьник* и *подберезовик* только в том, какая из сем является открытой. При развертывании производного слова и выявлении скрытой семы они (скрытые семы) будут вербализоваться словами разных морфологических классов, выполняющих различную синтаксическую функцию в дефинициях этих производных слов. Но в обоих случаях нельзя вести исследование на основе признака выводимости/невыводимости значения: в обоих случаях это значение надо знать, а не выводить. Применяя тезис автора о двойной референции производных слов к данному случаю, можно сказать, что отнесенность к миру внеязыковой действительности надо знать, а не выводить, а отнесенность к миру слов можно выводить.

Сама степень выводимости значений производного слова может быть различной, но разграничение по степени выводимости надо, на наш взгляд, проводить не между разными предметными существительными, а между абстрактными, с одной стороны, и конкретными, предметными, с другой, иными словами степень выводимости находится в прямой зависимости от того, между какими понятийными категориями устанавливаются отношения в процессе словообразовательного акта. И в этом направлении было бы очень интересно провести исследование и упорядочить по шкале степени выводимости значения и разные классы производных.

Волоцкая З. М.

Попович А. **Проблемы художественного перевода.** Пер. со словацкого Бернштейн И. А. и Чернявской И. С. — М.: Высшая школа, 1980. 199 с.

Наш век по праву называют веком переводов и веком словарей: информационный голод, характерный для современной эпохи, может удовлетворяться лишь благодаря широкому языковому обмену. Не случаен поэтому огромный размах переводческой деятельности, вызвавший к жизни большие успехи, которых за последние 30—40 лет достигла теория и практика перевода. От работ А. В. Федорова, М. П. Алексеева и К. Чуковского до исследований Л. С. Бархударова, И. А. Кашкина, Г. Р. Гачечиладзе, В. Н. Комиссарова, А. Д. Швейцера, Я. И. Рецкера, В. В. Коптилова и многих других — таков путь советской науки о переводе. Немало сделано в этой области и за рубежом. Как для отечественной, так и для зарубежной науки о переводе характерно движение от обобщенной литературоведческой интерпретации перевода к его углубленной лингвистической характеристике.

Книга словацкого ученого А. Поповича относится именно к таким исследованиям, в которых углубленный литературно-критический анализ переводного текста гармонично сочетается с отточенным измерением его языковых достоинств или изъянов. Автор этой книги — видный теоретик и историк литературы, профессор Братиславского университета, заведующий секцией по изучению переводческих проблем Международной ассоциации сравнительного литературоведения и руководитель Кабинета литературной коммуникации и методики при Педагогическом институте г. Нитра. Его перевод-

ческая концепция, однако,— строго лингвистична, поскольку он развивает опыт Пражской лингвистической школы, известной своим функциональным подходом к языку. Не раболепно пунктуальная передача всех языковых деталей подлинника, а адекватное воспроизведение его художественно-эстетических функций — вот основное требование к теории и практике перевода, выдвинутое одним из основателей Пражской лингвистической школы Б. Матезиусом и в теории перевода нашедшее горячего сторонника в лице чешского ученого К. Левого. Этот принцип убедительно отстаивает в своей книге и А. Попович.

Книга А. Поповича построена как концентрированный анализ наиболее злободневных проблем теории художественного (прежде всего поэтического) перевода. Автор оценивает современное состояние этой теории, останавливается на методологических проблемах перевода, посвящает особый раздел переводу как коммуникативному процессу, сосредоточивая внимание на оригинале как объекте переводческой коммуникации. Далее рассматривается понятие структуры переводного текста, прежде всего вопросы семантического инварианта и стилистической трансформации при переводе, языковое построение текста и типология перевода. Много места уделено коммуникации в стиле перевода и проблемам семиотики перевода.

Основным понятием концепции А. Поповича является понятие «текста» или «метатекста», которое позволяет ему построить коммуникативную модель перевода и интерпретировать перевод как один из существенных способов коммуникации. Перевод для автора — это «творческое создание текста», поэтому «назначение теории — объяснить его построение, характер и закономерности» (с. 24). В другом месте книги, называя перевод перекодированием языкового текста, в процессе которого создаются его новый языковой облик и стилистическая форма, словацкий исследователь подчеркивает, что поскольку «существует разница между языками, стилями и культурами, оригинал не может реализоваться в переводе буквально, но лишь на принципе эквивалентности (моделирования)» (с. 186). Переводческая деятельность, таким образом, становится созданием множества вариантов одного метатекста, широким творческим экспериментом.

Перевод — это новая трактовка, новое воплощение оригинала. Отсюда право переводчика на достаточно свободную интерпретацию последнего. Право, ограничиваемое тем не менее необходимостью адекватно воспроизвести художественно-эстетические функции подлинника.

Каждый художественный текст полифоничен по своему значению и эстетической оттеночности. Такая полифоничность, однако, не приводит к распаду текста как целостной системы благодаря наличию в каждом тексте основного ядра. При переводе возможны различные модификации значения этого ядра — «переводческие сдвиги», без которых перевод был бы лишь слепком, точной копией текста, а не его творческой интерпретацией. При сопоставлении таких модификаций оригинала можно выявить межтекстовой инвариант — «общий знаменатель, сцепляющий все существующие переводы в их семантике» (с. 74). Это и есть инвариантная эстетическая информация, которую А. Попович считает ключевой в теории перевода. Именно она должна быть донесена до читателя переводного текста в любом случае, она — основное искомое творческих усилий переводчика.

Одним из центральных понятий, с которыми «работает» А. Попович. является понятие эквивалентности, которое, по-видимому, все более вытесняет или уже вытеснило понятие адекватности и которым современные теоретики перевода пользуются по-разному, вкладывая в него различный смысл. Автор рецензируемой книги это понятие необычайно дифференцирует, различая эквивалентность парадигматическую, эквивалентность синтагматическую, эквивалентность стилистическую и содержательную и, наконец, эквивалентность языковую в переводном тексте. Парадигматическая эквивалентность — это эквивалентность стилистических элементов на парадигматической стилистической оси, т. е. на уровне системы элементарных стилистических единиц. Синтагматическая эквивалентность — организация элементов на синтагматической оси текста, на уровне его структурного построения. Стилистическая и содержательная эквивалентность— функциональная равноценность элементов оригинала и перевода. Эквивалентность языковая — однородность элементов на языковом (фонетическом, морфологическом и синтаксическом) уровнях оригинала и перевода. Так определяются эти типы эквивалентности самим автором в терминологическом приложении к его книге.

Текстовая эквивалентность определяется А. Поповичем как эквивалентность стилистическая. Основным полем деятельности переводчика поэтому признаются поиски и выбор стилистических эквивалентов тексту оригинала. Причем под стилистической эквивалентностью понимается языковая эквивалентность перевода, соотношение между выразительными средствами оригинала и перевода. Искусство перевода заключается в умении соблюсти верность оригиналу в целом, функционально компенсируя утраченные элементы подлинника. Оптимальным вариантом переводного текста при такой трактовке становится функционально-стилистический сдвиг, цель которого — адекватная передача характера оригинала в условиях другой языковой системы.

В книге А. Поповича дается весьма детализированная классификация стилистических сдвигов в переводе: стилистическое соответствие, стилистическая субституция, стилистическая замена-инверсия, стилистическое усиление, стилистическая типизация, стилистическая индивидуализация, стилистическое ослабление, стилистическая нивелировка, стилистическая утрата. При всей абстрактности и определенной дедуктивности

эта классификация объективно отражает возможности различной переводческой интерпретации текста оригинала. Все типы стилистических сдвигов иллюстрируются яркими примерами перевода произведений английской, немецкой, русской, венгерской, чешской и словацкой литературы (в основном, поэзии).

Детально описывая различные возможности передачи текста на другой язык, автор постоянно подчеркивает необходимость комплексного, «всеуровневого» перевода. «Идеальный перевод, претендующий на стилистическую однородность,— пишет он,— должен быть именно переводом на уровне текста» (с. 83). Такой перевод лучше всего сохраняет инвариантную информацию в рамках стилистического сдвига. Отсюда и здоровый скепсис автора по отношению к машинному переводу, характеризуемому в книге как «бестилевой», обезвоженный в отношении изобразительности, как своеобразный «антитекст».

В книге А. Поповича немало свежих и оригинальных идей, метких наблюдений, тонких аналитических очерков отдельных переводов. Ярки, например, его анализ переводов стихотворения Вознесенского «Рублевское шоссе» на английский, словацкий, чешский и венгерский языки или интерпретация многочисленных переводов «Виндзорских насмешниц» Шекспира. Именно благодаря таким конкретным интерпретационным этюдам его теоретическая концепция кажется привлекательной и убедительной.

Не все в этой концепции, разумеется, бесспорно. Поскольку иллюстрации к теоретическим положениям избираются А. Поповичем в основном из переводов поэзии, то возникает сомнение — все ли его теоретические выводы равно действенны и для переводов прозаических? Подчеркивание права переводчика на весьма большую свободу интерпретации оригинального текста, например, обусловлено, как кажется, именно «поэтической избирательностью» иллюстраций. Известно, что проза гораздо жестче регламентирует языковые условия перевода, чем поэзия, а поэтому и мера «стилистического сдвига» оригинала здесь должна быть иной.

Книга А. Поповича написана несколько усложненным языком, что в некотором отношении объективно обусловлено необходимостью точно характеризовать новые понятия, формулируемые автором. К ней поэтому прилагается специальный словарь, где толкуются эти термины. Не все из них, однако, кажутся необходимыми или требуют специальной «терминологической дефиниции». Ср. вошедшие в предлагаемый словарь псевдотермины «переводчик» и «переводческая пара» и их толкования: «Переводчик — приемник иноязычного сообщения (текста), декодировщик и одновременно кодировщик-передатчик сообщения (текста) на другом языке»; «Переводческая пара — объединение специалиста, знающего язык, и писателя (поэта) в процессе перевода. Возникает в результате необходимости реализации двух фаз переводческого процесса — анализа (декодирования оригинала специалистом) и синтеза (кодирование перевода поэтом)» (с. 189). В издании книги немало опечаток в иностранных контекстах и ссылках (например, на с. 6, 15, 81, 95, 135, 178 и др.).

Необходимо подчеркнуть тщательность и точность перевода со словацкого языка этой весьма сложной по своей терминологии и проблематике книги, а также тонкую редакцию этого перевода Н. А. Кондрашовым. Свежо и проблемно написано и предисловие к работе А. Поповича. Автор этого предисловия, известный советский теоретик перевода П. Топер, объективно оценивает место концепции А. Поповича в современной науке о переводе и дает сжатый и емкий анализ этой концепции.

Дискуссионность и усложненность отдельных положений труда А. Поповича во многом обусловлены объективной многоаспектностью теории и практики перевода как особой лингвистической дисциплины, а также сложностью самого труда переводчика, который, по справедливому замечанию А. Поповича, «одновременно и меньше, и больше, чем писатель» (с. 54). Ведь перевод, особенно перевод поэтических произведений, подобен стрельбе из трехтетивного лука, описанной в «Божественной комедии» Данте. Переводчику, словно дантовскому лучнику, приходится учитывать триединую и в то же время разнонаправленную цель своих стрел. Эта цель — стремление к эквивалентности передачи оригинала при необходимости его творческого преобразования и социально-хронологического приближения к своему читателю. Понять секрет мастерства, с которым подлинный переводчик поражает эту цель, помогает книга А. Поповича.

Мокиенко В. М.

Южные говоры таджикского языка. Под общ. ред. Расторгуевой В. С.— Душанбе: Дониш. Т. 1 — 1980, 328 с.; т. 2 — 1979, 249 с.; т. 3 — 1979, 268 с. (на тадж. яз.)

Таджикская диалектология пополнилась новым важным трудом. Мы имеем в виду пятитомное издание «Южные говоры таджикского языка», предпринятое Институтом языка и литературы им. Рудаки АН ТаджССР под общим руководством и редакцией заслуженного деятеля науки Таджикской ССР доктора филологических наук профессора В. С. Расторгуевой. Ответственные редакторы издания — видные ученые Таджикистана Д. Т. Таджиев, Р. Л. Неменова, Р. Гаф-

фаров. Авторы томов: Р. Л. Неменова, Г. Джураев (1), Р. Л. Неменова, А. Л. Хромов, Дж. Мурватов, С. Атабуллаев, Б. Саадуллаев (2), Р. Гаффаров (3). К настоящему времени вышли из печати три первых тома, еще два тома находятся в печати.

Рецензируемый труд представляет собой новый этап в исследовании таджикских говоров. Его появление тесно связано с общим развитием таджикской диалектологии, особенно в последние пятьдесят лет. Ему предшествуют многочисленные описания отдельных говоров, в том числе и южных, и такая работа обобщающего характера, как «Опыт сравнительного изучения таджикских говоров», принадлежащая перу В. С. Расторгуевой. Существенным для его создания является также общий уровень развития отечественного языкознания и, в частности, таджикского, разработка различных сторон таджикского литературного языка, его фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики.

«Южные говоры таджикского языка» — это фактически первый опыт углубленного полного исследования одной из значительных групп таджикских говоров, результат работы участников многолетней планомерной экспедиции, предпринятой Отделом истории языка и диалектологии Института языка и литературы им. Рудаки АН ТаджССР.

Первый том (ответственные редакторы — Р. Гаффаров, Р. Л. Неменова, ответственный по печати — М. Махмудов), кроме предисловия и обширного введения, относящихся к работе в целом, состоит из разделов «Фонетика» и «Лексика». Во введении (автор Р. Л. Неменова) приводятся подробные сведения историко-этнографического характера, базирующиеся как на данных научной литературы, так и на собственных наблюдениях автора. Очень интересны, например, сведения относительно переселения таджиков из южного Таджикистана в другие районы, в частности, северные — в Фергану, Бухару, Самарканд, их контакты в прошлом с различными народностями, проживающими как на территории Советского Союза, так и за его пределами. Так, часть южных таджиков, а именно каратегинцы, переселившаяся из южного Таджикистана в Фергану и находящаяся там в окружении узбекоязычного населения, утратила некоторые черты южной таджикской речи, другая часть тех же каратегинцев, переселившаяся в таджикоязычный район, сохранила южный тип говора. Материалы по истории и этнографии таджиков южного Таджикистана, широко используемые автором введения, способствуют раскрытию особенностей южных говоров, путей их развития.

Во введении затрагиваются такие сложные вопросы, как этнический состав южного Таджикистана, процесс смешения и взаимовлияния таджиков и тюркоязычного населения; привлекаются данные антропологии для обоснования давности пребывания южных таджиков на исследуемой территории; пересматриваются границы распространения южных говоров, уточняются их пределы, вносятся дополнения в классификацию южных говоров (в их деление на подговоры).

В разделе «Фонетика» (автор Р. Л. Неменова) дается детальное описание фонетического состава южных говоров сравнительно с литературным языком при учете его современного и более древнего состояния. Фиксируется степень употребительности того или иного звука, особенности его произношения в зависимости от различных фонетических условий, подчеркиваются различия между говорами. Особое внимание уделяется звукам, представляющим специфику южных говоров — гласному ъ, а также фарингальным согласным ʿ («айн»), ḫ, ẋ; наличие или отсутствие этих звуков принимается за основу при классификации данных говоров внутри группы.

Описывая систему вокализма, автор приходит к выводу, что главным для гласных южных говоров является их качественная сторона, хотя количественный признак в некоторых фонетических позициях может быть решающим фактором в изменении качества гласного. Гласные южных говоров по своей количественной характеристике, в отличие от литературного языка и многих говоров, делятся на три группы: 1) устойчивые, не изменяющиеся в целом в качественном и количественном отношениях — *у*, *е*, *о*; 2) неустойчивые (или нейтральные), изменяющиеся, в основном, в открытом безударном слоге — *а*, *и*; 3) неустойчивый, подверженный сильному сокращению и противопоставляемый по краткости остальным гласным — ъ. Гласный *и*, сравнительно более краткий и менее устойчивый, чем *а*, объединяется с ним в одну группу по причине их общего перехода в ъ в случае сокращения.

Обстоятельно даны фонетические особенности звуков в потоке речи. На многочисленных примерах (с говорными различиями) демонстрируются оглушение звонких и озвончение глухих согласных, отпадение, выпадение и наращение звуков, явления ассимиляции и диссимиляции, метатезы и др. Подробно описаны типы стяжения слов, словосочетаний, грамматических форм, включающих в свой состав два и более компонента. Интересен нетрадиционный раздел о произношении русских заимствований в южных говорах.

Раздел «Лексика» (автор Г. Джураев) относится к особым достоинствам рецензируемого труда. В нем впервые таджикская диалектная лексика (на базе группы южных говоров) стала объектом специального монографического исследования (раздел занимает большую часть тома — с. 87—294). На фоне общетаджикского слоя лексики выделяются слова, присущие только южным говорам. В общетаджикском лексическом фонде прослеживаются слова общеупотребительные и слова литературно-книжные, встречающиеся лишь в отдельных говорах или в речи отдельных лиц. Они сопоставляются с литературным языком по своим фонетическим и семантическим признакам. Наряду с общими словами, выделяющими южные говоры в особую группу и по лексическим особенностям, отмечаются рас-

хождения между говорами, которые ни в коей мере, как пишет автор, не нарушают их единства, а свидетельствуют лишь о том, что лексика является относительно быстро изменяющейся областью в системе диалектной речи и в ней бывают различия даже между территориально близкими говорами.

Значительную часть раздела составляет тематический анализ диалектной лексики. Выделяются многочисленные лексические группы: слова, относящиеся к жилищу и хозяйству, быту; названия одежды, женских украшений; названия животных и предметов, связанных с ними, птиц, насекомых; названия деревьев, растений, злаков; названия явлений природы; производственные и сельскохозяйственные термины, грамматические термины и мн. др. Страницы, посвященные характеристике каждой из этих групп, содержат весьма ценный материал.

Большое место в разделе отводится описанию диалектных синонимов, омонимов, антонимов. Они включают как общетаджикские слова, так и диалектизмы. В специальных главах отражены основные пласты лексики южных говоров — слова исконные, иранские, и заимствования — арабские, тюркские, русские и русско-интернациональные. Выявлено много слов, общих с памирскими языками.

Заключают том два словника: 1) фонетических диалектизмов и 2) слов, использованных в разделе «Лексика». К сожалению, во втором и третьем томах словники отсутствуют.

При богатстве фактического материала и тщательности его систематизации оставляет желать лучшего техническое оформление тома. Не говоря уже о типографских огрехах (неряшливая брошюровка), некоторые фрагменты плохо вычитаны (например, с. 252), местами неаккуратная цитация (например, с. 253), неточные отсылки в словниках (см., например, отсылку на с. 153 при слове *пех*). Подобные погрешности встречаются и в других томах (см., например, т. 3, с. 254, примеч. 15).

Второй том (ответственные редакторы Р. Гаффаров, Р. Л. Неменова, ответственный по печати — Дж. Мурватов) посвящается морфологии южного диалекта. Исследованы основные части речи — имя существительное, прилагательное, числительное, местоимение, наречие (автор Дж. Мурватов), глагол (авторы Р. Л. Неменова, А. Л. Хромов) и служебные слова — предлоги и послелоги (автор Р. Л. Неменова), союзы (автор С. Атабуллаев). В особых разделах рассмотрены частицы, модальные слова, междометия, а также различного рода изобразительные слова (автор Б. Саадуллаев).

Том отличается большой полнотой, обилием фактического материала, имеющего первостепенное значение для диалектологической работы. Описание, как и в предыдущем томе, ведется прежде всего сопоставительно с литературным языком. На фоне общетаджикских черт в каждом разделе подчеркивается специфика диалекта. Она выявляется не только на чисто диалектных признаках, но и на характеристике данных, общих для диалекта и литературного языка. В этом плане можно отметить, в частности, разделы, посвященные словообразованию, ставшему, пожалуй, впервые в таджикской диалектологии объектом столь детального изложения (см. с. 15—44 «Словообразование имени существительного и прилагательного»; с. 132—142 «Словообразование глагола»; с. 142—148 «Словообразование наречий»).

Синтаксис таджикских говоров систематически не изучался, отчасти из-за традиционно большей стабильности и консервативности его по сравнению с фонетикой и морфологией, отчасти из-за слабой разработанности теории синтаксиса в иранистике в целом. Между тем говоры свидетельствуют о сохранении архаических черт, с одной стороны, и появлении и внедрении синтаксических инноваций, с другой. Поэтому можно только приветствовать повышенное внимание таджикских диалектологов к синтаксису (ему посвящены два тома из пяти).

Третий том «Южных говоров таджикского языка» (автор Р. Гаффаров, ответственные редакторы — Д. Т. Таджиев, Р. Л. Неменова, ответственный по печати — М. Махмудов) представляет собой первое монографическое исследование диалектного синтаксиса, осуществленное на материале южных говоров таджикского языка. Описание синхронное, проводится традиционным образом. Сначала автор анализирует различные типы словосочетаний, затем состав и типы простого предложения (синтаксис сложного предложения — содержание четвертого тома «Южных говоров таджикского языка»). По ходу анализа даются сопоставления с современным литературным языком, по мере необходимости делаются экскурсы в историю — к языку памятников классической таджикско-персидской литературы. Для того, чтобы отчетливее выявить структурные особенности южных говоров, автор сопоставляет их также с данными других таджикских говоров, особенно наиболее отдаленных—северных.

Третий том в большей своей части (с. 33—228) посвящен анализу простого предложения. Меньшая часть (с. 15—32) отведена словосочетаниям. Книга снабжена предисловием (с. 3—14). Заключают том главы о соотношении южных говоров с литературным таджикским языком и с другими группами таджикских говоров (с. 229—243); о говорных различиях внутри южной группы (с. 244—246), краткое заключение (с. 247—248) и комментарии (с. 249—268).

В предисловии Р. Гаффаров дает историю изучения синтаксиса таджикских говоров, а точнее — отдельных его аспектов, подчеркивая основополагающее значение труда В. С. Расторгуевой «Очерки по таджикской диалектологии». Весьма полезным представляется критический анализ работ по синтаксису таджикского литературного языка. Автор показывает хорошее знание современной литературы в области синтаксиса, в частности, синтаксических идей Н. Ю. Шведовой.

В главе «Словосочетания» исследуются

те именные словосочетания, в которых в наибольшей степени проявляется специфика южных говоров (общие с литературным языком сочетания: числительное + + существительное, местоимение + существительное — анализу не подвергались). Другие типы словосочетаний рассматриваются в главе «Простое предложение». Итак, в главе «Словосочетания» описаны следующие модели именных сочетаний: существительное + прилагательное, существительное + существительное, существительное + причастие, существительное + глагольное имя, в том числе инфинитив. Автор приводит своеобразные модели словосочетаний, например, имени существительного с препозитивным прилагательным, оформляемым как определяемое: *ганди ҳезум* «худшие из дров»; с повтором прилагательного после изафетной частицы: *ови шури шур* «соленая-пресоленая вода», а также разные типы повтора одного существительного: *ҷангали ҷангал* «чащоба», *марди мардун* (сев.-куляб.) «мужчина из мужчин»; сочетание имени с причастием будущего времени: *севи хурдани* (сев.-куляб.) «съедобные яблоки» и др.

Заключают главу два параграфа: «Особый тип именных сочетаний» (с. 24—29) и «Роль упомянутых именных сочетаний в составе предложения» (с. 29—32). Эти параграфы посвящены конструкциям (которые автор называет вариантами словосочетания) типа *духтар-ра дил*, *духтар дил-аш*, *духтар-а дил-аш*, букв. «девушка, (ее) сердце. . .» (см. об этом также [1]). Приведем пример: *раис зан-ъш йош-ай* (Гиссар) «у начальника жена молодая» (бук. «(у) начальник(а), жена-его молодая есть»). До недавнего времени считалось, что подобные конструкции составляют характерную черту северных таджикских говоров и возникли под влиянием узбекского языка. Р. Гаффаров вводит в научный оборот обширный материал южных говоров, где подобные конструкции также имеют место. При этом им представлены структурные разновидности конструкции, например, с инициальным и с финальным местоположением слова *духтар* [если брать за образец модель *духтар(а) дил-аш*], т. е. *духтар(а) дил-аш* и *дил-аш . . . духтар(а)*. Определена изоглосса этого явления по говорам.

Названные конструкции еще не нашли в иранистической литературе адекватного описания, хотя им уделялось внимание в достаточном количестве публикаций — на материале и таджикского, и персидского, и других иранских языков (основные концепции и литература приводятся автором). Разными исследователями в той или иной форме уже высказывалось мнение о принадлежности названных конструкций предложению (А. К. Арендс, М. Н. Боголюбов, Л. С. Пейсиков, Б. Аляви-М. Лоренц, Ю. А. Рубинчик) [1]. В самом третьем томе «Южных таджикских говоров» содержится скрытое подтверждение объективности такого мнения — в виде известного «нарушения жанра», или нарушения композиции. Оно выражается в том, что в главу «Словосочетания» включен неоправданный здесь специальный параграф об употреблении названных конструкций в предложении; кстати, подобные сведения отсутствуют при описании всех прочих моделей именного словосочетания. Очевидно, что место этому параграфу — в главе «Предложение». Нам представляется также более плодотворным описание названных конструкций в терминах актуального членения высказывания. Весьма желательным было бы пристальное изучение интонационного рисунка и наличия/ отсутствия пауз в данных конструкциях. К сожалению, вопросы просодии в целом относятся к области *desiderata* в таджикском языкознании. Они не вошли и в первый том «Южных таджикских говоров».

Как уже упоминалось, бóльшая часть третьего тома «Южных таджикских говоров» посвящена простому предложению, причем исследуются лишь двусоставные предложения, поскольку односоставные мало отличаются от соответствующих моделей литературного языка. В главе «Главные члены предложения» (с. 33—102) рассматриваются способы выражения подлежащего (с. 33—45) и сказуемого (с. 46—97), а также согласование сказуемого с подлежащим (с. 97—102). Эта глава отличается полнотой изложения и умелым акцентированием специфики южных таджикских говоров. Автор приводит, в частности, образцы использования в функции подлежащего отглагольных имен (типа *тъ́рош* «стрижка», *дав* «бег»); случаи сопровождения указательных местоимений энклитическими личными местоимениями: *ушо-шу мехонан*, *ийо-шу не* (вахиинско-каратегинск.) «те учатся, эти — нет»; эмфатическую конструкцию типа *хъди хъд-ъм*: *хъди хъд-ъм ʿаспи хъд-ъм-а давондам. . .* «А я сам погнал свою лошадь» (каратегинск.). Он проводит также разграничение между употреблением в этой функции личных местоимений 1-го и 2-го лица, с одной стороны, и местоимений 3-го лица, с другой. По мнению автора, первые употребляются, в основном, для стилистического усиления или при противопоставлении. По-видимому, лимитированный объем не позволил автору раскрыть этот тезис на более широком тексте, чем одно предложение. Подробно разбираются виды субстантивации прилагательных, при этом сделан ряд тонких наблюдений.

Внимание широкого круга иранистов привлечет детальное описание глагольных и именных сказуемых в южных таджикских говорах. Специфику этих говоров, как показано в разделе «Сказуемое», составляют сочетания с модальными глаголами *гъ́фтан* «хотеть» < «сказать» (сев.-куляб. *мегъръм гъ́фтъм* «я хотела взять») и *хостан* «хотеть» (сев.-куляб. *дидан намехоҳъм* «я не хочу видеть»), а также сочетания типа *гиръм шъдъм* «собрался взять» и др. Характерно для южных гово-

[1] Было проведено также разграничение структурно сходных моделей *ман бародар-ам хандид*, букв. «я, мой брат засмеялся» и *ман ханда-ам гирифт* «меня разобрал смех» на материале персидского языка (см. [2]).

ров также использование прошедших причастий на *-гӣ* (широко употребительных и на севере) — со связкой (типа вахиинско-каратегинск. *мундаги астак* «оставлена», рогск. *даридаги ас* «порван»), как и вообще преимущественное употребление связки в именных сказуемых.

По ходу описания Р. Гаффаров затрагивает вопросы морфологии, а также глагольного словообразования в широком смысле слова. Интересны наблюдения автора над аналитическим глаголом, в частности, над моделями с глагольными именами типа каратегинск. *пурсон мена* «спрашивает», сев.-куляб *шинохта кадъм* «я узнал»; над инвертированными аналитическими глаголами (*накард қабул* «не принял»); над моделями так называемых парных глаголов (*кардийан мондийан* «они сделали», букв. «сделали-оставили») и редуплицированных глагольных форм (мерава-мерава «идет-идет»); над значением глагольных форм настояще-будущего времени и аориста (с. 51) и др.

Специфика южных таджикских говоров как более консервативных, сохраняющих черты, свойственные языку таджикско-персидской классической литературы и утраченные литературным таджикским языком, становится особенно наглядной, когда Р. Гаффаров анализирует второстепенные члены предложения, в частности, дополнения. Речь идет, во-первых, о так называемом немаркированном прямом дополнении (без послелога *-а/-ра*) со значением определенности (типа каратегинск. *и чойники сърх ай чо оварди?* «ты откуда принесла этот красный чайник?»), во-вторых, о части косвенных дополнений (или обстоятельств), выраженных именем с предлогом, послелогом или с предлогом и послелогом одновременно (в том числе и энклитическим местоимением с послелогом *-а/-ра*, например: сев-куляб. *йа нъмолак-ъш-а бурда бъдъм* «я отнес(ла) ему платочек», см. с. 125) и о некоторых других явлениях. На с. 120—121 приводится перечень специфических южнотаджикских предложно-послеложных конструкций (например, сев.-куляб. *боисти руган-а* «для масла»). К последним, кстати, неправомерно отнесено сочетание *ай тъ-ра* в предложении: *ай тъ-ра* (*хати туро*) *дидъм*, *хуб-ай* (вахиинско-каратегинск.) «я видел твое (письмо), оно хорошее». В этом предложении прямое дополнение *ай тъ* (употреблено вм. *хати тъ*) оформлено послелогом *-ра*, но не предлогом и послелогом *ай... -ра* (в отличие, например, от сев.-куляб. *ай шъмо-ра и нагзта медуна* «он знает лучше вас»). Неточна формулировка на с. 121, отождествляющая предлог *дар* и послелог *-(а)нда*: на синхронном уровне это не одно и то же, хотя исторически оба восходят к праиран. * *antar* «в, внутри, между». Неверно называть послелогом *гуфта/гъфта* (с. 174), особенно если учесть, что глагол *гъфтан* может иметь модальный характер (о чем см. выше) и что во всех приведенных примерах *гуфта/гъфта* стоит после личной глагольной формы.

Значительное внимание уделено однородным членам предложения (с. 203—215).

В разделе «Порядок слов» прослеживаются разные типы инверсий — в зависимости от логического ударения.

Автор не обошел вниманием и средства выражения субъективной модальности — вводные модальные слова (с. 219—222) и средства обращения (особенно детально — частицы), неотъемлемую принадлежность разговорной речи. Специальная глава посвящена вопросительным предложениям.

Тщательный кропотливый анализ синтаксиса простого предложения и словосочетаний в южных таджикских говорах позволил автору подвести итоги в следующих направлениях:

1. Отношение южных говоров к современному таджикскому литературному языку (с. 229—231) — здесь имеются расхождения по целому ряду признаков (с современным таджикским литературным языком больше сближаются северные говоры).

2. Отношение южных говоров к языку таджикско-персидской классической литературы. Здесь автор констатирует черты значительного сходства в синтаксисе и южные синтаксические архаизмы возводит к языку, отраженному в памятниках IX—XII вв. (с. 231—232).

3. Отношение южных и северных говоров (с. 232—242) — тема, в более углубленном виде составившая часть докторской диссертации Р. Гаффарова (см. выше). Автор показывает здесь расхождения количественного и качественного характера, обусловленные различным культурно-географическим положением и разным окружением носителей этих диалектов (в частности, влиянием узбекского языка на северные таджикские говоры).

4. Отношение южных и юго-восточных таджикских говоров (с. 242—243) — наиболее близких между собою групп, где, несмотря на близость, имеется ряд расхождений.

Отмечая достоинства первых трех томов «Южных таджикских говоров», хочется выразить сожаление по поводу того, что заданная ограниченность объема вынудила авторов издания отказаться (за некоторыми исключениями) от передачи приводимого ими богатого иллюстративного материала на таджикском литературном языке. А ведь специфика южных говоров не всегда прозрачна даже для таджиков — носителей других диалектов. Возможно, не лишними были бы и сознательно опущенные разделы (например, об односоставном предложении и о словосочетаниях, общих с литературным языком — в третьем томе). Не мешало бы в каждом томе повторить список сокращений, используемых при иллюстративном материале. Эти меры облегчили бы пользование книгами и расширили бы круг читателей. В связи с последним, нам кажется целесообразным издание этого ценного диалектологического труда на русском языке.

Подводя итоги сказанному, можно констатировать, что «Южные таджикские говоры» — это первое детальное системное (по всем уровням) описание южного таджикского диалекта в целом. Впервые столь большое внимание уделено

южной лексике и синтаксису. Прослежены исторические связи южных говоров, а также их отношение к литературному таджикскому языку и другим группам таджикских говоров. Уточнена классификация южных говоров. Введен в научный и практический оборот богатейший языковой материал южного ареала. Издание несомненно будет способствовать решению проблем культуры таджикской речи. Коллективный труд «Южные таджикские говоры» — весомый вклад в таджикское языкознание и в иранистику в целом.

Керимова А. А., Молчанова Е. К.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Гаффаров Р.* Синтаксис таджикских говоров в сравнительном освещении (простое предложение): Автореферат дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Душанбе, 1980, с. 10.
2. *Белицын А. П.* О некоторых предложениях с обособлением в персидском языке.— В кн.: Индийская и иранская филология. Вопросы грамматики. М., 1976, с. 37—48.

Рубинчик Ю. А. **Основы фразеологии персидского языка.** Отв. ред. Расторгуева В. С.— М.: Наука, 1981. 275 с.

В последние десятилетия возрос интерес советских и зарубежных ученых к изучению фразеологии иранских языков, как распространенных в СССР, так и за его пределами (таджикского, осетинского, памирских, курдского, персидского, пушту, дари́ и др.). Советские иранисты вносят весомый вклад в разработку теории фразеологии, о чем красноречиво свидетельствует рецензируемый труд Ю. А. Рубинчика, представляющий собой основополагающее исследование по персидской фразеологии.

Неоспоримое достоинство монографии состоит в том, что в ней впервые на материале одного из наиболее распространенных иранских языков с древней литературной традицией — современного литературного персидского — разработаны и приведены в определенную систему наиболее важные теоретические положения, касающиеся фразеологии этого языка, обобщены имевшиеся до этого в отечественной и зарубежной лингвистической литературе сведения и введены в научный обиход новые конкретные факты, подвергшиеся в работе строгому научному анализу, определившему их статус и место в исследуемой фразеологической системе. Системность, строгий учет объективных критериев каждого описываемого явления позволили, по нашему мнению, автору максимально избежать субъективного подхода при интерпретации персидских фразеологических единиц (ФЕ), их структуры, семантики и функционирования.

Посвящая работу синхронному описанию структурно-семантических типов персидских ФЕ, автор убедительно показывает и отстаивает целесообразность широкого понимания объема фразеологии. Такой подход позволяет автору в рамках границ фразеологии рассматривать наряду с устойчивыми словосочетаниями, функционально аналогичными слову (номинация) и не вызывающими споров, также и устойчивые фразеологизмы-предложения (ФП) с коммуникативным характером фразеологического значения, в том числе пословицы и поговорки; наряду с эмоционально-экспрессивными, или «метафорическими», ФЕ — и обороты стилистически нейтральные; наряду с идиомами, компоненты которых переосмыслены,— и ФЕ неидиоматического характера, в том числе составные термины.

Широкое понимание объема фразеологии представляется нам правомерным. Фразеологическая наука шагнула вперед, и нет надобности доказывать, что разработка ее теории проводится ныне на материале устойчивых словесных комплексов как со структурой словосочетания, так и предложения. Ибо, как справедливо утверждает автор, ни номинативная (в том числе специальная у составных терминов), ни коммуникативная функции устойчивых единиц (в соответствии с характером их фразеологического значения) не противоречат их фразеологичности, т. е. воспроизводимости в качестве готовых единиц языка (с. 21). Наблюдения над фразеологическими единицами многих языков, в том числе иранских, показывают также, что автор рецензируемого труда прав в своем утверждении, что «фразеологичность не обязательно создается семантической перестройкой компонентов» и что не всем персидским ФЕ, даже идиомам, присуща эмоционально-стилистическая окрашенность, которая и не является свойством общефразеологическим (с. 14). Четкая позиция автора, основанная на широком понимании объема фразеологии, дала возможность сделать новый шаг к выявлению и изучению фразеологического состава персидского языка, включая сюда так называемые моделированные образования (именные, глагольные, ФП) — «устойчивые сочетания слов серийного типа, построенные по определенным структурно-семантическим моделям ограниченного характера» (с. 15).

К определению понятия фразеологизма Ю. А. Рубинчик подходит комплексно, с учетом различных семантических и структурно-грамматических признаков устойчивости («важнейшего дифференциального признака ФЕ», с. 16) как свойств общефразеологических. Не без основания к таковым он относит те, что создают

фразеологичность словесного комплекса, его воспроизводимость в готовом виде: постоянство лексемного состава, допускающего вариантную замену компонентов в пределах их инвариантности: устойчивость целостного значения, которое даже у ФЕ неидиоматического характера хотя и выводится из значений компонентов, не является простой их суммой в силу своей постоянной денотативной соотнесенности; ограничение изменяемости морфологических форм компонентов вплоть до полной утраты ими парадигматических свойств; устойчивость и неизменяемость синтаксической структуры, проявляющаяся в каждом из структурных типов ФЕ по-особому (с. 16—19). Эти признаки составили данное автором определение фразеологической единицы (с. 27).

Иные, порой весьма броские признаки ФЕ, в частности эмоциональная и экспрессивно-стилистическая окрашенность, номинативная и специально-номинативная функция, коммуникативный характер значения и пр., действительно, как показывают наблюдения над фразеологизмами иранских языков, не могут быть отнесены к свойствам общефразеологическим. Поэтому нельзя не согласиться с исследователем, учитывающим эти свойства лишь как характерные для отдельных структурно-семантических типов и разновидностей персидских ФЕ и не являющиеся общефразеологическими.

Успешно, по нашему мнению, решены на материале персидского языка такие важнейшие проблемы фразеологии, как семантическая и структурная классификации ФЕ. Эти вопросы не были предметом специального изучения на материале иранских языков.

Существенным в связи с этим представляется положение автора о том, что наиболее общее значение ФЕ обусловливается не только ее структурой, т. е. «синтаксическим строением», но и «функцией в контексте», которая не всегда определяется строением фразеологизма. Потому при определении общего значения ФЕ со структурой словосочетания как номинативного (*зäнг-е дэл* «горе»), а со структурой предложения — как коммуникативного (*гуш-äм ба шома-ст* «я вас слушаю») отмечается, что некоторые ФЕ предикативной структуры обладают в современном языке только номинативной функцией, а, стало быть, и таким же значением (*бэ häр вäсиле-йи-ке буд* «любой ценой») (с. 29—30).

В основу семантической классификации ФЕ по степени спаянности в работе положен метод компонентного анализа (выводимость/невыводимость общего значения из значений составляющих), зарекомендовавший себя и при исследовании фразеологии других иранских языков, в частности, таджикских именных фразеологизмов. Автор широко пользуется термином «фразеологическое значение». В соответствии с тремя его видами среди различных структурных типов персидских ФЕ выделяются немотивированные, частично мотивированные и мотивированные единицы, т. е. фразеологизмы с фразеологическим значением немотивированным, частично мотивированным или мотивированным (т. е. выводимым из значений компонентов и, следовательно, наименее слитным). Проанализированный в монографии материал показал, что отдельным структурно-грамматическим разновидностям персидских ФЕ свойственны не все виды фразеологического значения. Так, в силу структурно-семантических особенностей лексемного (компонентного) состава общее значение предложных ФЕ-повторов (*ан бэ ан* «ежеминутно», *му бэ му* «детально») может быть лишь мотивированным или немотивированным (с. 74) в отличие от изафетных ФЕ (*дäр-э баг-э сабз* «соблазн»), обладавших всеми видами общего значения (с. 51—70); фразеологизмы-предложения состоят из немотивированных и частично мотивированных ФП (с. 219) в отличие, например, от немотивированных, частично мотивированных и мотивированных МГФ — многочленных глагольных фразеологизмов (с. 198—201).

Структурная классификация персидских ФЕ имеет, наряду с семантической классификацией, принципиальное значение для определения семантико-грамматической типологии фразеологизмов. На материале иранских языков в работе осуществлена детальная и комплексная научная разработка всех видов ФЕ-словосочетаний (именных, глагольных, союзных) и ФЕ-предложений, дающая ясное представление о фразеологической системе персидского языка в целом.

Приходится сожалеть, что в монографии отсутствует анализ союзных ФЕ, опущенных автором из соображений экономии места. Думается, следовало дать хотя бы краткое описание этой разновидности ФЕ под тем же углом зрения теории фразеологии, как и всех представленных в этой ценной работе, что желательно учесть при ее переиздании.

Основные исходные положения книги автор четко изложил в небольшой, но чрезвычайно важной в теоретическом отношении первой части исследования (с. 7—38), последовательно проводя их и подкрепляя богатым, как уже говорилось, конкретным материалом остальных трех частей монографии, где дан скрупулезный анализ структурно-грамматических типов ФЕ — именных (с. 39—112), глагольных ФЕ (с. 113—201) и фразеологизмов-предложений (с. 202—259),— их семантико-грамматическая типология и особенности функционирования.

Монография компактна и насыщена по содержанию. Рассмотрим еще ряд положений и деталей, существенных для теории фразеологии иранских языков, а, значит, и общей теории фразеологии.

В работе обосновывается отнесение к составу именных ФЕ не только устойчивых словесных комплексов, в основе которых лежат виды подчинительной связи (изафетные, предложные, с примыкающей связью), но и так называемых копулятивных ФЕ с сочинительным союзом *вä/о* в качестве конструирующего элемента. Известны особые трудности разграничения сложных слов и фразеологизмов на материале указанных комплексов. Автор рецензируемой моногра-

фии, проанализировав морфологические (показатель мн. ч. *hа*) и формальные критерии разграничения сложных слов и копулятивных ФЕ (замена *о* на *вä*, перестановка компонентов и др.), справедливо отрицает их универсальность ввиду малой пригодности в трудных случаях из-за «...нечеткости самих средств выражения исследуемых явлений языка» (с. 84): лишь ФЕ с элементом *вä* четко отличаются от сложных слов с интерфиксом *о*. Разграничению этих, как и прочих сочетаний, по мнению автора, до некоторой степени способствует их просодическая структура: акцентная структура, при которой главное ударение — на последнем слоге второй части, свойственна сложным словам; в ФЕ же первый компонент имеет самостоятельное ударение, перед вторым — возникает пауза. Отмечается и промежуточное положение копулятивов (и иных структур) между сложными словами и ФЕ (с. 80—90).

Подробно рассматриваются в монографии особенности двучленных и многочленных глагольных фразеологизмов. Предпринята попытка раскрыть природу сложных глаголов (СГ) и описать фразеологические и аналитические свойства этой «фразеолого-грамматической категории» (с. 114—173).

Свойства, отличающие СГ от сложных слов и объединяющие их с устойчивыми словосочетаниями (сохранение ударения в компонентах, возможность дистантного их положения и образования рамочной конструкции, инверсия, вариантная замена и пропуски глагольного компонента и др.), говорят о целесообразности отнесения СГ не к словам, а к ФЕ.

Впервые на материале иранских языков научное обоснование получил структурный тип «фразеологизмы-предложения» (ФП), в основе целостного значения которых лежат, как отмечает автор, такие формы мышления, как суждение, умозаключение, вопрос и другие, в отличие от общего значения ФЕ-словосочетаний, основанного на понятии (с. 207). В книге уделено внимание различию ФП и глагольных ФЕ, что особенно важно ввиду все еще продолжающегося их смешения. Наблюдая природу этих единиц, автор находит, что «...глагольные ФЕ обладают двумя формами существования — инфинитивной и личной»: первая возможна при их номинативной функции, вторая,— когда они выступают как единицы сообщения. Для ФП инфинитивная форма практически невозможна, глагольный компонент в его составе выражается также личной (застывшей) формой (с. 205—206).

Большое значение для понимания структуры и особенностей функционирования многих ФП и глагольных ФЕ имеет вопрос о рамочной конструкции (РК) (*пийаз-äш* ***кунэ кäрд*** «ему повезло», с. 215), который детально разработан автором с привлечением большого фактического материала (с. 173—192, 196—198, 216, 220 и сл.). Данная им характеристика разновидностей РК (факультативная, постоянная), а также ее виртуальной и актуализованной форм (соответственно на языковом и речевом уровнях) применима и к фразеологии других языков.

Как особый разряд ФП рассматриваются автором пословицы и поговорки (с. 240—247) на том основании, что последние обладают типичными фразеологическими свойствами: качественной и количественной определенностью лексического состава и грамматических форм, устойчивостью традиционного смысла, воспроизводимостью. Это проявляется в невозможности свободного обращения со словами и структурой выражения и поддерживается устойчивостью грамматических форм глагольного компонента, архаичностью ряда элементов, эллиптической структурой некоторых из них.

Вопросы, вызывающие особый интерес у иранистов (природа СГ, пословиц и поговорок и др.), не раз еще станут предметом оживленного обсуждения. В целом основные теоретические положения рецензируемой монографии относительно объема и границ фразеологии, структурно-семантического построения и особенностей функционирования ФЕ, методика их исследования и практические приемы анализа конкретного (персидского) материала имеют существенное значение для изучения фразеологии всех иранских языков, особенно таджикского, фразеологическая система которого обладает общностью с родственным персидским. Вместе с тем сопоставление материала монографии с таджикскими ФЕ показывает, что определенная часть ФЕ характерна только для фразеологического состава современного персидского языка и не свойственна современному таджикскому литературному языку, например: *тäджид-э нäзäр кäрдан* «менять свою точку зрения», *ал бэбäрäд-äт*! «черт тебя побери!», *пэдäр-äм пиш-е чешм-äм амäд* «я изнемог», *доруг-э шахдар* «явная ложь», *häрф-äт пиш нэмирäвäд* «с тобой не считаются», *аhäн-э сäрд кубидäн* «делать бесполезное дело», *бад-э борут* «мужское достоинство», *си сал*!» «никогда в жизни!», *пэдäр бäр пэдäр* «из поколения в поколение», *па-во пäр* «стойкость», *кäсиф кäрдäн* «пачкать», *чешм-э ма роўшäн!* «с приездом!» и мн. др. Наблюдаются и некоторые интересные несовпадения в частностях, также обусловленные характерными особенностями грамматического строя, лексико-семантических и иных процессов в этих языках и обнаруживающие специфику их фразеологических систем. Так, в современном таджикском литературном языке отсутствуют СГ с именной частью (ИЧ), выраженной инфинитивом, подобно персидскому *дидäн кäрдäн* «посещать» (с. 137). Менее распространены здесь устойчивые образования с ИЧ — арабскими причастиями без самостоятельного употребления типа *молтäфэт шодäн* «замечать, понимать» (с. 133—134). Есть различия в семантической соотнесенности сложных глаголов с простыми: СГ в таджикском реже являются синонимами простых (*мäрг-ум даштäн*, син. *нэвэштäн* «писать»); но они предпочтительней простого глагола там, где персидскому СГ соответствует его полный эквивалент — простой глагол, производящей основой которого яв-

ляется ИЧ того же СГ (*д͡жäнг кäрдäн — д͡жäнгидäн* «воевать») (с. 122—123). В некоторых случаях не совпадают компонирующие глаголы: *тäкйе зäдäн* «опираться» (с. 158), *тэлефон кäрдäн/зäдäн* «звонить по телефону» (с. 128) в таджикском известны лишь с глаголом *кардан*; в персидском недопустимо сочетание *тäбрик* и *кäрдäн* (с. 25), в таджикском же свободно варьируется *табрик кардан/намудан* «поздравлять».

Таким образом, подобные монографические исследования ценны и для сравнительно-типологического изучения языков, в частности, на фразеологическом уровне.

Отметим, что рецензируемая работа имеет и большое практическое значение. Многие ее положения могут быть использованы при решении некоторых спорных вопросов лексикографии, разработке теории перевода, а также при написании учебников и учебных пособий по персидскому языку. В ней представлена стройная система терминологии, удобны и приемлемы условные сокращения наиболее употребительных терминов.

Значительная работа, подобно рецензируемой,— всегда поиск, потому неизбежны и отдельные недочеты. Не совсем удачно, например, по нашему мнению, назван «переменным» (с. 32 и сл., 102, 106, 108, 154) один из обязательных компонентов в лексемном составе моделированных ФЕ. Его следовало бы, возможно, именовать «немоделирующим» в противовес их моделирующему компоненту. В литературе «переменным» компонентам/членам, не входящим в лексемный состав ФЕ, но связанным с ее структурой и значением (т. е. «вставочному компоненту»— ВК, по терминологии автора), противостоят «постоянные». Сам автор квалифицирует ВК как «непостоянный» (с. 118), «переменный» (с. 176) член ФЕ.

Неясно также, каким образом «...ФЕ может иметь все значения переносные...» (с. 33), ведь термин «переносное значение» предполагает наличие непереносного, прямого.

В заключение еще раз подчеркнем большое теоретическое и практическое значение фундаментального труда Ю. А. Рубинчика. Выражаем надежду, что автор в дальнейшем обратится и к теории лексикографической интерпретации ФЕ, имеющей прямое отношение к разработке основ персидской фразеологии.

Хушенова С. В., Гаффаров Р.

Щербак А. М. **Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. (Глагол).**— Л.: Наука, 1981. 182 с.

Рецензируемая работа составляет продолжение труда того же названия, первая часть которого была посвящена имени [1]. В данной работе объектом исследования выступают важнейшие грамматические категории глагола, имеющие общетюркский характер. Форма «очерков», как представляется, обусловлена современным состоянием разработки сравнительно-исторической грамматики тюркских языков, в частности морфологии, которое требует внимания прежде всего к интерпретации узловых проблем развития грамматической системы и воссоздания ее праформ. Задача подобного исследования — предложить ключ к верификации развития морфологических систем конкретных тюркских языков и укрепить фундамент для разработок на бóльшую историческую глубину. В экспликации наиболее спорных фундаментальных положений сравнительной грамматики тюркских языков нам видится отличие данной работы от аналогичных и пока немногочисленных работ в тюркологии. Методика исследования строится как восхождение от установления современного состояния к общетюркскому, характеризовавшемуся грамматическими подсистемами в целом современного типа, т. е. реконструируется поздний хронологический срез общетюркского состояния.

Особенность морфологической системы тюркских языков (незатемненность морфемы, четкий морфемный шов в слове, преимущественно однозначное соответствие аффикса и грамматического значения и др.) позволяет в модели реконструкции общетюркского состояния опираться на материал всех тюркских языков. Это объясняет опору прежде всего на данные современных языков и их диалектов, колоссальный охват которых составляет одну из примечательных черт рецензируемого труда. Глубина реконструкции в данной работе ограничена только общетюркским языковым состоянием. Алтаистическая проблематика автором отвергается как по принципиальным соображениям (отсутствие генетического родства), так и в силу убеждения в том, что решению алтайской проблемы должно предшествовать определение пратюркского состояния. Вместе с тем следует отметить, что автор не отвергает возможность тюрко-монголо-тунгусских морфологических заимствований как один из подходов к алтайской гипотезе.

Работа включает краткое «Предисловие» (с. 3—4), в котором автор подчеркивает единство методов описания и принципов интерпретации в обеих частях «Очерков»; «Сокращения» названий памятников, грамматик, словарей, специальных работ, использованных автором (с. 5—7); «Введение» с двумя разделами: «К вопросу о происхождении глагола в тюркских языках», где снова затрагивается вопрос об изначальном синкретизме именных и глагольных основ, и «Общие замечания о морфологии глагола» с анализом морфологической структуры глагольной словоформы и ее развития на фоне разграничения имени и глагола (с. 8—21). Глава I (с. 22—138) посвящена формам словоизменения — полновербальным (финитные формы) и формам неполной вербальности, к кото-

рым нетрадиционно отнесены лишь деепричастия. Формы полной вербальности даны через присущие им грамматические категории лица-числа, интеррогативности, наклонения, отрицания, возможности, залога. К формам неполной вербальности примыкает рассмотрение форм интенсивной процессуальности и вспомогательных глаголов. Глава II (с. 139—154) содержит анализ общетюркских аффиксов глагольного словообразования и вспомогательных глаголов, сыгравших важную роль в тюркском словообразовании. Глава III (с. 155—170) «О способах и исторической глубине образования морфологических элементов в тюркских языках» раскрывает взгляды автора на агглютинацию и соответственно природу аффиксальных морфем, их происхождение и принципы их этимологизации. Работа имеет ряд приложений: список реконструированных праформ (с. 171), именной указатель (с. 172—175), указатель коллективных монографий (с. 176), указатель аффиксов, рассматриваемых или упоминаемых в работе (с. 177—182).

Во «Введении» автор специально останавливается на вопросе о происхождении глагола в тюркских языках, поскольку первичность финитных или нефинитных форм до сих пор обсуждается в тюркологической литературе. А. М. Щербак еще раз подчеркивает, что имя и глагол как грамматические классы появились одновременно и сохранившиеся синкретичные основы в тюркских языках служат тому подтверждением. Однако морфологическое выделение глагола было более поздним процессом. Оно происходило на базе имен действия, выступавших со значением наименования процессов и состояний и обусловивших дальнейшее семантическое многообразие глагольных форм современных тюркских языков, структуру времен и наклонений (с. 13). Необходимо подчеркнуть и ту мысль работы, что синкретичность первообразных глагольных основ отразилась и в природе имен действия, но с определенной предрасположенностью к интенсификации именных или глагольных признаков. К общему пласту древнейших тюркских имен действия отнесены *-ɓї* ~ *-ɓу*, *-їнч* ~ ~ *-унч*, *-мак*, *-ма*, *-їш* ~ *-уш*, *-їк* ~ *-ук*, *-їγ* ~ *-уγ*, *-ї* ~ *-у* ~ *-а*, *-їт* ~ *-ут*, *-їн* ~ ~ *-ун*, *-мїш*, *-ɓїн* ~ *-ɓун* ~ *-ɓан* и др. Заметим, что сам взгляд на их синкретичную глагольно-именную природу ставит вопрос о характере той системы, которую они создавали. По мысли автора, решающим в становлении собственно глагольных (финитных) форм было включение в состав исходного имени действия личного местоимения как неотъемлемого компонента его категориального содержания: «степень глагольности устойчиво выполняющих предикативные функции имен действия находится в прямой зависимости от уровня формализации слившихся с ними личных местоимений» (с. 17). С этим связана и отстаиваемая автором точка зрения на единый — лично-местоименный — тип спряжения. Внешнее сходство некоторых показателей лица с аффиксами принадлежности объясняется широко развитыми процессами стяжения лично-предикативных аффиксов в глагольных формах.

Интерпретация собственно глагольной формы как особого грамматического класса связана с пониманием структуры глагольной словоформы в тюркских языках, чему было специально уделено место в первой части «Очерков». Анализ морфологической структуры глагольной словоформы, с одной стороны, ориентирован на синхронное состояние глагола: выдержанный в терминах грамматики порядков, он последовательно членит предельно возможную словоформу на аффиксальные морфемы (лица, наклонения, времени и т. д.). Принадлежность некоторых порядков (например, интеррогативности, как, впрочем, и лица) к морфологии не только глагола для целей данной работы признается автором не существенной в силу того, что конечной целью анализа является установление исходного состояния системы, которое предполагает первоначальную грамматическую нераздельность имени и глагола. Именно поэтому автор не останавливается специально и на обычно дискуссионном вопросе о том, что представляет собою глагольно-именная основа типа *-ɓан* в составе глагольной словоформы и определительного сочетания (как причастие). Вместе с тем А. М. Щербак достаточно определенно высказывается против того, чтобы считать такое образование омоморфным, поскольку грамматически «причастия» едины, синкретичность присуща им как таковым (с. 21). Думается, однако, что решение этого вопроса имеет прямое отношение к пониманию именно эволюции формы. С одной стороны, однотипные в плане формального анализа глагольные словоформы *ал-дї-м* и *ал-ɓан-ман* «я взял» оказываются разными с точки зрения «внедрения» показателя лица в основу времени. Несмотря на четкий морфемный шов, в первом случае морфема лица нерасторжима с показателем времени, чем *ал-дї-м* и отличается от второй словоформы. Именно поэтому во второй форме некоторые исследователи и видят лишь синтаксическую функцию причастия. Таким образом, оставаясь на формально-морфологической позиции, трудно доказать, что *ал-ɓан-ман* это полновербальная форма, а именно полная вербальность и признается в работе как основное свойство собственно глагольных (финитных) форм. Как представляется, к признанию омоморфии ведет то, что полновербальная форма входит в другой класс, в иную подсистему, отношения внутри которой во многом и определяют ее семантическое развитие на протяжении истории. Материальная природа формы имени действия и ее семантический потенциал несомненно определяют путь, по которому пойдет в ней развитие вербальности, но не меньшую роль играет здесь и ее вхождение в определенную подсистему.

Анализ аффиксальных морфем в работе осуществляется по их категориальной принадлежности с внутренним членением по однородным категориям. Приводятся парадигмы с опорой на литературную норму, но учитываются также все зарегистрированные формы по диалектам и

письменным памятникам. В этой группе несомненный интерес представляют как реликтовые формы, так и речевые реализации той или иной морфемы, которые могут пролить свет на формальное изменение аффикса. В этом плане хотелось бы отметить раздел, посвященный категории лица, формальная пестрота которой в целом аргументированно сводится к исходным формам личных местоимений. Правда, традиционно спорные вопросы о происхождении показателя 1-го л. мн. ч. *-k*, 1-го л. мн. ч. *-лїм*, *-лїҥ* и др. все же остаются таковыми. Думается, что процессы фонетических преобразований в формах желательного и повелительного наклонений должны вести к признанию разной относительной хронологии в становлении форм лица. Вообще не всегда нестяженные формы могут быть поставлены в параллель к стяженным. Так, вряд ли в словоформе типа *башлајман* «начну-ка» можно видеть полную форму в параллель к стяженной *башлајїн* (с. 37): первая форма наряду с *башлаҕайман* является результатом стилистической контаминации *-ҕајман* и *-ајын*, свойственной поэтическим произведениям. С точки зрения осознания структуры словоформы можно сомневаться в указании Абу-Хайяна на то, что во 2-м л. мн. ч. повелительного наклонения мог употребляться афф. *-сїз* (с. 32): перед нами скорее эмфатическое постпозиционное употребление личного местоимения, т. е. *турун сіз*. Не до конца убеждает чисто фонетическое объяснение афф. 1-го л. ед. ч. *-їн*, имея в виду его постоянный вокализм, или возведение афф. повел. наклонения *-сін* к форме имени действия с аффиксом принадлежности, где остаются неясными как семантические основания, так и позиционные условия преобразования именной формы в глагольную.

Вопрос о происхождении форм желательного наклонения затемненностью своей морфологической структуры давно привлекает внимание тюркологов, существует значительная литература, но все же до сих пор нет единства в понимании генетических и функциональных связей элементов этой категории. Наиболее спорные положения сводятся к следующему: а) связаны ли генетически форма *-ҕа(j)*, представленная в памятниках и некоторых современных языках как оптатив, и форма *-а(j)* — общетюркская основа желательного наклонения, б) следует ли огузскую форму будущего-оптатива *-а* (с разрозненной на современном этапе парадигмой) ставить в прямую связь с *-ҕа(j)* или с *-а* — формой индикатива в большинстве современных языков, кроме огузских, в) следует ли в этом *-а* видеть общий источник с *-а(j)* желательного наклонения. Думается, что работа А. М. Щербака дает убедительные доводы в пользу взгляда на разнородность *-ҕа(j)* и *-а(j)*. Привлекает и гипотеза о связи общетюркского *-а(j)* с именем действия **-а*. Правда, здесь остаются все же неясными те преобразования, которые дали *-j* и которому трудно приписать характер соединительного звука. Что касается связи огузского *-а* с *-а* типа татар. *ала-м*, якут. *ала-бын* и др., то их отождествление представляется сомнительным. В пользу разграничения этих форм говорит то, что восточнотюркское *-а* не обнаруживает тенденций к модальному развитию (оптатив, наклонение гипотаксиса), столь характерному для огузского *-а* и восточнотюркского *-ҕа(j)*. Вообще гипотеза о значительной роли имени действия **-а* в сложении собственно глагольных форм, конструктивная сама по себе, требует все же многих объяснений. Так, неясно, почему одна и та же форма (*-а*) стала и модально отмеченной (основа желательного наклонения), и модально нейтральной (элемент индикатива) одновременно. Неясно, что́ в ее исходном состоянии могло предопределить предполагаемый путь развития. Возможность значимого варьирования (*-ї* ~ *-у* ~ *-а*) А. М. Щербак отвергает. В связи с этим можно заметить, что доказательство нерелевантности огласовки на примерах типа *бардїм* ~ *бардум* ~ *бардам* «я пошел» в данном случае не убеждает, так как здесь смыслоразличительную функцию имела консонантная часть аффикса. Приписать незначимость однофонемному аффиксу, состоящему из одной гласной, довольно трудно, если не видеть в нем в свою очередь преобразованный консонантный аффикс. Поэтому предложенная гипотеза о роли **-а* требует семантического обоснования. Чисто формальное вычленение формы *-а* в производных образованиях, давших основу форм будущего времени, могло бы убедить, если бы грамматическое значение компонентов могло объяснить дальнейшее развитие этих дериватов как форм глагольного словоизменения. Так, неясна линия развития *-а* + *-ǰak* в сопоставлении с *-а* + + *-сї*, если *-сї* — это аффикс принадлежности (с. 56). В происхождении вторичных имен действия, возможно, не следует отвергать путь их образования в составе предикативной синтагмы путем слияния первичного имени с частицей, энклитикой или каким-либо другим полуслужебным элементом, как это допускается автором в толковании форм повелительного наклонения. Идея «сопровождающих» аффиксов, к сожалению, осталась не раскрытой.

Если в анализе косвенных наклонений бо́льшее место занимает уяснение происхождения форм и их многообразия по языкам, то в анализе индикатива внимание автора прежде всего привлекает сама организация этой подсистемы, в которой отмечается переплетение модальных, временных и аспектуальных значений. В соответствии с восстанавливаемыми праформами уже общетюркское состояние было отмечено системой форм современного типа, в которой темпоральный признак выступает ведущим. В современных языках сфера будущего организована противопоставлением будущего предположительного *-ар* (< * (°) *р*) и будущего категорического (**-kaj*). Справедливо подчеркивается разное положение по языкам формы -(°)*р* в современных языках. Думается, однако, что значение предположительности стало инвариантом этой формы далеко не во всех языках. В большинстве из них -(°)*р* передает лишь потенцию действия, не обязательно

связанную с субъективным отношением говорящего, что обычно входит в признак предположительности. Сфера настоящего почти во всех языках имеет две формы: для настоящего актуального и настоящего общего (настоящего-будущего). Для общетюркского реконструируется *-*а* — настоящее и *-(°)*р* — аорист (вневременная форма). В толковании -*а* автор исходит из его первичности в отношении к -*а* + *турур*, с чем можно согласиться, поскольку исторический период тюркского глагола отмечен постоянной реактуализацией форм настоящего через вспомогательные глаголы в форме -(°)*р*. Думается, это свидетельствует о количественной характеристике действия в *-(°)*р*. По-видимому, значение презенса развилось в нем на основе признака множественности ~ длительности, а не на основе «вневременности». Думается, было бы правильнее рассматривать в общетюркском *-(°)*р* как форму презенса, вытеснявшую в этом качестве *-*а*. Иначе трудно объяснить отсутствие последней в огузском индикативе (конечно, если согласиться с тем, что огузская финитная форма -*а*, представленная в памятниках и некоторых диалектах, к рассматриваемому -*а* не имеет отношения). Мысль о разной относительной хронологии форм *-*а* и *-(°)*р* в тюркологической литературе связана с гипотезой о предшествующем состоянии глагольной системы в общетюркском, в которой -*а* не имело темпорального значения и значимым образом соотносилось с -*ï* ~ -*у* [2]. С этой гипотезой связано и толкование огласовки в -(°)*р*, принадлежность которого одновременно к классу узких и широких аффиксов является в современном языке своего рода аномалией. Как бы ни интерпретировать это варьирование в древнейшую эпоху, нельзя не видеть тенденцию к фиксации широкого варианта в том случае, если происходит сужение потенциала формы до значения будущего предположительного. Что касается азербайджанского феномена, где узкая разновидность выступает как настоящее конкретное (с возможностью передавать и значения настоящего общего и будущего потенциального), а широкая в основном со значением будущего [3], то трудно согласиться с А. М. Щербаком, который в узкой разновидности видит стяжение из перифрастической формы типа *ала* + *jорур*. Предполагаемое стяжение дает, как правило, сохранение консонантного элемента -(*j*) или долготу, что не отмечено в азербайджанской форме [4]. Кроме того, форма настоящего конкретного, а именно такое происхождение предполагается в узкой разновидности азербайджанского -(°)*р*, не передает будущее, что также мешает выводить азерб. -*ïр* из перифрастического сочетания со значением презенса.

Сфера прошедшего представлена взаимодействием разных семантических оппозиций, в современном языке выступающих в противопоставлении форм претерита, перфекта и имперфекта. Для общетюркского реконструируется противопоставление *-*тï*(γ) (прошедшее) и *-*пïш*, *-*кан* — перфект. Общетюркская принадлежность *-*кан* как элемента системы полновербальных форм все же нуждается в обосновании.

В работе поддержана точка зрения на развитие -*дï* как финитной формы из имени действия. Она скорректирована таким образом, что прототипом формы -*дï* предполагается не -*дïк* ~ -*дук*, но -*дïв* ~-*дув*, что может объяснить падение согласного в исходном имени действия. Правда, вопрос остается открытым, так как автор допускает возможность происхождения -*дï* и из формы с конечным гласным. По-видимому, справедлива мысль о том, что -*дï* не передает перфективности как таковой, вместе с тем нельзя согласиться с ее толкованием как формы с внутренне исчерпанным действием (с. 81), поскольку это наводит на мысль о предельности, которой в этой форме нет и которая может быть лишь следствием аспектуального контекста.

При рассмотрении залога разнородность значений форм этой категории, а также общие положения о парадигматической соотнесенности членов грамматической категории вынуждают автора признать условность объединения залоговых форм в общую категорию залога. По мысли автора, каждый залог образует самостоятельную оппозицию к действительному залогу. Действительно, соотношение лексической валентности глагола и грамматического значения залога является не только вопросом грамматической теории, но и особенно проблемой исторического развития глагольной системы тюркских языков. Поэтому закономерно, что А. М. Щербак уделяет в своей работе много места не только соотношению значений и последовательности их развития в формах залога, но и вопросу о происхождении залоговых форм. Здесь особенно отразилась общая концепция автора о происхождении грамматических форм, которая раскрывается в специальном разделе, завершающем работу. В оценке возможных в общелингвистическом плане способов образования аффиксальных морфем А. М. Щербак отдает предпочтение агглютинации и в гораздо меньшей степени фузии [5], полагая, что слияние морфологических показателей с переразложением или упрощением «происходит независимо от способа образования морфологических показателей и не содержит никакой информации о происхождении последних» (с. 163). В принципе возможность возведения тюркского аффикса к самостоятельному слову не вызывает сомнения, тем более что история тюркских языков дает достаточно материала для подтверждения этого взгляда. Однако часто этот процесс предстает не как преобразование комплекса примыкающих основ, но как грамматикализация уже существующей словоформы (ср. сложение форм презенса). Кроме того, поиски объяснения происхождения аффиксальной морфемы, ориентированные обязательно на определенную лексическую единицу, как представляется, таят в себе опасность перехода к той глубине реконструкции, на которой для праязыкового состояния постулируются уже иные типологические черты (например, аморфности). Обраще-

ние к фузии при объяснении причин именно данного сращения предполагаемых формантов конструктивно для понимания семантической эволюции аффиксальной морфемы. Несомненно, что это предполагает и бо́льшую хронологическую глубину реконструкции.

В свете актуальной задачи развития сравнительно-исторической тюркологии труд А. М. Щербака является значительным вкладом в ее осуществление. Работа предлагает, как кажется, одну из возможных моделей реконструкции общетюркского языкового состояния и несомненно будет стимулировать дальнейшие исследования в этой области.

Грунина Э. А.

ЛИТЕРАТУРА

1. *Щербак А. М.* Очерки по сравнительной морфологии тюркских языков. (Имя). Л., 1977.
2. *Doerfer G.* Der Imperativ im Chaladsch.— FUF, 1972, XXXIX, 3.
3. *Ахундов А. А.* Фе'лин заманлары. Бакы, 1961, с. 73, 90.
4. *Рүстәмов Р. Ә.* Азәрбајҹан дили диалект вә шивәләриндә фе'л. Бакы, 1965, с. 213.
5. *Кононов А. Н.* О фузии в тюркских языках.— В кн.: Структура и история тюркских языков. М., 1971.

Гальперин И. Р. **Текст как объект лингвистического исследования.**—М.: Наука, 1981. 138 с.

Лингвистика текста — одна из наиболее актуальных проблем современного языкознания. За последние годы появилось много как советских, так и зарубежных исследований по этой тематике, опубликованы статьи, сборники [1—3], защищены диссертации [4—6] — и все-таки в лингвистике текста остается много нерешенных вопросов.

Рецензируемая книга предлагает авторское решение некоторых из наиболее острых проблем теории текста: исследуются текст как целое, его отношение к языку и речи, его категории и единицы. Все положения книги доказываются на примерах, почерпнутых из разных языков (в основном, русского и английского); кроме того, рассматриваются тексты неодинаковой стилевой принадлежности — художественные (поэзия и проза), деловые и газетные. Анализируются тексты классических авторов и современных писателей (Шелли, Лермонтов, Диккенс, Л. Толстой, Воннегут, Чехов, Мердок, Шриттматтер и т. д.). Все сказанное свидетельствует о доказанности основных положений разнообразным материалом. Этим книга И. Р. Гальперина выгодно отличается от других работ по лингвистике текста, ограниченных по использованному материалу, а потому и по возможностям приложения теории [7—9].

И. Р. Гальперин рассматривает текст «как упорядоченную форму коммуникации, лишенную спонтанности» (с. 11). Тем самым текст, по его мнению, существует только в письменном варианте литературного языка (с. 15). Эта мысль (вероятно, не бесспорная) представляется весьма плодотворной, позволяющей отделить о р г а н и з о в а н н у ю письменную речь от спонтанной разговорной речи [10]. Однако всякая ли устная речь лишена организации? Думается, что публичная устная речь — речь ораторов (лекторов, адвокатов и т. д.) дает примеры организованной речи, т. е. текстов. В этих текстах, как показывают наблюдения, слабо выражена только одна текстовая категория — членимость речи, остальные же категории, выделяемые И. Р. Гальпериным, присущи и монологическим устным текстам (но не разговорной речи).

Плодотворна мысль автора о том, что грамматические категории текста вызваны к жизни таким экстралингвистическим фактором, как отсутствие адресата, к которому обращена речь. Это, однако, заставляет усомниться в исключительной принадлежности текстовых категорий письменной речи. Отсутствие адресата характерно и для многих видов современной устной речи (выступления по радио, телевидению). С другой стороны, наличие адресата речи, но отсутствие с о б е с е д н и к а характерно для многих видов публичной речи (лекции, речи адвокатов и т. д.).

И. Р. Гальперин относит текст к системе не языка, а речи. Текст не воспроизводится, а всегда «представляет собой сознательно организованный результат речетворческого процесса» (с. 3). Однако влияние языка на текст им не отрицается. Выдвигаемые категории сам автор не считает единственно возможными и подчеркивает, что «опыт наблюдения над параметрами текста настоятельно выдвигает гипотезу о том, что текст является средоточием организованного, упорядоченного, запрограммированного и врывающегося случайного, незапрограммированного, возникающего в процессе его создания» (с. 4). Предложенные автором характеристики являются показателями организованности, упорядоченности текста. Не ясно, однако, отношение автора к случайному. Не является ли случайное в тексте отступлением от норм его организации, речевыми ошибками? Ответа на этот вопрос в книге И. Р. Гальперина мы не находим.

Большинство выделяемых И. Р. Гальпериным текстовых категорий бесспорно: завершенность (с особой ролью заголовка), членимость, когезия. Некоторые категории кажутся более частными, несамостоятельными, характерными не для всех текстов, иногда для текстов только худо-

жественной речи. При рассмотрении синтеза когезии и прерывности автор использует только примеры текстов художественной речи, но ни разу не определяет отношение соответствующего континуума к нехудожественным текстам. Автосемантия, проспекция и ретроспекция присущи не только художественным текстам (автор демонстрирует эти категории на примерах из текстов разной стилевой принадлежности). Однако не являются ли проспекция и ретроспекция более частными проявлениями когезии? К тому же они факультативны. Не лучше ли было бы выделить их не рядом с когезией, а внутри нее? Думается, что связана с когезией и автосемантия «кусков текста», т. е. таких отрезков, на которых не проявляется когезия (нулевая когезия).

Автор справедливо подчеркивает переплетение и взаимосвязанность, взаимообусловленность текстовых категорий. Это переплетение особенно ярко проявляется в категориях интеграции и завершенности, которые подобно проспекции и ретроспекции, рассмотрены в одной главе. Однако если проспекция и ретроспекция — разные формальные способы организации текста, которые могут использоваться в тексте один за другим, совместно или порознь (а могут и вовсе не использоваться), интеграция и завершенность — это обязательные свойства, без которых нет текста. И. Р. Гальперин рассматривает интеграцию как «неотъемлемую категорию текста» и в какой-то степени как функцию объема текста (чем больше текст, тем менее отчетливо наблюдается интеграция), а завершенность — как функцию замысла.

Книга И. Р. Гальперина — продолжение, углубление и систематизация ранее высказанных им положений, [11—13], но ни в коей мере не повторение их. Особенно это касается главы «Виды информации в тексте», никак не повторяющей книгу [11]. Глава эта очень важна в связи с предложенной автором концепцией текста. Уточняя свое понимание термина «информация», И. Р. Гальперин указывает, что категория информации относится только к тексту (отрезки текста, сверхфразовые единства и предложения имеют только смысл); однако автор допускает возможность и нулевой информации и в зависимости от «прагматического назначения» делит ее на содержательно-фактуальную (СФИ), содержательно-концептуальную (СКИ) и содержательно-подтекстовую (СПИ). Особенность художественных текстов И. Р. Гальперин видит в обязательности для них СКИ, в отличие от СФИ, не выражаемой вербально, а извлекаемой в результате творческого переосмысления представленных писателем событий, отношений, фактов. СКИ — это замысел автора плюс его содержательная интерпретация, допускающая разные толкования. Поновому, на убедительно проанализированных примерах раскрыта и сущность СПИ.

Не совсем ясно, почему СФИ, СКИ и СПИ — это разные «прагматические назначения», а не разные способы выражения информации. Думается, что различие в способах представлено автором отчетливее, чем различие в назначении. Мало внимания автор уделил и формам информации (разобраны только сообщение и резолюция).

Рассматриваются в книге и единицы текста, но в основном реферативно (представлены авторы наиболее важных исследований текстовых единиц, упомянуты разные термины). Однако единицы текста рассмотрены не самостоятельно, а только в связи с категорией членимости. Поскольку основная литература по тексту посвящена как раз выделению его единиц, такое отношениие к проблеме единиц текста объяснимо, и, видимо, целесообразно. Новым является выделение текстовых категорий, их раскрытие и составляет основное содержание книги И. Р. Гальперина. В этом ее главное достоинство.

Самым уязвимым в концепции текста, предложенной И. Р. Гальпериным, является грамматичность текстовых категорий. Прежде всего вызывает сомнение использование термина «грамматический» по отношению к речевой системе. Во-вторых, если когезия как грамматическая категория не вызывает внутреннего сопротивления, то завершенность, информативность такое сопротивление вызывают. Сам автор определяет грамматическую категорию как «обобщенный класс форм, выражающий определенное грамматическое понятие», а грамматическое понятие — как «логико-философскую категорию, преломленную в языковом сознании и определившую предмет грамматики» (с. 15). Как эти определения соотносятся с категориями информативности и завершенности (да и интеграции)? Сам автор говорит о содержательных и формальных текстообразующих категориях (с. 3). Однако стóит ли содержательные категории называть грамматическими?

При чтении книги И. Р. Гальперина возникает много вопросов, не все принимается сразу, но это не недостаток, а достоинство книги: она заставляет по-новому взглянуть на текст, проясняет многие проблемы лингвистики текста, создает прочный фундамент для их решения.

Книга интересна и полезна не только тем, кто занимается лингвистикой текста. И. Р. Гальперин вносит значительный вклад и в разработку проблем функциональной стилистики (соотношение литературного языка и его функциональных стилей, язык художественной литературы как один из функциональных стилей) и особенно в стилистику художественной речи. Присущая И. Р. Гальперину способность блестящей научно-художественной интерпретации поэтических и прозаических текстов сказалась в этой книге особенно ярко, может быть, потому, что такой интерпретации подверглись очень разные произведения (разных авторов, жанров, стилей и даже языков).

В рецензируемой книге впервые дана стройная теория текста. Ее можно принимать или не принимать, с ней можно спорить, но она есть и мимо нее не должен пройти ни один исследователь текста. В этой теории найдено место тексту

в системе языка и речи, выявлены его содержательные и формальные категории, обеспечивающие единство текста, самое его существование, представлены единицы, на которые членится текст, намечены принципы классификации текстов. Книга И. Р. Гальперина — завершение целого этапа в развитии лингвистики текста — этапа поисков основных признаков текста, его единиц и категорий и одновременно — начало нового этапа — этапа углубленного исследования текстов разных типов.

Сиротинина О. Б.

ЛИТЕРАТУРА

1. Новое в зарубежной лингвистике. Вып. VIII: Лингвистика текста. М., 1978.
2. Синтаксис текста. М., 1979.
3. Структура текста. М., 1980.
4. *Лосева Л. М.* Межфразовая связь в текстах монологической речи: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. Одесса, 1969.
5. *Одинцов В. В.* Стилистика текста: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1981.
6. *Бурвикова (Зарубина) Н. Д.* Закономерности линейной структуры монологического текста: Дис. на соискание уч. ст. докт. филол. наук. М., 1981.
7. *Лосева Л. М.* Структурно-семантическая организация целых текстов. Одесса, 1973.
8. *Солганик Г. Я.* Синтаксическая стилистика (Сложное синтаксическое целое). М., 1973.
9. *Акишина А. А.* Структура целого текста. Вып. 1—2. М., 1979.
10. *Лурия А. Р.* Язык и сознание. М., 1979, с. 207—216.
11. *Гальперин И. Р.* Информативность единиц языка. М., 1974.
12. *Гальперин И. Р.* Грамматические категории текста.— ИАН СЛЯ, 1977, № 6.
13. *Гальперин И. Р.* Ретроспекция и проспекция в тексте.— ФН, 1980, № 5.
14. *Гальперин И. Р.* Интеграция и завершенность.— ИАН СЛЯ, 1980, № 6.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1983

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

25—27 января 1982 г. в Москве состоялась II Всесоюзная конференция китаеведов, обсудившая актуальные вопросы истории, экономики, филологии Китая. Работа секции «Язык и письменность» проходила в Институте востоковедения АН СССР, там же 28—29 января было проведено рабочее совещание по проблемам китайского языка и письменности.

Столь широкая по представительству и охвату научных проблем встреча советских специалистов по китайскому языку состоялась впервые. В ней приняли участие научные работники исследовательских центров и преподаватели ряда вузов нашей страны. Было заслушано и обсуждено 11 докладов в рамках конференции и 16 выступлений на рабочем совещании.

Заседание открыл председатель Оргкомитета секции В. М. Солнцев (Москва), выступивший с докладом «Китайское языкознание на современном этапе», в котором были подведены итоги работы советских синологов-лингвистов и намечены важнейшие проблемы, требующие исследования. В частности, было отмечено, что за последние 10 лет было написано около 50 книг и 140 статей, защищено более двадцати диссертаций.

Большое внимание на совещании было уделено теоретическому и методологическому осмыслению проводимых исследований, пересмотру и уточнению фундаментальных понятий общего языкознания с учетом особенностей изолирующих языков. Так, Е. И. Шутова (Москва) в докладе «Пути изучения синтаксиса современного китайского языка в советском востоковедении» проанализировала различные концепции членов предложения и синтаксических отношений между словами и предложила свою оригинальную трактовку этих проблем. В докладе М. К. Румянцева (Москва) «Изучение фонетики и фонологии современного китайского языка (проблемы метода)» была подчеркнута принципиальная необоснованность отрыва фонетики от фонологии, поскольку первая, по мнению автора, по своей природе также функциональна. В докладе Н. Н. Короткова (Москва) «Некоторые методологические проблемы китайского и общего языкознания» были показаны гносеологические корни и существо двух различных исследовательских подходов советских лингвистов к китайскому языку. Н. В. Солнцева (Москва) в докладе «Проблемы морфологии изолирующих языков» отметила, что отсутствие четкого противопоставления между членами некоторых грамматических категорий и грамматическая факультативность не являются свойством лишь ряда языков Юго-Восточной Азии, но присущи и индоевропейским языкам, и объяснение подобным явлениям следует искать в лексико-грамматических особенностях различных групп слов. С. Е. Яхонтов (Ленинград), выступивший с докладом «Типология языков Восточной Азии», рассказал о методике и результатах работы ленинградских ученых по выявлению квантитативных типологических характеристик ряда языков Восточной Азии.

В ряде выступлений были затронуты вопросы соотношения и взаимовлияния лексических и грамматических явлений в китайском языке. Так, С. Б. Янкивер (Москва) уточнила понятие грамматического значения и показала пути грамматикализации в китайском языке, Ю. Д. Маматюк (Москва), рассмотрев грамматическую неоднородность глагольно-объектных комплексов, обосновал ее семантическими особенностями различных групп таких комплексов, В. Ф. Щичко (Москва) коснулся вопроса о лексическом наполнении высказывания как условии его коммуникативной и композиционной завершенности. Проблеме синтаксического значения было посвящено выступление Н. Я. Губарь (Владивосток) «О синонимии синтаксических конструкций в китайском языке». И. Д. Кленин (Москва) остановился на контракции как самостоятельном способе словообразования и ввел понятие сложносокращенного слова, являющегося результатом контракции.

Вопросы лексикологии обсуждались в докладе В. И. Горелова (Москва), который ознакомил собравшихся с содержанием и перспективами написания вузовского курса лексикологии китайского языка, и в выступлении А. А. Хаматовой (Владивосток), показавшей количественные и качественные черты омонимии в современном китайском языке.

А. А. Щукин (Владивосток) рассмотрел некоторые просодические характеристики текста как лингвистические универсалии. В докладе А. М. Котова (Москва) содержался анализ современного состояния и перспектив изучения стилистики китайского языка. А. В. Любимов (Москва) охарактеризовал радиоречь как функционально-стилистическую разновидность китайского языка.

Проблемы изучения диалектов китайского языка нашли отражение в докладе

Е. Б. Астрахан (Москва), которая рассказала о достижениях советских ученых в этой области и показала направления, по которым ведется работа в настоящее время, а также в выступлении А. Н. Алексахина (Москва), который проанализировал в синхронно-сопоставительном плане тоновые системы пекинского и мэйсяньского диалектов.

Несколько выступлений было посвящено истории языка и исторической фонетике. С. Е. Яхонтов говорил об изучении древнекитайского языка в нашей стране, И. Т. Зограф (Ленинград) охарактеризовала состояние, эволюцию, функциональную и жанровую дифференциацию среднекитайского языка. Вопрос реконструкции слоговых финалей среднекитайского языка нашел отражение в выступлении С. А. Старостина (Москва). А. М. Карапетьянц (Москва) в своем выступлении указал, что фонетические реконструкции должны учитывать не только внутренние законы развития языка, но и экстралингвистические факторы. Тань Аошуан (Москва) показала, что аллофоны фонемы *W* в разных диалектах суть следы фонетических процессов. Ю. Л. Благонравова (Москва) привела факты, свидетельствующие, по ее мнению, о реальности контактов древнекитайского языка с тайскими языками.

В докладе М. В. Софронова (Москва) был проведен социолингвистический анализ современного состояния и перспектив реформы китайской письменности и стандартизации языка. А. Ф. Кондрашевский (Москва) проследил историю возникновения и функционирования системы китайских иероглифических ключей.

Практическим вопросам подготовки научных кадров было уделено внимание в выступлении А. Ф. Котовой (Москва) «О лингвистической подготовке студентов в Институте стран Азии и Африки при МГУ».

Участники конференции приняли активное участие в дискуссии, которая выявила различные точки зрения по ряду обсуждавшихся проблем.

Подводя итоги конференции, В. М. Солнцев отметил, что расширение тематики выступлений по сравнению с предыдущей конференцией, живое, заинтересованное обсуждение поднятых вопросов позволяют надеяться на достижение новых успехов в изучении китайского языка.

Котов А. М. (Москва)

CONTENTS

Articles: S i f o r o v V. I., K a n d e l a k i T. L. (Moscow). Methodological aspects of perfecting scientific terminology (work at the Committee of scientific and technical terminology of the Academy of Sciences of the USSR); B o n d a r k o L. V. (Leningrad), L e b e d e v a G. N. (Ivanovo). An experimental investigation of phonological perception; **Discussions:** B o n d a r k o A. V. (Leningrad). Categorial situations (a contribution to the study of functional grammar); S c h u s t e r - Š e w c H. (Leipzig). The formation of West-Slavonic languages from Proto-Slavic and some features of Sorbian linguistic development; I v a n o v a K. (Sofia). Correlation between aspect characteristics and partitivity on the syntactic level; G o l o v i n a E. D. (Kirov). On the typology of linguistic variability; G v i š i a n i N. B. (Moscow). Some thoughts on the metalanguage of linguistics; Š a t u n o v s k i j I. B. (Tashkent). Syntactically-determined polysemy: «nouns of nominal class → nouns of natural class»; **Materials and notes:** K o n d r a š o v N. A. (Moscow). Linguistic views of V. N. Tatiščev; N i k o n o v V. A. (Moscow). The geography of Russian surnames; V i n o k u r o v A. M. (Kalinin). Word-formation in the peripheral layers of modern English vocabulary; Č i n e n o v a L. A. (Moscow). Possibilities of change in English idioms; Š u l ' g a M. V. (Moscow). Unification of Russian substantival declension from the point of view of gender and number oppositions; K u z ' m e n k o v E. A. (Leningrad). On classification-principles of verbal vocabulary in Mongolian; **Reviews. Scientific life.**

SOMMAIRE

Articles: S i f o r o v V. I., K a n d e l a k i T. L. (Moscou). Aspects méthodologiques de la création terminologique (activités du Comité de terminologie scientifique et technique de l'Académie des Sciences de l'URSS); B o n d a r k o L. V. (Léningrad), L e b e d e v a G. N. (Ivanovo). Essai de description de la perception phonologique; **Discussions:** B o n d a r k o A. V. (Léningrad). Situations catégorielles (contribution à l'étude d'une grammaire fonctionnelle); S c h u s t e r - Š e w c H. (Leipzig). Le slave commun en tant que base de la formation des langues slaves occidentales et quelques particularités du développement linguistique sorbe; I v a n o v a K. (Sofia). Corrélation entre aspectualité et partitivité au niveau syntaxique; G o l o v i n a E. D. (Kirov). Une typologie de variabilité linguistique; G v i š i a n i N. B. (Moscou). Sur la métalangue linguistique; Š a t u n o v s k i j I. B. (Tachkent). Polysémie syntaxique conditionnée: «nom de classe nominale — nom de classe naturelle»; **Matériaux et notices:** K o n d r a š o v N. A. (Moscou). Vues linguistiques de V. N. Tatiščev; N i k o n o v V. A. (Moscou). Géographie des noms de famille russes; V i n o k u r o v A. M. (Kalinine). Formation des mots dans les couches périphériques du vocabulaire de l'anglais contemporain; Č i n e n o v a L. A. (Moscou). Possibilités de changements dans la phraséologie idiomatique anglaise; Š u l ' g a M. V. (Moscou). Unification de la déclinaison substantivale russe à la lumière des oppositions de genre et de nombre; K u z ' m e n k o v E. A. (Léningrad). Sur les principes de la classification du lexique verbal en mongol; **Comptes rendus; Vie scientifique.**

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи должны представляться в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Объем статьи не должен превышать 24 с., объем рецензии — 10 с. Объем хроникальной заметки — 3—5 с. машинописи (хроникальные заметки должны представляться в редакцию в течение двух месяцев с момента описываемого события в лингвистической жизни).

3. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

4. Все формулы и буквенные обозначения величин должны быть четко выполнены чернилами (следует делать ясное различие между заглавными и строчными буквами).

5. Рисунки должны быть тщательно выполнены тушью: чертежи, сделанные карандашом, не принимаются. Не рекомендуется загромождать рисунок ненужными деталями, все надписи должны быть вынесены в подпись, а на рисунке заменены цифрами или буквами. На полях рукописи указывается место рисунка, а в тексте делается на него ссылка. Фотографии принимаются в двух экземплярах (второй для редакции и ретушера в качестве контрольного). При изготовлении клише величина оригинала уменьшается в два-три раза, поэтому фотографии должны быть четкими и контрастными. Фотографии, выполненные в малом размере и нечетко, не принимаются. На обороте каждого рисунка должны быть проставлены фамилия автора, заглавие статьи и номер рисунка. Статью не следует перегружать графическим материалом.

6. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

а) список использованной литературы дается по порядку номеров в конце статьи;

б) ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках: [1, с. 3], [2—4], [1, 3]; в случае одноразовой ссылки указание на страницу, если оно необходимо, дается в списке литературы; если же упоминаются разные страницы одного и того же источника, указание на страницы следует давать в тексте;

в) подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

7. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

8. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются (за исключением раздела «По страницам зарубежных журналов»).

9. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ РУССКИХ И ИНОСТРАННЫХ ПЕРИОДИЧЕСКИХ И ПРОДОЛЖАЮЩИХСЯ ИЗДАНИЙ, ПРИНЯТЫХ В ЖУРНАЛЕ «ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ»

БЕ — Български език
ВДИ — Вестник древней истории
ВИ — Вопросы истории
ВСЯ — Вопросы славянского языкознания
ВФ — Вопросы философии
ВЯ — Вопросы языкознания
ЕИКЯ — Ежегодник иберийско-кавказского языкознания
ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения
ЗВО РАО — Записки Восточного отделения Русского археологического общества
ИАН СЛЯ — Известия АН СССР. Серия литературы и языка
ИКЯ — Иберийско-кавказское языкознание
ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Имп. Акад. наук (Росс. АН), АН СССР
ИЯШ — Иностранные языки в школе
РЯНШ — Русский язык в нац. школе
РЯШ — Русский язык в школе
СбНУ — Сборник за народни умотворения
СТ — Советская тюркология
ФН — Доклады высшей школы. Филологические науки
ADAW — Abhandl. der Deutschen (Berliner) Akad. der Wissenschaften. Klasse für Sprachen, Literatur und Kunst
AfslPh — Archiv für slavische Philologie
AGI — Archivio glottologico Italiano
AKGW — Abhandl. der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen
AL — Acta linguistica
AmA — American anthropologist
ANF — Arkiv för nordick filologi
AO — Archiv orientalni
APAW — Aphandl. der Preussischen Akad. der Wissenschaften. Philosoph.-hist. Klasse
BCLC — Bullétin du Cercle Linguistique de Copenhague
BPTJ — Biulétyn Polskiego towarzystwa językoznawczego
BSLP — Bullétin de la Société de linguistique de Paris
BSOS — Bulletin of the School of Oriental studies
BzNf — Beiträge zur Namenforschung
CAJ — Central Asiatic Journal
CFS — Cahiers F. de Saussure
CJ — The classical journal
FPhon — Folia phoniatrica
FuF — Finnisch-ugrische Forschungen
HR — Hispanic review
IF — Indogermanische Forschungen
IIJ — Indo-Iranian journal
IJAL — International journal of American linguistics
JA — Journal asiatique
JASA — Journal of the Acoustical society of America
JEGPh — Journal of English and Germanic philology
JP — Język polski
JRAS — Journal of the Royal Asiatic society
JSFOu — Journ. de la Société finno-ougrienne
JФ — Јужнословенски филолог
KZ — Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen
LM — Les langues modernes
MM — Maal og minne
MSFOu — Mémoires de la Société finno-ougrienne
MSLP — Mémoires de la Société de linguistique de Paris
MSOS — Mitteilungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin
NSS — Nysvenska studier
NTS — Norsk tidsskrift for sprogvidenskap
PBB — Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur
PMLA — Publications of the Modern Language Assotiation of America
RES — The Review of English studies
RÉG — Revue des études grecques
RÉSl — Revue des études slaves
RF — Romanische Forschungen
RKJL — Rozprawy Komisji językowej Lodźk. t-wa naukowego
RKJW — Rozprawy Komisji językowej Wracławsk. t-wa naukiwego
RLR — Revue de linguistique romane
RO — Rocznik orientalistyczny
RP — Revista de Portugal. Serie A: Lingua portuguesa
RS — Rocznik slawisticzny
SaS — Slovo a slovesnost

SDAW — Sitzungsberichte der Deutschen Akad. der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse für Sprachen Literatur und Kunst
SFL — Studi di filologia italiana
SMS — Sbornik matice slovenskej pre jazykozpyt, národopies a literárnu hístoriu
SPAW — Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften
StO — Studia orientalia
SWAW — Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wissenschaften
TA — Traduction automatique
TCLC — Travaux du Cercle linguistuque de Copenhague
TCLP — Travaux du Cercle linguistuque de Prague
TIL — Travaux de l'Institut de linguistique
TPhS — Transactions of the Philological society
UAJb — Ural-Altaische Jahrbücher
UJB — Ungarische Jahrbücher
VR — Vox Romanica
WW — Wirkendes Wort
ZAS — Zentralasiatische Studien
ZCPh — Zeitschrift für celtische Philologie
ZDA — Zeitschrift für Deutsches Altertum
ZDMG — Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft
ZDPh — Zeitschrift für deutsche Philologie
ZNS — Zeitschrift für neuere Sprachen
ZPhon — Zeitschrift für Phonetik und allgemeine Sprachwissenschaft
ZRPH — Zeitschrift für romanische Philologie
ZSL — Zeitschrift für Slavistik
ZSlPh — Zeitschrift für slavische Philologie.

Технический редактор *Радина Т. И.*

Сдано в набор 28.12.82 Подписано к печати 25.02.83 Т-03948 Формат бумаги 70×108¹/₁₆
Высокая печать Усл. печ. л. 14,0 Усл. кр.-отт. 85,3 тыс. Уч.-изд. л. 16,9 Бум. л. 5
Тираж 6020 экз. Зак. 2361

Издательство «Наука», 103717, ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21
2-я типография издательства «Наука», 121099, Москва, Шубинский пер., 10